

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

MOSCOW
STATE UNIVERSITY
BULLETIN

MOSCOW STATE UNIVERSITY BULLETIN

JOURNAL

founded in November 1946
by Moscow University Press

Series 9

PHILOLOGY

NUMBER ONE

JANUARY – FEBRUARY

This journal is a publication
prepared by the Philological Faculty
Editorial Board.

There are six issues a year

MOSCOW UNIVERSITY PRESS • 2016

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Основан в ноябре 1946 года

Серия 9

ФИЛОЛОГИЯ

№ 1

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

Выходит

один раз в два месяца

Издательство Московского университета • 2016

УЧРЕДИТЕЛИ:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;
филологический факультет МГУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. Л. Ремнёва, докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка, декан филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – *главный редактор*

О. А. Смирницкая, докт. филол. наук, проф. кафедры германской и кельтской филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – *зам. главного редактора по лингвистике*

Е. В. Клобуков, докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка – *отв. секретарь по лингвистике*

Н. А. Соловьева, докт. филол. наук, проф. кафедры истории зарубежной литературы – *отв. секретарь по литературоведению*

Е. Г. Домогацкая, научный сотрудник лаборатории «Русская литература в современном мире», зам. декана филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по редакционно-издательской деятельности – *оргсекретарь*

Члены РЕДКОЛЛЕГИИ:

Т. Д. Венедиктова, докт. филол. наук, проф. кафедры истории зарубежной литературы, зав. кафедрой теории словесности

М. В. Всеволодова, докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов

И. М. Кобозева, докт. филол. наук, проф. кафедры теоретической и прикладной лингвистики

Т. А. Комова, докт. филол. наук, проф. кафедры английского языкознания

С. И. Кормилов, докт. филол. наук, проф. кафедры истории русской литературы XX–XXI веков

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации Российской Федерации. Свидетельство о регистрации № 1555 от 14 февраля 1991 г.

Адрес редакции: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет

Подписано в печать 24.10.2016. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 15,0. Уч.-изд. л. 14,8. Тираж 390 экз. Изд. № 10328. Заказ №

Издательство Московского университета.

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 15 (ул. Академика Хохлова, 11)

Тел.: (495) 939-32-91; e-mail: secretary@msupublishing.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

<i>Чернейко Л.О.</i> Философские проблемы языка и лингвистики	7
<i>Пентковская Т.В.</i> Адаптирующие глоссы в поздних церковнославянских переводах с греческого.	26
<i>Калугин В.В.</i> Толковые пророчества в Литовской Руси (списки первой половины XVI века с пермскими глоссами)	46
<i>Каверина В.В.</i> Орфография изданий «Российской грамматики» М.В.Ломоносова XVIII–XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени	67
<i>Цивьян Т.В., Седакова И.А., Макарецв М.М.</i> «Балканский тезаурус»: начало и начала	92
<i>Жолудева Л.И.</i> Проблема национальной идентичности в итальянских исторических и лингвистических сочинениях XVI века	111
<i>Семенов В.Б.</i> Лесса как квазистрофическая форма композиции стиха	120
<i>Аманова Г.А., Кормилов С.И.</i> Проблема восточного «реализма» в советском, российском и корейском литературоведении	135

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

<i>Золотько О.В.</i> «Страдания юного Вертера» Гете и «Сон смешного человека» Достоевского	170
<i>Котова Э.Л.</i> История несостоявшейся публикации: Адриан Македонов об Осипе Мандельштаме	187
<i>Гоганова А.В.</i> «Пожилые» дети в романе А.Платонова «Чевенгур» (к типологии персонажей).	197
<i>Свиридова Е.Е.</i> Постмодернистская неорелатинизация на примере романа Стефано Бенни «Страналандия»	205
<i>Шулятьева Д.В.</i> «Агата, или Бесконечное чтение» Маргерит Дюрас: к проблеме литературности в кино	212

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Степанов А.Г.</i> Кормилов С.И., Аманова Г.А. Стих русских переводов из корейской поэзии (1950–1980-е годы). М.: Новое Время, 2014. 208 с.	221
<i>Шадуровский В.В.</i> Новгородский Державинский сборник: (К 200-летию со дня смерти поэта). Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 278 с.	226
<i>Руденко М.С.</i> Савельева Мария. Федор Сологуб. М.: Молодая гвардия, 2014. 246 [10] с.; ил. («Жизнь замечательных людей»)	234

ЮБИЛЕИ

<i>Солнцева Н.М., Сушилина И.К.</i> Мария Викторовна Михайлова	237
--	-----

CONTENTS

ARTICLES

<i>Cherneyko L.O.</i> Philosophical Problems of Language and Linguistics.	7
<i>Pentkovskaya T.V.</i> Adapting Glosses in the Late Church Slavonic Translations from Greek	26
<i>Kalugin V.V.</i> Commentaries on the Prophet Books in Lithuanian Rus' Literary Tradition (16 th Century Codices with Permic Glosses)	46
<i>Kaverina V.V.</i> The Orthography of M.V. Lomonosov's "Russian Grammar" Editions of the 18 th –19 th Centuries in the Context of the Spelling Norm of the Time.	67
<i>Tsivyan T.V., Sedakova I.A., Makartsev M.M.</i> "The Balkan Thesaurus": <i>Beginning and Beginnings</i>	92
<i>Zholudeva L.I.</i> National Identity Issues in the 16 th Century Italian Treatises on Language and History.	111
<i>Semenov V.B.</i> Laisse as Quasi-Stanzaic Verse Form	120
<i>Amanova G.A., Kormilov S.I.</i> The Problem of Eastern "Realism" in Soviet, Russian and Korean Literary Criticism	135

COMMUNICATIONS AND MATERIALS

<i>Zolotjko O.V.</i> "The Sorrows of Young Werther" by Goethe and "The Dream of a Ridiculous Man" by Dostoevsky	170
<i>Kotova E.L.</i> The History of a Cancelled Publication: Adrian Makedonov about Osip Mandelstam	187
<i>Goganova A.V.</i> "Aged" Children in "Chevengur" by A. Platonov (to the Problem of Heroes' Typology)	197
<i>Sviridova E.E.</i> The Post-Modern Neorelatinisation in the novel "Stranalandia" by Stefano Benni.	205
<i>Shulyatiyeva D.V.</i> «Agatha and Unlimited Readings» by Marguerite Duras: Towards the Problem of Literariness in the Cinema	212

CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY

<i>Степанов А.Г.</i> Kormilov S.I, Amanova G.A. The Verse of Russian Translations from Corean Poetry (1950 th – 1980 th). M.: Novoye Vremya, 2014. 208 p.	221
<i>Shadurskiy V.V.</i> Novgorod Collection in the Honour of Derzhavin: (Towards the 200 th Anniversary of His Death). Velikiy Novgorod: Novgorod Yaroslav the Wise University Publishing House, 2016. 278 p.	226
<i>Rudenko M.S.</i> Savelieva Mariya. Fyodor Sologub. M.: Molodaya Gvardiya, 2014. 246 [10] p.; ill. ("Life of Outstanding People")	234

JUBILEES

<i>Solntseva N.M., Sushilina I.K.</i> Mariya Viktorovna Mikhailova	237
--	-----

СТАТЬИ

Л.О. Чернейко

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И ЛИНГВИСТИКИ¹

Элоквенция объединяет все науки и знания,
ибо все они токмо чрез элоквенцию говорят.

В. К. Третьяковский

Статья посвящена базовым вопросам, которые язык и лингвистика ставят перед философией как деятельностью по выявлению сути вещей. Если в философии языка все проблемы сосредоточены вокруг центральных оппозиций «сознание – язык» и «язык – мир», которые можно свести в триаду «сознание – язык – мир», то философия лингвистики (и любой другой науки) призвана ответить на вопросы о том, как выражается знание о языке и как строятся научные теории. При этом специфика философии лингвистики во многом обусловлена спецификой ее объекта.

Ключевые слова: речь, язык, асимметрия языкового знака (слова, текста), иконичность означаемого, картина мира (обыденная и научная), взаимопонимание, метод, объект-оригинал, объект-модель, сочетаемость термина, лингвистика.

The article is devoted to fundamental questions which language and linguistics pose for philosophy as the activity aiming to clarify and elucidate the essence of things. While in the philosophy of language all the problems are concentrated around the central oppositions “mind – language” and “language – world” which can be reduced to the triad “mind – language – world”, the philosophy of linguistics (like that of any other discipline) serves to answer questions about how the knowledge of language is expressed, and how linguistic scientific theories are constructed. Further, specific features of the philosophy of linguistics are in many senses determined by the specific features of its object.

Key words: speech, language, the asymmetry of the language sign (of the word, of the text), the iconicity of the signified, (everyday and scientific) worldview, mutual understanding, method, the original object, the modelled object, combinability of a term, linguistics.

1.1. Термином «лингвистика» в современной гуманитарной науке обозначается сфера научного знания, объектом которой является язык. Эта сфера разветвляется на две дисциплины в соответствии с поставленными целями и методами, которые используют исследователи: это лингви-

¹ В основе статьи лежит лекция «Философские проблемы лингвистики», прочитанная преподавателям философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 24 февраля 2015 г.

стика теоретическая и прикладная. Если теоретическая лингвистика изучает основные законы существования языка и его функционирования в социуме, то прикладная лингвистика, опираясь на достижения теоретической, охватывает широкий спектр гуманитарной деятельности человека: это и лексикография, и разработка терминологии, и обучение языку, и перевод, и многое другое. Широко понимаемая лингвистика занимается всем, что связано с языком.

Что касается отношения философии к лингвистике, то оно ничем не отличается от отношения философии к другим наукам, поскольку философия как особая форма общественного сознания, вскрывающая фундаментальные принципы бытия и познания, стоит над всеми науками. И если философию понимать в духе Л. Витгенштейна как процедуру «логического прояснения мыслей» [Витгенштейн, 1994: 24] или как деятельность по выявлению сути вещей, то философия языка связана с его основополагающей ролью в таких структурах сознания, как познание и мышление. В философии языка базовыми представляются две оппозиции: «сознание – язык» и «язык – мир», которые можно свести в триаду «сознание – язык – мир». Что же касается философии науки (и, в частности, лингвистики), то здесь вычленяются два базовых вопроса: как выражается знание и как строятся научные теории.

1.2. Обозначив различия в философии языка и философии лингвистики, нельзя не отметить обусловленности специфики научной проблематики спецификой изучаемого объекта. Один из ярких отечественных филологов XIX в. Ф. И. Буслаев определил язык следующим образом: «подобно всему естественному и нравственному, (язык) есть неосознаваемая, бессознательная тайна» [Буслаев, 1941: 64]. Тайна состоит в том, что язык – феномен идеальный (неосознаемый), поскольку существует в идеальном пространстве коллективного и индивидуального типов сознания, и объективный, бытийствующий независимо от сознания отдельного индивидуума. Кроме того, будучи сущностью идеальной, язык проявляется в речи и постольку соединяет в себе физическое и идеальное. Эта особенность и приравнивает язык к явлениям физического мира. Но речь и язык по-разному реальны: речь локализована в физическом времени и в определенном социальном пространстве, а язык – в коллективном сознании его носителей, то есть в пространстве идеальном. Язык объективно существует, и у языка есть свои законы и принципы существования. Это аксиома. Тем не менее, являясь универсальной формой отображения и

репрезентации мира, сам язык не доступен ни по частям, ни в своей целостности непосредственному наблюдению, поскольку ни способ существования языка, ни, тем более, его устройство не даны исследователю в непосредственном наблюдении. И это тоже аксиома.

Вывод 1. Единственной эмпирической реальностью для лингвиста является речь как материальная ипостась языка. Из этой основополагающей особенности объекта лингвистики следует наиважнейшая философская проблема лингвистики как науки: все концепции устройства языка как не данного в ощущениях феномена представляют собою гипотетические конструкции, отражающие определенную точку зрения исследователя и / или научного направления, что выводит на авансцену проблему метода, которая традиционно рассматривается в связи с проблемой научного знания.

1.3. Когда говорят о функциях языка, на первое место ставят его социальную функцию – быть средством коммуникации. На вполне законных основаниях приоритет имеют речевое высказывание и такая высшая форма психической деятельности, как мышление. Однако дискурсивное мышление невозможно без материального воплощения в знаках языка. Поэтому наряду с коммуникативной функцией языка выделяется его когнитивная, познавательная функция, позволяющая социуму добывать знания о мире и хранить их в общем для социума коде (в языковых знаках), в первую очередь в таких знаменательных словах, как имена существительные с предметным значением, в которых дублируется окружающий человека мир, – говоря словами А.Ф.Лосева, «имя поднимает вещь, которой оно принадлежит, в сознание» [Лосев, 1993: 817]. Знак как субститут вещи в сознании и создает семиотизированную действительность, т.е. реальность.

Одной из важнейших лингвофилософских проблем и обыденного языка, и научного является категоризация действительности – ее членение языком и отображение в нем. Сопоставительная лингвистика констатирует несовпадение объема денотативно сопоставимых классов не только в разных языках, но и в разных функциональных системах (субъязыках) одной социокультурной общности. Например, в общеизвестном русском языке и в территориальных диалектах русского языка такое слово, как *гнус*, в обеих системах – общее название летающих кровососущих насекомых, но в некоторых территориальных системах оно охватывает еще и мелких грызунов. А различие в понимании родовидовой иерархии предметного мира наивным (обыденным) и научным типами

сознания стало общим местом и иллюстрируется такими «школьными» вопросами, как «рыба ли *кит*, орех ли *арахис*, фрукт ли *арбуз*, овощ ли *авокадо*?». И споры ученых о том, чем является клубника (ягодой или орехом), не имеют никакого отношения к обыденной таксономии, где клубника была и остается ягодой.

Есть определенная асимметрия реальности и действительности, поскольку какой бы богатой ни была реальность, отображенная в языке, действительность по богатству и многообразию значительно ее превосходит. С действительностью соизмерима только речь социума. Из трех положений «Трактата» Л. Витгенштейна выводится его «зеркальная» концепция соотношения пары «язык – мир»: «Мир – целокупность фактов», «Мир – это факты в логическом пространстве» [Витгенштейн, 1994: 5] и «Как может логика – всеобъемлющая, отражающая мир – пользоваться столь причудливыми крючками и манипуляциями? Лишь благодаря тому, что все они соединяются в бесконечную тонкую сеть, образуя как бы большое зеркало» [Витгенштейн, 1994: 48]. К этим трем положениям следует добавить идею о специфике знака-предложения, который определяется двояко – и как «предложение в его проективном отношении к миру», и как «проекция возможной ситуации» [Витгенштейн, 1994: 11], что только подтверждает идею «зеркальности» отражения мира в языке, структура которого логически идентична онтологической структуре мира. Многочисленные сопоставительные исследования, проведенные в XX в. и отечественной лингвистикой, и зарубежной, опровергли мнение австрийского философа и подтвердили правоту немецкого философа и филолога В. Гумбольдта о мировоззренческом характере языка, связавшего с языком как социально-психологическим феноменом такую категорию, как «языковая картина мира» [Гумбольдт, 1984].

Говорить можно только об изоморфизме языка и сложившегося в данной культуре представления о мире, но никак не об идентичности структур этих онтологических феноменов. И логика, и структура языка базируются на некоторых культурологических предпосылках, что уже тоже можно считать аксиомой. Следует отметить, что если языковая картина мира носителей культуры, определяемая общностью их языка, во многом совпадает, то картина мира у каждого индивидуума уникальная, что и проявляется в речи (ср.: индивидуальное «миропонимание и мировосприятие <...> заявляют о своих правах» [Гумбольдт, 1984: 170]). Именно поэтому В. Гумбольдт оставил науке о языке следующее завещание: «языковедение должно уметь опознавать и уважать проявления свободы,

а также с не меньшим старанием должно отыскивать и ее границы» [Гумбольдт, 1984: 84]. С этой идеей перекликается идея М. Бахтина, который также отмечал, что «мировоззрение, направление, точка зрения, мнение всегда имеют словесное выражение» [Бахтин, 1979: 274].

Вывод 2. Семиотизированная действительность (реальность) есть результат редукции действительности, которую не покрывает никакой, даже самый лексически богатый язык. Действительность охватывается не языком-кодом, а комбинаторикой знаков в линейной последовательности их материальных означающих, направляемой как интенциями говорящего, так и сложившимися в культуре традициями развертывания темы, «говорения» о данном предмете в данной коммуникативной ситуации.

2.1. Другая асимметрия – это а) разный статус языкового знака в языке и в речи и б) отсутствие однозначного соответствия между означающим и означаемым языкового знака (полисемия, или функционально-семантический полиморфизм). Билатеральная концепция знака (знак как единство означающего и означаемого) представляется более адекватной его реальной структуре, чем унилатеральная (знак – только материальное означающее), поскольку уже доказано, что означаемое знака (его содержание) имеет двойную детерминацию – определяется как фрагментом семиотизированной действительности, так и структурой лексико-семантической парадигмы той языковой системы, которой знак принадлежит. В качестве примеров можно привести следующие достаточно известные факты: местоимениям *ты* и *вы* русского языка в английском языке соответствует одно *you*, семантически дифференцированным существительным *пепел* и *зола* – одно *ash* (*ashes*), напротив, одному существительному *этаж* – два семантически дифференцированных существительных *floor* и *storey*; одному существительному русского языка *река* во французском языке соответствуют два семантически дифференцированных слова – *rivière* и *fleuve*; одному слову русского языка *дядя* в сербском соответствуют два семантически дифференцированных слова – *ујак* (брат матери) и *стриц* (брат отца); одному глаголу русского языка *плыть* в итальянском соответствует по крайней мере три глагола – *nuotare*, *galleggiare* и *navigare*. Что касается различия способов перемещения по поверхности земли, представленного в русском языке парой глаголов *идти* и *ехать*, то оно и в европейских языках, и во многих близкородственных славянских языках может быть передано в речи описательно, синтагмой, но не представлено оппозицией воспроизводимых единиц лексикона.

Оставляя в стороне проблему условности знака-символа, можно отметить, что отсутствие подобия между именем вещи (означающим знаком) и самой вещью никак не отменяет обязательности подобия между содержанием знака (его означаемым) и тем фрагментом внешнего мира, который за ним стоит. В противном случае даже самый простой обмен информацией был бы невозможен. Эта сторона вопроса упускается из виду сторонниками унилатеральной концепции знака, когда со знаком связывается только его звучащая или графическая материя.

2.2. Говоря о знаке как о единстве формы и содержания, следует подчеркнуть различные способы существования знака в языке и речи, что имеет важное значение для лингвистической герменевтики. В идеальном пространстве языка знак есть не что иное, как ассоциативно связанное (ассоциацией по смежности) единство двух идеальных сущностей: акустико-артикуляционного и ментального образов с закрепленными за этим единством функциями. Речь представляет собою, как известно, линейную последовательность материальных означающих, а означаемые и в ней остаются идеальными. Что касается ассоциативных связей материального означающего и идеального означаемого, то в языке и речи высоко вероятна их асимметрия, рождающая многозначные слова (языковую и речевую неоднозначность знака). При этом если многозначность языковая, то в речи у такого слова смыслы, как писал О. Мандельштам, «торчат во все стороны» [Мандельштам, 1990: 223] и только контекст в состоянии их «причесать». Из этой специфики существования языкового знака в языке и в речи вытекают важные философские проблемы речевой коммуникации, в частности проблема взаимопонимания, а также проблема интерпретации текста художественного.

Лингвисты Санкт-Петербурга (см., например, [Ягунова, 2009]) направляют свои усилия на изучение так называемого «перцептивного словаря» личности, во многом объясняющего механизм и взаимопонимания, и взаимонепонимания. Кроме того, в применении к индивидуальному уровню владения родным языком релевантна такая психолингвистическая характеристика, как «языковая личность» (три уровня: вербальный, когнитивный и мотивационный). По мнению Ю. Н. Караулова, «языковая личность» – это та «сквозная идея, которая <...> пронизывает и все аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка» [Караулов, 2006: 3].

Товарная метафора коммуникации как обмена информацией отступает перед пониманием коммуникации как намека, которое намечено в трудах Д. Локка, а продолжено в работах А. А. Потемби, Г. П. Мельникова, А. А. Поликарпова. Ответ на вопрос: «Что мы поняли в речах собеседника, когда уверены, что мы его поняли?» – далеко не такой простой, каким он может показаться. Говорящий не перекладывает в готовом виде свои представления и мысли о мире в сознание собеседника в том числе и потому, что означаемые (смыслы) нематериальны. Они лишь ассоциативно связаны с материальным означающим в каждом конкретном речевом акте. Поэтому говорящий может лишь возбудить в слушающем транслируемые означаемые, намекнуть на них, а систему смыслов каждый перцепт речи выстраивает сам.

Следует отметить, что общей проблемой коммуникации, а также ее частными вопросами, такими, как понимание речи, занимались и такие известные отечественные ученые, как А. М. Пешковский, Г. О. Винокур, с интервалом в один год опубликовавшие свои программные статьи. В статье 1924 г. «Язык быта» Г. О. Винокур писал, что «новая эпоха в языковедении, в которую мы, несомненно, вступили, влечет научную мысль от мертвых схем к живому слову как орудию социального общения и воздействия» [Винокур, 2006: 62].

В статье 1923 г. «Объективная и нормативная точка зрения на язык» А. М. Пешковский одним из первых поставил вопрос о ясности речи, о ее понятности и сформулировал парадоксальную особенность литературного языка (или, как он его называл, «литературного наречия»), суть которой состоит в том, что «в литературном наречии все всегда и везде говорят в той или иной степени непонятно» и что «затрудненное понимание есть необходимый спутник литературно-культурного (т. е. нормативного. – Л. Ч.) говорения», тогда как ясность речи «после правильности следует считать наиболее общепризнанной <...> чертой нашего литературно-языкового идеала» [Пешковский, 1959: 57]. Непонятность «литературного наречия» ученый объясняет «общей сложностью культурной жизни», в частности тем, что, например, в речи оратора на митинге «совершенно отсутствует обстановка²» [Пешковский, 1959: 58] (выделено мною. – Л. Ч.) и нет никакого общего опыта со слушателями, «объеди-

² Под «обстановкой» А. М. Пешковский понимает в первую очередь «домашний обиход» (речевую среду семьи, близких людей), создающий «бессловесную подпочву», во многом определяемую повседневной общностью жизненного опыта.

ненными только общностью человеческой природы» [Пешковский, 1959: 59]. В повседневной разговорной речи опускается все, что «дано обстановкой или предыдущим опытом разговаривающих» [Пешковский, 1959: 57], которые А. М. Пешковский назвал «бессловесной подпочвой», а современная лингвистика называет общей «базой данных». А. М. Пешковский делает неожиданный логический ход, связывая «литературность» речи (ее необходимость и относительную общность) с уникальностью индивидуального опыта, затрудняющего взаимопонимание: «Чем литературнее речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих» [Пешковский, 1959: 57].

Что касается сформулированной в начале прошлого века Г. Г. Шпетом идеи о креативности непонимания (по Шпету, «не-понимания») как источника интерпретаций, истолкования («истолкование начинается как раз с того момента, где кончается понимание, где непосредственного понимания <...> недостаточно, источником интерпретации является именно не-понимание» [Шпет, 1990: 241]) и, в конечном счете, диалога, то она, как представляется, еще не нашла должного отклика в умах современных исследователей-коммуникативистов.

Вывод 3. Знак как единство означающего и означаемого в виртуальной системе языка представляет собою ассоциативно связанную совокупность акустико-артикуляционного и ментального образов. В речи означающее знака материально, а означаемое идеально. Слушающий извлекает означаемое из текста, основываясь не только на контекстных фактах, но и с опорой на свой перцептивный словарь и на свой жизненный опыт (на свою, индивидуальную «базу данных»). Объяснительная сила концепции коммуникации как намек опирается именно на эту особенность знака.

3.1. Если единственной реальностью, данной исследователю «в ощущениях», является речь, а объектом его исследования – язык, понимаемый и как средство коммуникации (система, включающая множество единиц разных уровней с присущей им структурой, т.е. код), и как ее продукт (речь, текст), то следует подчеркнуть, что разные направления лингвистики исходят из определенной концепции языка, располагают своими методами и объектами, ими рожденными, а главное – имеют свои принципы экспликации полученных знаний, свой особый метаязык. Мысль Ф. де Соссюра о том, что «в лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения» и что «точка зрения создает самый объект»

[Соссюр, 1977: 46], переключается с высказыванием французских языковедов Э.Бенвениста и Ц.Тодорова: «Реальность исследуемого объекта неотделима от метода, посредством которого объект определяют» [Бенвенист, 1974: 129]; «Нужно ли напоминать ту общеизвестную истину, что объект науки создается ее методом» [Тодоров, 1975: 43–44], а «свойства любого объекта определяются той точкой зрения, с которой он нам преподносится» [Тодоров, 1975: 69].

Структурная лингвистика имеет свои воззрения на язык, свои разработанные на их основе принципы получения знаний о языке и способы их экспликации, т.е. свой метод и свой метаязык, что и определяет ее статус как особого направления лингвистики. Принципы структурной семантики в обобщенном виде выглядят так: изучаются слова с более или менее абстрактным значением, обозначающие отношения, с целью разложения их значения на элементарные смыслы методами, которые структурная семантика считает объективными в силу «точности» метаязыка. Границы объекта структурной семантики определяются ее сугубо рационалистическим методом – это значимости, отражающие лингвистически релевантные свойства явлений, а сама внеязыковая действительность интересует структурную семантику только в той степени, в которой ее улавливает сетка значимостей. Однако в рамках структурной семантики невозможно объяснить, например, такое высказывание, как *Не пугайте страуса – пол бетонный*, в пресуппозиции которого нет места логически выделяемым значимостям.

Основоположник структурной лингвистики был не так категоричен в определении значимостей лексической единицы языка, как его последователи. Для де Соссюра оказываются важными не только значимости «внутренней лингвистики», но и весь опыт народа, отраженный в языке, то есть значимости этнологические, культурологические – значимости «внешней лингвистики», а это именно те факторы, которые предопределяют и свободную, и связанную сочетаемость слова. Осмысляя формальный метод, примененный В.Проппом к сказкам, К.Леви-Стросс остроумно заметил: «До формализма нам было неведомо, что общего имеют между собой эти сказки. Однако после формализма мы лишились всякой возможности понять, чем они отличаются друг от друга. Мы <...> не можем вернуться от абстрактного к конкретному» [Леви-Стросс, 1983: 417].

3.2. Несвободная сочетаемость субстантивов, квалифицируемая структурной лингвистикой как лексическая (в противоположность семантиче-

ской), играет главную роль в моделировании языковой картины мира, обнажая особенности концептуализации означенных фрагментов действительности. И лингвистика, накопив обширный материал, подтвердила правомерность выделения такого объекта, как «языковая картина мира», потому что выработала такой частный метод его анализа, как, например, сопоставление глагольно-адъективной сочетаемости субстантива в разных языках.

Мировоззренческой основой структурализма является такое видение языка, в котором логика имеет приоритет над всем: она вытесняет символику и мифологию, присущую сознанию не в меньшей, если не в большей степени, чем рациональность. Л. Витгенштейн все предложения, нарушающие законы логики или не относящиеся к наблюдаемым фактам, квалифицировал как бессмысленные [Витгенштейн, 1994: 52, 55]. Тогда наша повседневная жизнь тонет в бессмыслицах. Наблюдения за повседневными диалогами современной русской речи подтверждают большой текстопорождающий вклад языковой символики в широко понимаемую перформативность; например, разговор в семье между ребенком 7 лет (X) и взрослым (Y), в который вклинивается еще один взрослый (Z): X: *А какой породы наша кошка?* – Y: *Западноевропейская гладкошерстная.* – X: *Да нет, какая она: сиамская, сибирская?* – Y: *Наша кошка сибирская... как язва.* – Z: *Как магистраль!* Еще пример из речи публицистической, когда диалог (ток-шоу ТВ) направляется не логикой мышления, рациональностью, а мифологией как системой представлений, выраженных метафорой (X: *Иерархия – это структурированность, это живое дело. А свобода – это ряска на болоте, безграничная такая, никакой структуры, сплошное гниение.* – Y: *Единственное, с чем я не согласен, так это с тем, что свобода – болото. Свобода – это не болото. Свобода – это ветер*). Но так же мало логики и в произведениях искусства, где главенствующую роль играют совсем другие вещи.

Английский философ Дж. Остин, представитель «аналитической философии» и один из основателей философии «обыденного языка», выдвинул тезис о том, что язык в своей основе не пропозиционален, а перформативен [Остин, 2006: 17], в соответствии с чем речевыми действиями являются не только собственно перформативные высказывания типа *Поздравляю. Клянусь. Обещаю*, но и аксиологические суждения, в частности те, в которых эксплицитно (*Дурак!*) или имплицитно (*Странный он какой-то*) выражена оценка говорящим адресата. Такую точку зрения разделяла и Е. М. Вольф, уделившая много внимания изучению оценоч-

ных высказываний и языковых средств их формирования, считая перформативным любое оценочное суждение-мнение, поскольку оно представляет собой речевое действие [Вольф, 2002].

3.3. Лет тридцать назад поиски знаний о действительности, которые воплощены в лексике и в грамматических категориях языка, и представлений о ней, репрезентированных в сочетаемости знаков, отечественная лингвистика считала объектом ненаучным. Но в 1990 г. появился журнал «Когнитивная лингвистика», который узаконил это направление как вполне научное. Однако это лингвистическое направление в его современном состоянии не разработало ни общую методологию, ни частные методы. Что касается научного языка современной когнитивной лингвистики (метаязыка), то он настоятельно требует «терминоустроения» [Чернейко, 2009; Чернейко, 2012].

Говоря о лингвистической методологии, следует отметить, что в работах многих исследователей обнаруживается смешение построенной лингвистом модели наблюдаемых фактов с объектом-оригиналом, вследствие чего объекту-модели, принадлежащему реальности эпистемологической, приписывается онтологический статус объекта-оригинала. Например, рассуждая о дискурсе и его статусе, один из современных исследователей полагает, что «люди разговаривают между собой дискурсами, а не предложениями и тем более не морфемами и не фонемами. Это отличает дискурс от других языковых единиц, которые представляют собой научные конструкты» [Кибрик, 2009: 3]. Очевидно, что автор видит в дискурсе не инструмент описания речи, взятой в определенном аспекте, а такую же эмпирическую субстанцию, какой является речь. У такого понимания есть сторонники, уверенные в том, что они открыли дискурс, как Д. И. Менделеев химические элементы. Носителям научного знания важно отдавать себе отчет в том, какие сущности бытийствуют, т. е. существуют независимо от сознания человека, а какие порождены его познавательной деятельностью. В процессе научного познания научные инструменты, в первую очередь понятия, стоящие за терминами, из сущностей эпистемологических превращаются в сущности онтологические. Неразличение объектов познания и инструментов познания как феноменов разных типов реальности, известное в философии под названием «научный реализм», приводит в лингвистике, во-первых, к схоластическим спорам типа *Дискурс / концепт / фрейм существуют или их нет*, а во-вторых, к непониманию исследователем того, что же он описывает – речь в ее функциональных разновидностях или созданные наукой инструменты изучения речи.

Вывод 4. Если научный объект не кристалл поваренной соли, то научный метод и очерчивает границы исследуемого объекта, и определяет его специфику. Четкое разграничение феноменов бытия, независимых от нашего сознания, и инструментов их познания (т. е. объекта-оригинала и объекта-модели) избавляет науку от схоластических споров. Скромный язык разумной научной веры базируется на отчетливом понимании нетождественности действительности и познания, онтологических и гносеологических сущностей. При отсутствии такого понимания современная лингвистическая мифология грозит захлестнуть исследователей языка.

4.1. В системе ценностей культуры наука, будучи особым видом познавательной деятельности, выделяется на базе таких основных параметров, как объективность и систематизированность полученных знаний о мире. Поступательное движение научной мысли проявляется в «тщательном разъединении идей» и связано, по Дж. Локку, со «способностью суждения» разума (*ratio*), которая заключается «в тщательном разъединении идей, в которых можно подметить хотя бы самую незначительную разницу, чтобы тем самым не быть введенным в заблуждение сходством вещей и из-за наличия общих черт не принять одну вещь за другую» [Локк, 1985: 205] и формализуется в базовой единице языка науки – в термине. Достижения научного познания мира отливаются в терминах, концепциях, теориях. Разработанным можно считать такой научный язык (применительно к лингвистике – метаязык), в котором за терминами стоят вновь открытые сущности в их главных системно-структурных характеристиках, а сами термины соотносятся со строго определенными дефинициями, которые и являются их значениями [Чернейко, 2012].

Как справедливо писал Р. Якобсон, «необходимой предпосылкой существования любой науки» является контроль над «языковыми средствами представления ее объектов» [Якобсон, 1985: 404]. Для того чтобы термины хоть в какой-то степени приблизились если не к идеалу и образцу, то хотя бы к стандарту «научности», требуется соблюдение необходимого условия: сама метаречь, взятая как язык-объект, должна быть изучена так, чтобы термины были сопоставлены и определены, иными словами, исследованы в лучших традициях структурного анализа. Кроме того, для наведения порядка в терминологии необходим такой экстралингвистический фактор, как ответственность [Чернейко, 2014] научного сообщества, которая включает и ответственность перед научным объек-

том, эксплицированную в методе его анализа, и ответственность исследователей – субъектов научного познания, объединенных в разные школы и направления, которым необходимо договариваться, разворачивая диалог вокруг как традиционных, так и новых терминов, за которыми стоят добытые наукой эпистемологические сущности [Чернейко, 2015]). И если первое условие представляется вполне реальным, то второе – идеальным. Но идеалы для того и существуют, чтобы к ним стремиться.

Исследование функционирования терминов в научной речи необходимо для определения их семантического места в научной парадигме. Если же речь идет о термине новом, то изучение его функционирования диктуется требованием целесообразности, научной обоснованности его введения. В соответствии с устоявшимся пониманием, научный язык представляет собой прежде всего совокупность терминов, терминологию той или иной сферы знания.

4.2. Возникают вопросы: сводим ли научный язык к совокупности терминов определенной области научного знания, к той или иной терминосистеме и является ли научным лишь верифицируемое знание о мире? Иными словами, если человек овладел терминологией той или иной области знания, можно ли считать, что он владеет языком данной науки? Конечно, нет, поскольку терминосистема, будучи ядром научного знания, является хотя и самой важной, но тем не менее составной частью языка науки, а само понятие «язык науки» шире понятия «научный язык», потому что им охватывается и научная речь. Иными словами, помимо терминов, в которых специальные знания хранятся (а это в основном такая часть речи, как имя существительное: *атом, кварк, интеграл, множество, почва, горизонт, бифуркация, сознание*), язык науки включает в себя как грамматические средства связи терминов в научной речи, так и лексические средства обработки и передачи этих знаний, т. е. единицы общеизвестного языка, определенным образом сочетающиеся с терминами. Возникает вопрос: что направляет сочетаемость терминов той или иной науки с единицами общеизвестного языка (в основном это глаголы и прилагательные) и возможно ли установить правила сочетаемости, т. е. грамматику термина?

Н. Бор обращал внимание на язык своей специальной области знания не только в философских трудах, но и в работах по квантовой физике. Много важных науковедческих формулировок он дал в известной своей работе «Единство знаний». Он писал: «Нашим основным орудием явля-

ется обычный язык, который удовлетворяет нуждам обыденной жизни и общественных отношений» [Бор, 1971: 461], что и определяет единство знаний. В работе 1939 г. «Философия естествознания и культура народов» и в более поздних статьях Н. Бор сформулировал цель всякого физического опыта как «получение данных при воспроизводимых и поддающихся словесной передаче условиях», а для достижения этой цели, как пишет Бор, нет «никакого другого выбора, как пользоваться повседневными понятиями, может быть, улучшенными терминологией классической физики» [Бор, 1971: 281–282].

4.3. Вопрос о том, как термин-субстантив специальной области знания сочетается с глаголами и прилагательными общеизвестного языка в научной речи, и сугубо лингвистический, и науковедческий, если иметь в виду, что научное знание добывается не только логикой (анализом), но и интуицией (синтезом). В качестве главных причин «объективной необъективности» научного познания можно назвать две: это ограниченность рационального постижения мира и преобладающий антропоцентризм организации общепотребительного языка. Но если термин представляет собой результат аналитической работы научного мышления (результат размежевания понятий), то его сочетаемость в научной речи, в особенности сочетаемость метафорическая, направляется целостным представлением о научном объекте, его целостным видением, что и составляет базу научного мировоззрения.

Толковые словари (например, Малый академический словарь 1983 г.) в полном соответствии с утвердившейся магистральной философской концепцией определяют термин «подсознание» как «совокупность психических процессов и состояний, лежащих вне сферы сознания и недоступных для непосредственного субъективного опыта». Справедливости ради следует отметить, что именно с непосредственным субъективным опытом связано подсознание. Однако лингвистическая проблема видится в другом: с логическим определением базовых терминов психологии вступает в противоречие их сочетаемость в научной речи: *укорениться в сознании, светлая зона сознания и порог сознания*, не говоря уже о *тупиках и лабиринтах сознания* в публицистических и художественных текстах. Налицо противоречие между логическим (аналитическим) взглядом на сознание и целостным представлением о нем как о сложной структуре, включающей в себя и подсознание, и собственно сознание (светлую зону), и сверхсознание.

В.В.Налимов создал научную карту сознания под названием «вероятностная модель сознания» [Налимов, 1989]. Главное, что в этой модели сознания есть место и его «подвалам» и что именно с ней в полной мере согласуется сочетаемость термина «сознание» в русском языке. «Лабиринтности» сознания и лабиринту как метафоре сознания посвящены философские исследования последних лет. Синтетический образ сознания в этих исследованиях – ‘здание’, чему не противоречит и метафора подвал у Налимова. Интересную когнитивную «картинку» сознания рисует словоупотребление соответствующего термина в книге известного отечественного психолога В.П.Зинченко: 1. Сочетаемость (именная и глагольная) – *тайны, сфера, полифония, материя, владыка, приватизаторы, манипуляторы, ничейность С., вестибюль С. (место, где происходит сцепление образов, мыслей); мудрое, бодрствующее, поступающее С; С. intersубъективно; предметить С., прикасаться к С., обладать С., отстраниться от С., порабощение, опустошение, уплощение С.* 2. Текстовые определения – *С. низачем, только ради самого себя; С. – реальная производительная сила; диалогическая природа С.; С. – это и свойство индивида, и свойство и характеристика коллектива; материя С. – слово; сознание рождается в бытии, отражает и содержит его в себе в искаженном свете, творит бытие; С., выбирая свободу, рискует; С. мнит себя абсолютно свободным, претендует на роль Демиурга; С. – это не видимый и тем более не вещный мир.*

Синтетический (т.е. целостный, интуитивный) образ предмета научного исследования, являющийся по своей природе иррациональным, представляет собой неverifiedируемую, но необходимую составляющую научного постижения действительности, получившую в науковедении название «онтологические принципы» [Структура и развитие науки, 1978], которые квалифицируются как научная мифология, на фундаменте которой возводятся научные теории. Эти онтологические принципы имеют свое словесное выражение, но не в самом термине – единице аналитической, а в его сочетаемости. Являясь целостными исследовательскими программами при создании новых концепций, теорий, именно «онтологические принципы» направляют комбинаторику базовых терминов науки в создаваемых ею текстах.

Лингвистическим методом моделирования научного мировоззрения исследователя любой области знания является анализ сочетаемости специальных терминов, в особенности сочетаемости метафорической, которая направляется эвристической гипотезой исследователя и в которой

обнаруживается глубинная символика. Без словарей сочетаемости трудно себе представить лексикографическое пространство культуры, в особенности ее «культурных концептов», «ключевых слов», т. е. тех имен, за которыми стоят логически и аксиологически не одномерные абстрактные сущности, модификация которых и в рамках индивидуального сознания, и в рамках сознания корпоративного обуславливает такой социально-лингвистический феномен, как диалогичность культуры.

Что касается словаря сочетаемости терминов определенной научной сферы, то такой словарь совершенно необходим для целей как научных, так и дидактических. Он позволит извлечь из сочетаемости терминов информацию о неверифицируемых представлениях (образах науки и / или ее отдельных феноменов), воплощенных в концептуальных метафорах, которые обуславливают вектор логических построений. Без таких словарей описание научного идиолекта, а также метаязыка определенной дисциплины и науки в целом не может быть признано адекватным научному объекту и состоянию науки на определенном этапе ее развития. Кроме того, соотношение в научном идиолекте логического (метафизического) и символического (поэтического) можно рассматриваться как стилиобразующий фактор.

4.4. Исследование сочетаемости слова *почва* (*мощность, горизонт, возраст почвы*) и других естественно-научных терминов в текстах В.В. Докучаева [Чернейко, 2008; Добровольский, Чернейко, 2009] позволило смоделировать картину мира, лежащую в основе его научного мировоззрения: человек и среда – нераздельное целое; паритетные отношения человека и почвы как «естественноисторических тел»; явления природы рассматриваются не как царствующие над человеком, а как сотрудничающие с ним и подчиняющиеся его авторитету при условии, что человек постигает законы их существования. Апофеоз всеединства мира явлен в такой, например, философской и одновременно поэтической формулировке В.В. Докучаева, которая по жанру является и стратегией теоретической деятельности ученого, и перспективой геогностики в целом: *Пора обратить внимание на вековечную зависимость, генетическую и всегда закономерную связь, какая существует между силами, телами и явлениями, между мертвой и живой природой, между растительными, животными и минеральными царствами, с одной стороны, и человеком, его бытом и даже духовным миром – с другой.*

Вывод 5. Глубина постижения научного объекта рациональностью отражается в его анализе, расчлененности, воплощенных в терминосистеме определенной области знания. Но в основе научного мировоззрения (как и в основе обыденных представлений) лежит мировосприятие, иррациональное по своей природе. Поэтому лингвистическое моделирование научного мировоззрения исследователя должно основываться как на анализе его терминосистемы, так и на изучении сочетаемости специальных терминов, в особенности сочетаемости метафорической, выявляющей научные интуиции исследователя. Актуальной становится необходимость создания отраслевых словарей нового типа, которые бы наряду с терминами включали также концептуальные метафоры, отражающие онтологические принципы научных концепций и моделируемые на базе исследования сочетаемости терминов в научных текстах.

Почти сто лет назад Г. О. Винокур определил «новую эпоху в языковедении» как такую, которая «влечет научную мысль от мертвых схем к живому слову как орудию социального общения и воздействия, вновь окружает лингвистику родственной, материнской атмосферой филологии. А филология напоминает, что слово есть прообраз всей духовной культуры: она приближает специальную лингвистическую работу к общественным и культурным интересам в области языка» [Винокур, 2006: 62]. Современная лингвистика (отечественная и европейская), пройдя через необходимый этап структурализма, вписалась в филологию, если в ней, следуя известному определению С. С. Аверинцева, видеть «науку понимания». Современная философия изучает мир через язык, но понятый не как система оппозиций его единиц, а как средство коммуникации, обслуживающее разные сферы культуры. Под языком понимается текст, сообщение. Именно по этой линии могут и должны сближаться лингвистика и философия и, сблизившись, интегрировать науки гуманитарные и естественные, поскольку нет такой области знания, которая обошлась бы без языка. А когнитивная глубина языка лежит на поверхности речи, научной в том числе, исследуя которую под определенным углом зрения и при помощи соответствующей ему методики можно получить такие результаты, которые оказываются важными не только для лингвистики, но и для науковедения в целом.

Список литературы

- Бахтин М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

- Бор Н.* Избр. научные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1971.
- Буслаев Ф. И.* О преподавании отечественного языка. Л., 1941.
- Винокур Г. О.* Культура языка. М., 2006.
- Витгенштейн Л.* Философские работы. Ч.1. М., 1994.
- Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. М., 2002.
- Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Добровольский Г. В., Чернейко Л. О.* Естественно-научная картина мира В. В. Докучаева через призму его языка // Сборник материалов конференции «Проблемы культурно-природного синтеза». М., 2009. С. 189–196.
- Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М., 2006.
- Кибрик А. А.* Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания. №2. 2009. С. 3–21.
- Леви-Стросс К.* Структура и форма // Семиотика. М., 1983. С. 400–428.
- Локк Дж.* Соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1985.
- Лосев А. Ф.* Бытие – имя – космос. М., 1993.
- Мандельштам О. Э.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990.
- Налимов В. В.* Спонтанность сознания. М., 1989.
- Остин Дж.* Три способа пролить чернила. СПб., 2006.
- Пешковский А. М.* Избр. труды. М.: Учпедгиз, 1959.
- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
- Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. М., 1978.
- Тодоров Ц.* Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М, 1975. С. 37–113.
- Чернейко Л. О.* Язык исследователя как выражение его мировоззрения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2008. № 3. С. 9–14.
- Чернейко Л. О.* Лингвистическая релевантность понятия «концепт» // Текст. Структура и семантика: доклады XII международной конференции / Ред. Е. И. Диброва. Т. 1. М., 2009. С. 162–175.
- Чернейко Л. О.* «Ненаучная метаречь» современной когнитивной лингвистики // Приоритеты современной русистики в осмыслении языкового пространства: Сб. статей Всероссийской научной конференции, посвященной 35-летию кафедры современного русского языкознания БашГУ. Т. 1. Уфа, 2012. С. 151–165.
- Чернейко Л. О.* Культура речи в свете этики ответственности // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Т. 2. М., 2014. С. 245–260.
- Чернейко Л. О.* Метод как инструмент формирования лингвистического объекта // Язык и метод: Русский язык в лингвистических исследова-

ниях XXI века. Т. 2: Лингвистический анализ на грани методологического срыва / Ред. Д. Шумска, К. Озга. Краков, 2015. С. 37–48.

Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. М., 1990.

Ягунова Е. В. Вариативность стратегий восприятия звучащего текста (экспериментальное исследование на материале русскоязычных текстов разных функциональных стилей): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2009.

Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.

Сведения об авторе: Чернейко Людмила Олеговна – доктор филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: avollis@mail.ru

Т.В.Пентковская

АДАПТИРУЮЩИЕ ГЛОССЫ В ПОЗДНИХ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ С ГРЕЧЕСКОГО

В статье рассматриваются поздние церковнославянские переводы с греческого (XVI–XVII вв.), выполненные старцем Силуаном, Максимом Греком, Епифанием Славинецким и Евфимием Чудовским. Общей чертой этих переводов является присутствие в тексте глосс – лексических регионализмов, условно названных адаптирующими. Они представляют собой частный случай того, что в современной теории перевода называется доместикацией, то есть адаптацией переводимого текста к культурным реалиям языка перевода. В рассмотренных текстах этот тип глоссирования получает дополнительную функциональную нагрузку в качестве лексического средства соотношения церковнославянского (книжного) и «простого» языка.

Ключевые слова: глоссы, лексические регионализмы, переводческая техника.

The article discusses the late Church Slavonic translations from Greek (XVI–XVII centuries), made by monks Silouan, Maxim the Greek, Epiphanius Slavivetskiy and Euthymius Chudovsky. A common feature of these translations is the presence in the text of the vernacular marginalia, i.e. auxiliary lexical regionalisms. They represent a special case of what in modern translation theory is called domestication, i.e. the adaptation of the translated text to the cultural values of the target language. In the considered texts, this type of marginalia receives an additional functional loading as a lexical means of correlating Church Slavonic and so-called common ('prostoj') language.

Key words: marginalia, regional vocabulary, translation techniques.

Глосса – это периферийный (в пространственно-смысловом отношении) микротекст, представляющий собой синоним-толкование какого-либо слова, часто иноязычного вкрапления, диалектизма или архаизма, а в некоторых случаях и фрагмента основного текста [Панайотов, 1999: 44]. По формальному признаку – месту расположения – глоссы делятся на интерлинейарные (толкование помещено над самим словом либо под ним) и маргинальные (написанные на полях)¹. В рукописной традиции глоссы могут появляться в ходе копирования текста, то есть вноситься редакторами, а в некоторых случаях переписчиками или читателями, но

¹ По определению Н.Д. Федосеевой в Лингвистическом энциклопедическом словаре: <http://tapemark.narod.ru/les/107a.html>. Дата обращения 18.09.2015.

могут быть характерной приметой авторской манеры. Предметом рассмотрения в этой работе будут являться именно авторские глоссы, точнее, одна из их разновидностей, которую можно условно обозначить как адаптирующие глоссы.

Под адаптирующими глоссами понимаются глоссы, представляющие собой лексемы-регионализмы, появление которых является частным случаем применения принципа так называемого адаптирующего перевода. Они представляют собой результат подбора наиболее точного смыслового соответствия чтению оригинала, являясь так называемым «адаптирующим эквивалентом» при «адаптирующем переводе», когда семы, неактуальные для переводящего языка, заменяются актуальными. Основной текст при этом может не содержать регионализм. Адаптирующий перевод² в ранних текстах возникает, как правило, при отсутствии соответствующих реалий культуры-донатора в инокультурной среде. Так, в Законе Судном Людям лексема **жюпанъ** ‘старейшина, начальник, князь’ используется при переводе греч. *ταβολάριος* ‘практикующий юрист, адвокат’, поскольку у славян не было соответствующей должности. Однако в другом случае та же лексема используется как точный региональный эквивалент греч. *ἄρχων* ‘правитель области, наместник’ [Максимович, 2004: 40].

Рассмотрим эту разновидность глосс в поздних церковнославянских переводах XVI–XVII вв., возникающих при переходе к Новому времени в Московской Руси, а именно в переводах старца Силуана, ученика Максима Грека (XVI в.) и Евфимия Чудовского, ученика Епифания Славинецкого (XVII в.).

В 1524 г. старец Силуан, монах Троице-Сергиевой лавры и ученик Максима Грека, перевел Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея при возможном участии своего учителя [Буланина, 1989: 322]. Основным источником текста Бесед – рукописи из собрания Троице-Сер-

² Следует отметить, что в истории бытования переводных памятников отмечается и феномен адаптирующей редактур. Так, в древнейшем списке Синтагмы XIV титулов без толкований – Ефремовском XII в. – имеются внесенные писцом Ефремом в основной текст маргинальные глоссы протографа, отражающие приспособление церковно-канонического текста к реалиям древнерусской культуры, в частности Не подобаетъ мьниху на оуристане коньноу въсходити [глосса: теже юсть игрище] (Трульский собор, 24), то есть ‘скачки на ипподроме’ заменяются понятием ‘языческое празднество’. Чуждая правовая норма при этом адаптируется «к иной социальной ситуации» именно посредством глоссирования [Максимович, 1997: 90].

гиевой Лавры РГБ, ф. 304.I (главное собрание б-ки Троице-Сергиевой лавры)³.

К числу глосс, представленных в нескольких списках перевода Бесед, относятся несколько таких, в которых основной вариант глоссируется регионализмом. В частности, сразу несколько лексических регионализмов (в основном тексте это *телега*) сосредоточено в небольшом фрагменте нравоучения «о житии иноческом» 69-й Беседы: ТСЛ 97 **Оуслыши паково на телѣгахъ живѣщѣи ски житїе, и паково скотопаственикѣмъ рѣша имѣти пребыванїе. сице хртїанѣмъ жити подобаше. обходити вселеннѣю ратѣющѣса съ дїаволо. пленены избавляющѣи иже ѿ оного дрѣжмы. и всѣ житенскыѣхъ своежжатица** (л. 179–179 об.) – Ἄκουσον οἶος τῶν ἀμαξοβίων Σκυθῶν ὁ βίος, οἷαν τοὺς νομάδας φασὶν ἔχειν διαγωγῆν. Οὕτω τοὺς Χριστιανοὺς ζῆν ἔδει. περιῖεναι τὴν οἰκουμένην, πολεμοῦντας τῷ διαβόλῳ, αἰχμαλώτους ῥυομένους τοὺς ὑπ’ ἐκείνου κατεχόμενους, καὶ πάντων ἀπηλλάχθαι τῶν βιωτικῶν [PG 57: 185]⁴.

Над лексемой «**скотопаственикѣмъ**» киноарные кавычки, на поле глосса «**нагаѣ**», которая не находит соответствия в греческом тексте. Так же данный текст выглядит и в РГАДА, Тип. 197 **на телѣгахъ... ски.ѣ... скотопаственикомъ** – глосса **нагаѣмъ** (л. 318 об.). То же в ТСЛ 92 (XVII в.), л. 331 об. В ТСЛ 93 (XVII в.) тот же основной текст, глосса имеет вид **нахагаѣ** (л. 246)⁵. Таким образом, глосса имеется во всех просмотренных источниках, что свидетельствует о ее принадлежности к архетипу перевода.

Ногаи здесь выступают суженным эквивалентом кочевников-скотоводов вообще: для своего времени «ногаи были эталонными скотоводами и степными воинами» [Трепавлов 2002: 180]. Ногайская Орда распо-

³ Эти источники исследовались по оцифрованной копии на сайте <http://old.stsl.ru/manuscripts/>.

⁴ В современном переводе: «Послушай, какая жизнь у кочующих скифов, какой образ жизни ведут номады? Так надобно жить и христианам: обходить вселенную, воюя с дьяволом, освобождая плененных им, и забывать все житейское». http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/69. Дата обращения 18.09.2015.

⁵ Однако в ТСЛ 95 глоссируемое и глосса меняются местами: **Оуслыши паково на телѣгахъ живѣщѣи ски житїе. и паково нагаѣ рѣша имѣти пребыванїе. сице хртїанѣмъ жити подобаше** (191 об.). Над лексемой «**нагаѣ**» киноарные кавычки, на левом поле глосса **скотопаственико** (в таких же кавычках сверху над словом, другим, возможно, более поздним почерком). Появление «обратного порядка» глоссирования показывает, что текст списка ТСЛ 95 сверялся с другими списками, иначе такое нетривиальное основное чтение восстановить было бы невозможно.

лагалась на территории современных России и Казахстана (левобережье нижней Волги, Южного Урала, Западного и Центрального Казахстана). Она возникла в ходе распада Золотой Орды в XV в. и прекратила существование в первой трети XVIII в.⁶ Пик могущества пришелся на 2-ю четверть XVI в. Самые ранние упоминания ногаев и Ногайской Орды встречаются в русских летописях и посольских книгах – под 1479, 1481 и 1486 гг. Время начала активного русско-ногайского взаимодействия – 1481 г., когда сибирско-ногайское войско разгромило ордынского хана Ахмета, вернувшегося после бесславного «стояния на Угре». Ногайские послы впервые прибыли в Москву в 1489 г. [Трепавлов, 2002: 4, 6, 109; Салиева, 2004]. В начале XVI в. на Руси была создана статья (перечень) «Татарским землям имена», в которой «ногаи» названы наравне с Большой Ордой, Казанским и Астраханским ханствами и Сибирским юртом [Трепавлов, 2002: 110]. В 1505 г. казанско-ногайская армия в течение 3-х дней безуспешно осаждала Нижний Новгород. В 1521 г. ногаи приняли участие в большом крымском нашествии на Русь: они упоминаются в Никоновской и Вологодско-Пермской летописях в составе «безбожного воинства» вместе с литовцами и черкесами [Трепавлов, 2002: 166, 180]. Однако уже в 1523 г. случилось большое ногайское нашествие на Крым, о чём также сообщали русские источники (донесения русских послов). В 1525 г. планировался еще один поход на Русь, но он не состоялся [Трепавлов, 2002: 172, 177–178].

В 1525 г. историк Павел Йовий (1483–1552) писал в «Книге о посольстве Василия, великого князя Московского, к папе Клименту VII», что ногаи «имеют ныне наивысшее значение по своему богатству и воинской славе». Сведения о ногаях ему сообщил не кто иной, как толмач Дмитрий Герасимов во время посольства к папе Клименту VII [Трепавлов, 2002: 47].

Замена абстрактных скотопаственников-номадов на вполне конкретных ногаев продиктована явно не непонятностью книжного сложения⁷, отвечающего греческому *τοῦς νομάδας*. За этим стоит актуализация самой исторической ситуации и ориентация перевода на современного читателя. Однако конкретизация проводится не в ущерб точности, поэтому

⁶ Подробнее о ногайской кочевой империи XV–XVII вв. см. в новейшем исследовании [Трепавлов, 2014].

⁷ Несмотря на то что в словарях лексема **скотопаственникъ** не зафиксирована, ее структура вполне прозрачна, ср. близкое **скотопасецъ** ‘пастух, скотовод’ в Толковой Палее по списку 1477 г. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 25: 12].

в основном тексте дается нейтральный перевод-толкование лексемы οἱ νομάδες ‘кочевники, кочевые народы’⁸.

Еще одна адаптирующая глосса находится в Беседе 18, в которой предписывается давать займы, не взимая процентов: ТСЛ 94 **займованіе же зѣѣ, не ѣ съ лихвами гѣть сложеніе, но займованіе просто**. На поле глосса **καβαλλ'** (л. 197 об.) – Δάνεισμα δὲ ἐνταῦθα οὐ τὸ μετὰ τῶν τόκων λέγει συμβόλαιον, ἀλλὰ τὴν χρῆσιν ἀπλῶς [PG, 57: 268]. Глосса имеется и в ТСЛ 96 (л. 191)⁹. Лексема **кавала** ‘долговая расписка’ является заимствованием из тур. *kabala* ‘определенное количество, заданная работа, работа одного дня’ [Фасмер 1996: 148]. Она активно используется в русских источниках начиная с XV в. (один из наиболее ранних – договорная грамота Юрия Дмитриевича с великим князем Василием Васильевичем 1433 г.; помимо договорных грамот, встречается также в купчих, духовных грамотах и др. источниках [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 7:7; Срезневский, I: 1169–1170]). В данном случае это точно подобранный эквивалент греч. τὸ συμβόλαιον ‘долговое обязательство’. Основной вариант текста – **съложение** – является формальной калькой συμβόλαιον, причем калькируется и родовая принадлежность слова. Не исключено влияние семантики родственного слова συμβολή ‘соединение’. При этом в существующих словарях слово **съложение**, имея широкий спектр значений ‘соединение, сочинение, составление, строение, устройство, создание, сотворение, связь, скрепа, соглашение и др.’ [Срезневский, III: 736; СлРЯз XI–XVII вв., вып. 25: 109–111], в значении ‘долговая расписка’ не зарегистрировано. Ближе всего стоит выражение **брачное сложение** ‘брачный договор’, отмечающееся, в частности, в Мериле Праведном [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 25: 110].

⁸ Для названий народов в византийской историографии существовала диаметрально противоположная традиция: заменять обозначения современных византийцам народов на античные наименования. Еще античный географ Страбон (ок. 64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э) в своей «Географии» писал: «Известные народы северных стран назывались одним именем скифов или номадов... ибо вследствие неведения отдельные народы в каждой стране подходились под одно общее имя» (цит. по [Лукин, 2013: 30]). Для византийского средневековья такая архаизация названий народов уже была намеренной: так, болгары фигурируют под именем мисов (Μισοῦ), сербы – трибаллов (Τριβαλλοῦ), венгры – пеонов (Παίονες), турки – персов (Πέρσαι) и т. д. [Лукин, 2013: 30].

⁹ Глосса отсутствует в ТСЛ 92 (XVII в.), л. 102 об. В этой рукописи имеются и другие исправления текста (так, в Мф. 5:39 чтение **ниже кто** большинства источников правится на **лице кто** в начале Беседы 18, л. 100).

Та же лексема зафиксирована в Библии 1663 г. и **оумолвише власта постельника царева** (л. 478 об.)¹². Епифаний Славинецкий принимал участие в подготовке этого издания. Чтение целиком совпадает с чтением Острожской Библии (л. 7 об.)¹³.

Лексема **постельникъ** ‘тот, кто ведает постелью’, кроме различных редакций Апостола, зафиксирована в русском переводе Огласительных поучений Федора Студита (по списку конца XIV – начала XV вв.), где она употреблена в результате ошибочного перевода $\epsilon\nu\ \tau\eta\ \sigma\kappa\upsilon\tau\omicron\tau\omicron\mu\iota\kappa\eta$ ‘в сапожной мастерской’ (возможное смешение с $\kappa\omicron\iota\tau\omicron\varsigma$ ‘постель’) [СДРЯ XI–XIV, VII: 295]. В этом же значении она отмечается в переводе книги Юдифь в Геннадиевской Библии, причем представляет собой маргинальную глоссу к латинизму *subiculariis*: **кубикларемъ – постельникомъ**¹⁴. Позднее она встречается в Никоновской летописи XVI в. (в том же выражении **царевы постельники**) и в Проскинитарии Арсения Суханова 1653 г. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 17: 237]. С XVI в. в русских источниках зафиксированы также лексемы **постельница** ‘прислужница по спальне’ и **постельничий** (и **постельничь**) ‘спальник, придворный чин; в Древней Руси – лицо, ведавшее спальней царя, его личной казной, мастерской, изготовлявшей царское платье и белье, а также хранившее личную печать царя’ [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 17: 237–238].

Что касается лексемы **одръникъ**, то в данном значении она, по всей вероятности, является гапаксом¹⁵. У нее зафиксировано только значение ‘большой, не покидающий постели’ в ВМЧ XVI в. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 12: 294].

В XV–XVII вв. в русском государстве **спальникъ** – это «придворный чин, в обязанности которого входило помогать государю одеваться, раздеваться, сопровождать его во время поездок». В этом значении данная лексема встречается в ряде памятников XVII в. (В сочинении Г. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» 1667 г., исторических актах 1672 г., в сборнике выписок из архивных бумаг о Петре Великом под 1684 г.) [СлРЯз. XI–XVII, вып. 26: 276]. Примечательно,

¹² <https://yadi.sk/d/oTfyaxQSzsUZ>. Дата обращения 18.09.2015.

¹³ <http://www.vechnoe.info/bible/pdf/acts/view>. Дата обращения 05.09.2015.

¹⁴ В Номоканоне Фотия с толкованиями Феодора Вальсамона, который перевел в 90-е годы XVII в. Евфимий Чудовский, делается следующая попытка передать этот латинизм в греческом тексте: Син. 464 $\kappa\upsilon\beta\iota\kappa\lambda\alpha\rho\iota\alpha$, **сирѣчь придрника**. На поле зачеркнутое восстановлено: **сирѣчь придрника** $\kappa\omicron\upsilon\beta\iota\kappa\omicron\upsilon\lambda\alpha\rho\iota\omicron\upsilon$ (л. 141 об.).

¹⁵ Ср. вариант Номоканона Евфимия **придрникъ**.

что сколько-нибудь устойчивая традиция передачи этой должности в славянских переводах отсутствовала. Так, в древнейшем переводе Жития Василия Нового конца XI в., возможно, киевского происхождения, при переводе использовался грецизм: ἕνα ἐν τῷ κοιτῶνι τοῦ βασιλέως – **единого старѣшинуу китонитѣ црѣвь**. Эта же придворная должность (кувикуларий) упоминается в Видении монаха Козьмы, которое представлено в славянской традиции в различных редакциях Стишного Пролога XIV в. В так называемой Варлаамовой редакции (сербский перевод) данное выражение передается буквально: εἷς τῶν ἐκ τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος – **единѣ ѿ црѣва чрьтога**. В болгарском переводе Стишного Пролога (Тырновской и Московской редакциях) подобран особый славянский эквивалент (формально представляющий собой перевод грецизма *китонитѣ*) **единѣ ѿ цръкыхъ лежаположець** [Пентковская, 2008: 130].

В 1690-е гг. Евфимий Чудовский выполнил перевод Номоканона XIV титулов с толкованиями Феодора Вальсамона. Самый ранний список этого перевода – рукопись ГИМ, Син. 465 (1690 г.) – является черновиком, написанным самим Евфимием. Еще одна рукопись этого перевода – Син. 464 (1691 г.) – относится, как и Син. 465, к первой редакции Евфимиевского Номоканона. Большая часть этого списка переписана рукой Флора Герасимова (за исключением л. 4–5 «Изсказание о священных и божественных канонех» – автограф Евфимия) и представляет собой «авторизованный чистовик перевода» [Исаченко-Лисовая, 1987: 113].

В числе глосс-регионализмов первой редакции Номоканона в переводе Евфимия зафиксированы следующие:

1) Правило 65 шестого Вселенского собора (в правиле описывается языческий обычай разжигать костры перед домами и прыгать через них во время празднования новолуния), Син. 464, толкование Вальсамона **но прѣ дѣлателищи сирѣчь лавками своими и домами вжигахѣ огнища**. На поле варианты: **продал торговищами** (л. 205 об.) Ἀλλὰ καὶ ἐμπροσθεν τῶν ἐργαστηρίων αὐτῶν καὶ τῶν οἰκῶν ἀνήπτον πυρκαϊᾶς [Ραλλη, Ποτλη II: 458]. Толкование Вальсамона к 9-му правилу шестого Вселенского собора, Син. 464 **сѣцій же канонѣ впрѣдѣляетѣ, не имѣти клирїкѣ корчемническагѣ дѣлателища** [Поле: **продая- сирѣчь лавки продавателныя**] **рекше не дѣйствовати кѣпли корчемническиѣ** (л. 142 об.) – ὁ δὲ παρὼν κανὼν διορίζεται, μὴ ἔχειν κληρικὸν καπηλικὸν ἐργαστήριον, ἢ γοῦν μὴ ἐνεργεῖν ἐμπορίαν καπηλικήν [Ραλλη, Ποτλη II: 327]. В значении ‘торговое помещение, лавка’ зарегистрировано в русских

источниках начиная с XIV в. [Срезневский, III: 2; СлРЯз XI–XVII вв., вып. 8: 157].

2) Правило 76 шестого Вселенского собора, Син. 464 **пакω не подо-
баецтъ внѣтрѣ сѣнненыхъ вградѣ корчмѣ** [На поле глосса: **харчевнио**],
или ради снѣдѣй [сверху глосса **арωматωвъ (!)**] **виды прѣлагати**¹⁶, или
ниная продаянія творити, **честь цркъвемъ хранящимъ** (л. 217) – ὅτι οὐ
χρῆ ἔνδον τῶν ἱερῶν περιβόλων καπηλείων, ἢ τὰ διὰ βρωμάτων εἶδη
προτιθέναι, ἢ ἑτέρας πράσεις ποιεῖσθαι, τὸ σεβάσιμιον τῆς ἐκκλησίας
φυλάσσοντας [Ραλλη, Ποτλη II: 483–484].

Этот вариант систематически представлен в глоссах Син. 464, в част-
ности в правилах шестого Вселенского собора, **канων ѿ: Ни единомѣ же
достоятъ клирїкѣ корчемническоѣ** [На поле глосса **харчев**] **дѣлателнше**
[На поле глосса: **taberna, продаялницѣ**] **имѣти** (л. 142) – Μηδενὶ ἐξείναι
κληρικῶ, καπηλικὸν ἐργαστήριον ἔχειν [Ραλλη, Ποτλη II: 326].

В толковании: **пддшыа в корчемницѣ** [На поле глосса: **харчевнищѣ**]
клирїкы (л. 142) – τοὺς ἐσθίοντας ἐν καπηλείῳ κληρικούς. Ниже: **ино
есть еже входити в корчмѣ** [над зачеркнутым надписано **-емницѣ**, на
поле глосса **харчев**] **чѣждѣю и пастн: и ино еже кѣпцствовати** [исправ-
лено из **кѣпцствовати**] **корчемническою хитростїю** (л. 142 об.) – ἐπεὶ
δὲ ἕτερον ἐστὶ τὸ εἰσέρχεσθαι ἐν καπηλείῳ ἀλλοτρίῳ, καὶ ἐσθίειν, καὶ
ἕτερον τὸ ἐμπορεύεσθαι καπηλικὴν τέχνην [Ραλλη, Ποτλη II: 327].

В словаре И. И. Срезневского одним примером представлено только
производящее **харчъ** ‘продовольствие’ у Афанасия Никитина [Срезнев-
ский, III: 1363], М. Фасмер указывает на наличие этого слова у Г. Кото-
шихина. К XV в. восходит первое употребление производного **исхарчи-
ти** ‘истратить, израсходовать’ [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 6: 343]. Корень
восходит к арабскому *ḥardž* ‘доход, хозяйственные расходы’. Это заим-
ствование через турецкий, которое имеется и в совр. украинском язы-
ке [Фасмер, 1996, IV: 225]. Иное семантическое развитие получило это
заимствование в болгарском: Н. Геров отмечает **харчъ** ‘расход’ и **харчѣж**
‘трагить, расходовать’ [Геров 5: 489].

3) Толкование Феодора Вальсамона на 3-й канон Анкирского Помест-
ного собора: Син. 465 **Нѣцїи клирїци и людини вѣгающе тврнскихъ
рѣкѣ... вопляхъ быти хртїане. пакωже съ нѣждѣю** [над словом глос-
са: **силюю**] **вложися ѿ мѣчителей** [над словом глосса: **катовѣ**] **в рѣкы
нхъ кадило негли, еже идѣлѣмъ жрети... възбраняхѣся съ вѣрными**

¹⁶ На поле глосса: ἢ τὰ διὰ ἀβρωμάτων εἶδη προτιθέναι vel quae fiunt per aromata species proponere.

вещенія, за еже неган быти имъ идоложерцемъ (л. 91) – Τινές κληρικοί καὶ λαϊκοὶ φεύγοντες τὰς τῶν τυράννων χειῖρας... ἐβόων εἶναι Χριστιανοί. Ὅτι δὲ κατὰ βίαν ἐνεβλήθη παρὰ τῶν δημίων ταῖς χερσὶ τούτων λιβανωτὸν τυχόν... ἐκωλύοντο τῆς μετὰ τῶν πιστῶν κοινωνίας, διὰ τὸ δηθεν γενέσθαι αὐτοὺς εἰδωλοθύτας [Ραλλη, Ποτλη 1853: 26].

В глоссе представлена замена лексемы **МОУЧИТЕЛЬ** с более общим значением на регионализм с конкретным значением, точно отвечающий значению греческой лексемы. Слово **КАТЪ** ‘палач’ представлено в исторических словарях двумя примерами: в Истории о великом князе Московском Курбского (сп. XVII в. – XVI в.) и в Словаре западно-русском (славяно-латинском): **КАТЪ** – carnifex, tortor (ГИМ, Барс. № 2313, XVII в., л. 78 об.) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 7: 88]. Это слово пришло в украинский и белорусский из польского *kat* < бав. *kat(e)* ‘помощник палача’ (ср. ср.-в.-н. *gat*). Имеется оно и в чешском. В словаре М. Фасмера сказано, что лексема появилась в петровское время, что ошибочно [Фасмер, 1996, II: 208]. Примечательно, что с XVI в. в московских источниках появляется слово *палач* (*полач*), возводимое к турецк. *rala* ‘меч, кинжал’ (наиболее ранний источник – русско-греческий разговорник «Речь тонкословия греческого»: Диомии, *полачи*) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 14: 131; Фасмер, 1996, III: 191]. Однако выбор делается в пользу западно-славянской лексемы, одновременно присутствующей в простой мове.

Толкование Феодора Вальсамона на 6-е правило канонического послания Григория Неокесарийского, Син. 465 **Мнитъ бо пакъ трѣсновеніе** [над словом глосса **перѣнъ**], **рекше огнь ѓ нѣсе паде, и попалии таковая дѣющыя** (л. 128) – σκηπτὸς ἦγουν πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ [Ραλλη, Ποτλη 1854: 60].

Подобную глоссу находим дважды в Андриантах в переводе Евфимия Чудовского (ГИМ, Син. 104, не позднее 1680 г., из библиотеки Евфимия)¹⁷. **Гомилия 3-я и по вса дни хѣлнтса тѣ сый вида и слыша, ти ни грома пѣсти ни морѣ на землю въстѣши повелѣ** (л. 63 об.) – καὶ οὔτε σκηπτὸν ἀφῆκεν, οὔτε τὴν θάλατταν τῇ γῆ ἐπιδραμεῖν ἐκέλευσε [PG 49: 57]. На поле глосса **перѣнъ** σκηπτὸν. То же в 14-й гомилии: **виждь кротости и тиxости члвколюбца бѣга: не бо грома** [над словом глосса **трѣсновеніе**] **пѣсти** (л. 207) – Ὅρα πραότητα καὶ ἐπιείκειαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ οὐ γὰρ σκηπτὸν ἀφῆκεν [PG 49: 119]. На поле глосса **перѣнъ** σκηπτὸν.

¹⁷ [1] Об этом переводе-редактуре, в основе которого лежит старший полный перевод, насчитывающий 21 главу, см. [Горский-Невоструев, 1859: III–119; Мушинская, 2003: 28; Турилов, 2008: 410].

Устойчивое употребление этой глоссы в переводах Евфимия Чудовского, вероятно, не случайно: эта же глосса находится в киевском издании церковнославянского перевода гомилий Иоанна Златоуста на 14 Посланий апостола Павла¹⁸. Беседа 11-я, нравоучение на Послание к Римлянам: **пмыслѣ^М, ако сѣ всѣ видѣй Бѣ, ни ѱгромѣвъ съвѣше^Ш не посылаѣ^Т: аще и не точію ѱгромѣ^В** [на поле глосса ѱперѣн^Н]¹⁹ **достѣйна сътъ бываемѣѣ** (л. 60)²⁰ λογισόμεθα, ὅτι ταῦτα πάντα ὄρων ὁ Θεός, οὐ κεραυνὸς ἄνωθεν πέμπει· καίτοι γε οὐ σκηπτῶν ἄξια τὰ γινόμενα μόνον [PG 60: 492].

Это издание послужило одним из источников масштабной sprawy Нового Завета, предпринятой под руководством Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского [Пентковская, 2016], и, очевидно, продолжало использоваться Евфимием и в дальнейшем²¹.

В значении ‘молния, гром’ зафиксировано в Словах и Поучениях против язычества (XVII в.) и в Книге глаголемой гречески Алфавит (БАН, Арх. д., № 446, XVII в.) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 15: 15]. У Срезневский, отмечается *перунь* ‘громовая стрела’ с пометой *малор.*, ср. греч. κεραυνός ‘громовой удар, стрела громовая’ [Срезневский, II: 920], в значении ‘гром’ имеется в совр. украинском, белорусском, чешском и польском языках. Употреблялось в сочинениях Ломоносова, Державина, Батюшкова [Фасмер, 1996, III: 246]. Лексема **трѣснование** ‘гром и молния’ известна уже в ранних памятниках (13 Слов Григория Богослова, по списку XI в., в греч. κεραυνός) [Срезневский, III: 1028].

¹⁸ Перевод гомилий Иоанна Златоуста на 14 Посланий апостола Павла был выполнен иеромонахом Киприаном Острожским, затем сверен с изданием греческого текста 1612–1613 г. Г. Савилия Лаврентием Зизанием, Захарией Копыстенским и Памвонью Берындой [Турилов, 2010: 236].

¹⁹ Кавычки при обоих употреблении слова **громѣ** показывают, что глосса относится к этим двум словоупотреблениям.

²⁰ Текст цитируется по оцифрованной копии издания на сайте <http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/516>. Дата обращения 16.11.2015.

²¹ Оттуда, в частности, могла быть заимствована Евфимием и еще одна глосса-полонизм, которая находится в его переводе Андриант и в киевском издании Бесед на Послания. Син. 104 Беседа 19-я **дѣша хѣдѣнающаго** [над словом: **припроситѣѣ**]. На поле глосса **zebakra** (л. 269) – ἡ ψυχή προσάιτου [PG 49: 190]. Беседа 7-я на Послание к Римлянам **Бегѣ ради и въ хѣдѣмъ ѱбразѣ къ тѣвѣ приходитѣ**. На поле глосса **Жебракъ** (л. 43) – διὰ τοῦτο καὶ ἐν εὐτελεῖ σχήματι ἰ σοὶ προσέρχεται [PG 60: 454]. Ср. совр. польск. *zebрак* ‘нищий’. Вероятно, глоссы этого и других подобных киевских изданий – источников книжного исправления могли служить московским переводчикам и своего рода справочным материалом в их лексикографической работе.

4) Правило 57 Карфагенского собора Син. 464, толкования... **ѡкв мѡчители** [Над словом: **кромѡники**] **рекше ѡкв вѣносяща рѡкы, и противящяся канонѡм и еппѡмъ** (л. 428). На поле глосса: **ἀντάρτας βῆντοβνικы**. Производные от слова **воѡнтъ** ‘восстание, мятеж’ (**воѡнтованиѡ, воѡнтовати, воѡнтовникъ, воѡнтовцикъ, воѡнтовство, воѡнтовый** и пр.) активно используются в русских источниках на протяжении XVII в., причем впервые само слово отмечено в Никоновской летописи под 1400 годом [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 1: 354–355; Срезневский, I: 193]. Лексема *бунт* является заимствованием из польского (в свою очередь там оно восходит к нем. *Bund*) [Фасмер, 1996, I: 241].

Это дает возможность обсуждать знакомство Евфимия с простой мовой (или по крайней мере с украинско-белорусскими регионализмами, ставшими фактами лексической системы русского языка XVII в.). По предположению неуказанного автора статьи «Евфимий Чудовский» в Православной энциклопедии, Евфимий в период 10-летнего перерыва в работе на Печатном дворе (1660-е гг.) мог несколько лет провести на Украине²².

Выделяются также случаи, когда регионализмами являются обе лексемы – основной вариант и глосса.

В переводе Номоканона Евфимия Чудовского: Толкование Вальсамона на 12-е правило 7 Вселенского собора²³, Син. 465 **Ѣлма же αὐτοῦργία**²⁴ **сгтъ ѡже ѡ своихъ вещей и ѡкв самосовою дающа плоды** (на поле глосса **самоплодная самодѡльная**), **ѡкв слатнины** (на поле глосса **солная мѡста**), **масличѡя, винници** (сверху глосса **лозници**, на поле глосса **οἱ ἀμπελωνες**), **лѡжная мѡста, водомелници, кирпични** (сверху глосса **саран**) и **прочая таковая** (л. 12 об.) – **Ἐπεὶ δὲ αὐτοῦργία εἶσι τὰ**

²² «Косвенные данные, а именно прекрасное знание Евфимием литературы, изданной на Украине в 60-х гг. XVII в., и полная неосведомленность о литературе, изданной в Москве в тот же период, позволяют предположить, что в это время Евфимий жил в одном из украинских монастырей» [Евфимий Чудовский, 2013: 409].

²³ Правило говорит о санкциях по отношению к епископу или игумену, которые допустили бы злоупотребление в отношении церковного имущества, например, отдав или продав что-либо из угодий, принадлежащих епископии или монастырю: <http://agioskanon.ru/vsbor/007.htm#12>. Дата обращения 18.09.2015.

²⁴ Это слово в Син. 465 регулярно вписывается без перевода в основной текст, глоссируясь славянскими вариантами на полях. Однако в Син. 464 в данном фрагменте греческое слово зачеркнуто, а сверху написан перевод **самодѡльная** (л. 273 об.). Примечательно, что в этой рукописи 1691 г. глосс **солная мѡста** и **саран** нет.

ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, καὶ οἷον οἴκοθεν διδόντα τοὺς καρποὺς, ὡς αἱ ἄλικαὶ, οἱ ἐλαιῶνες, οἱ ἀμπελῶνες, οἱ λιβαδιαῖοι τόποι, οἱ ὑδρομυλοὶ, τὰ κεραμαρεῖα, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ τοιαῦτα [Ραλλη, Ποτλή 1852: 595]. Греч. τὰ κεραμαρεῖα означает ‘черепичный завод’. Первые примеры употребления тюркского заимствования *saray* в русских памятниках, в том числе в современном значении ‘нежилая постройка хозяйственного назначения’, а также в значении ‘сарай с обжигальной печью на кирпичном производстве; сарай или навес для сушки кирпичей; *мн.* кирпичный завод’ появляются в памятниках в середине – второй половине XVI в. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 23: 63; Фасмер, 1996, III: 560]. Интересно и то, что слово **кирпичня** (?) в исторических словарях русского языка XI–XVII вв. не зафиксировано. Лексема **кирпичь** и ее производные, будучи заимствованием из тюркских языков, судя по данным памятников, начинают употребляться в XIV–XV вв. [Срезневский, I: 1209-1210; СлРЯз XI–XVII вв., вып. 7: 134-136; Фасмер 1996, II: 238]. Ср. объединяющее эти варианты словосочетание *кирпичный сарай* ‘небольшой завод, изготовляющий кирпичи’, зафиксированное в сибирских и вятских говорах в середине XIX – начале XX вв. [СРНГ, вып. 13: 223].

Ясно, что собственно церковнославянского аналога греческому слову не было, и переводчику пришлось подбирать варианты, существующие в живом языке, при этом не прибегая к неологизмам-калькам, которых в принципе много в творчестве Евфимия. Эта разновидность адаптирующего перевода, вызванного не отсутствием реалии как таковой, но отсутствием подходящего церковнославянского эквивалента в силу ограниченности лексического фонда церковнославянского языка. Относительно же принадлежности самому Евфимию данного фрагмента возникают вопросы, так как вскоре после него сделано замечание **до зѣлѣ маѣма грека** (л. 13). Установлено, что Максим Грек перевел отдельные статьи, в том числе правила 12 и 18 седьмого Вселенского собора из греческого Номоканона Фотия с толкованиями Вальсамона для Кормчей Вассиана Патрикеева в 1521 г. [Иванов, 1969: 49–52; Исаченко-Лисовая, 1987: 114].

Наконец, известны случаи, когда, наоборот, глоссированию (с заменой на нейтральные элементы) подвергается именно регионализм. Это происходит при переходе памятника из одной славянской среды в другую и его обращении в инославянской среде: так, лексема **сѣлѣзѣ** < герм. *skillings* Закона Судного Людям в русской Печатной Кормчей глоссируется словом **златникъ** [Максимович, 2004: 97; Фасмер, 1996, III : 642].

Регионализм (или так называемый «адаптирующий эквивалент», в терминологии К. А. Максимовича [Максимович, 2007: 134–135]) для обозначения византийской денежной единицы вводится в основной текст нравоучения к 63-й Беседе Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея в переводе старца Силуана и Максима Грека: ТСЛ 97 **Ѡ Ѡвѣсѡ^д вѡмѣсто вѡды, вѡмѣсто источникѡвъ злато емѡ истекае^т трѣ^х пѣлѣ не оубо реклѣ бы достоинны^х быти, сице вѡгаташѣ^{сѧ}, црѣвѣа нѣнаго Ѡпадшѣ^х** (л. 135). При этом в сербской редакции Бесед Иова Шишатовоца XVII в. он глоссируется нейтральным славянским вариантом: F.I.763 **и Ѡвѣсѡдѡ въмѣсто вѡды, въмѣсто источникѡвъ злато истекаетѣ^т. трѣ^х поулѣ не оубо реклѣ бы доинны^х быти, сице богатеши^{сѧ} се, црѣвѣа нѣнаго Ѡпадшѣ^х** (л. 343 об.) – **трѣ^х ѡво^л ѡво^л** [PG 58: 608] На поле глосса **трѣ^х мѣни^д**. Эта глосса не зафиксирована в русских списках Беседы ТСЛ 95 и ТСЛ 97.

Русская медная разменная монета под названием *пуло* появилась в конце XV – начале XVI в. как подражание монетам Золотой Орды (*пул*). Эта монета чеканилась в Москве, Твери, Новгороде, Пскове и других городах на протяжении XVI в., причем вес ее постоянно уменьшался (с 2,5 гр. до 0,3–0,4 гр.). В оригинальных русских источниках XV–XVII вв. зафиксированы формы **поулѣ, поуло** (а в надписях на монетах могут встречаться варианты **пѣли, пѣли, пло, плон**) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 21: 44; Срезневский, II: 1725]. Название восходит к визант. *φόλλις* < лат. *follicis*, отсюда и арабское *filis* ‘деньги’ [Фасмер, 1996, III: 404; Зварич, 1980²⁵; Гайдуков, 1993: 3–5]. Таким образом, **поуло** является точным региональным эквивалентом греческого *ὁ κόλλυβος* ‘мелкая разменная монета, грош’.

Уже обращалось внимание на то, что «в переводных произведениях, где действие происходит на фоне иноземных реалий, обычно употребляются заимствованные названия денежных единиц или общеславянские лексемы с родовым значением (**мѣдница, сѣребрникъ, златникъ** и т. д.)» [Пичхадзе, 2006: 78]. Таким образом, сербский редактор Бесед, заменяя региональное обозначение монеты на общеславянское, действует в русле этой тенденции. При этом для переводов домонгольского периода восточнославянские названия денежных единиц в основном не характерны, случаи употребления лексем **вѣверица, рѣзана, вѣкъша** и **гривна**, отмечающиеся в древнейшем переводе Пандект Никона Черногогорца, возможно, появились там в результате редактуры и не принадлежат архетипу перевода [Пичхадзе 2006: 78–79].

²⁵ <http://www.numizm.ru/html/p/pulo.html>. Дата обращения 18.09.2015.

В рассматриваемых поздних русских переводах ситуация складывается иная: все употребления регионализма **поуло**, включая глоссы, принадлежат, как правило, архетипу. Так, лексема **поуло** отмечается еще в «Сказании о таланте», которое представляет собой перевод части соответствующей статьи Лексикона Свиды, выполненный Максимом Греком (списки РГБ, Стр. 8290, л. 386; Рум. 265, л. 231 об.; Рог. 341, л. 507): мнас имеет драхм 100, драхма же пулов 6, пуло же медниц 6, медниц же тонких 7 зовется лепта (цит. по [Иванов, 1969: 77]) – ἡ δὲ μνα δραχμῶν ρ', ἡ δὲ δραχμῆ ὀβολῶν ζ', ὁ δὲ ὀβολὸς χαλκῶν ζ', ὁ δὲ χαλκοῦς λεπτῶν ζ' [Lexicon Suidae, 1854: 1006].

В свою очередь, **поуло** выступает в качестве глоссы в переводе Номоканона Фотия, выполненном Евфимием Чудовским. В толкованиях Вальсамона к 76-му правилу шестого Вселенского собора читается: ГИМ, Син. 464 **пѣнязѡнѡмѣннѣтели, си естъ трапезиты** [На поле глосса *κολλυβισταί* – ‘менялы’], **ѡ сѣнны^х уградѣ изгна. κόλλυβος же дровный пѣнязь** [как *πῦλο*]²⁶ (л. 217 об.) – τοὺς κολλυβιστὰς, τοῦτέστι τοὺς τραπεζίτας, ἐκ τῶν ἱερῶν περιβόλων ἐξήλασε· (κόλλυβος δὲ, τὸ λεπτὸν νόμισμα) [Ραλλη, Ποτλη II: 482]. Этот же вариант находится и в евфимиевском переводе-редактуре Андриант Иоанна Златоуста (ср. при этом контекст Бесед на Евангелие от Матфея): Гомилия 17-я, Син. 104 **ѡтѣдѣ кореніа злѡѣ** [сверху глосса *ζλοбы*] **вѣзрастоша** [ѣ испр. на *ο*] **ѡтѣдѣ нже обычан сего** [*ο* испр. на *ω*] **οглаголъюции сѣтъ, нже гласы своа плашѣшымѣ продающе, и на трехѣ мѣдницахѣ** [сверху глосса *πῦλαхѣ*] **тѣмѣ продающе свое спасеніе** (л. 248 об.) – Ἐντεῦθεν αἱ ρίζαι τῆς πονηρίας ἐβλάστησαν τῇ πόλει, ἐντεῦθεν οἱ τὸ ἦθος αὐτῆς διαβάλλοντες εἰσιν, οἱ τὰς αὐτῶν φωνὰς τοῖς ὀρχουμένοις πωλοῦντες, καὶ τριῶν ὀβολῶν τὴν ἑαυτῶν προπίνοντες ἐκείνοις σωτηρίαν [PG 49: 176]. На поле глосса **пѣназехѣ** ὀβολῶν.

В отличие от древних текстов, где глоссы-пояснения были необходимы в силу отсутствия у славян соответствующей реалии, по крайней мере в части рассмотренных случаев появление адаптирующих глосс избыточно: дублируемые ими варианты основного текста не нуждаются в пояснениях. Поэтому здесь задачи объяснения неизвестного феномена

²⁶ Лексема **пѣназь**, несмотря на наличие уже в древнейших евангельских списках, является для позднемосковской традиции актуализированным полонизмом, пришедшим в книжный язык через посредство простой мовы. Здесь она выступает в качестве основного и потому нейтрального обозначения денежной единицы. Про это слово у Евфимия Чудовского см. [Пентковская, 2016].

как таковой нет или она не является главной. По всей вероятности, здесь действует другой механизм: глоссирование с помощью регионализма помогает установить корреляцию реалий иной (византийской) культуры и культуры собственной, соотнести не только обозначающее, но и обозначаемое. Ср., например, следующий прием актуализации реалии, осуществляющийся с помощью развернутого глоссирования. Шестой Вселенский собор, правило 96, осуждающее тех, кто украшает свои волосы, толкование Феодора Вальсамона: Син. 464 **Глѣтъ же и великѣи Павлаъ: мѡжъ аще косматѣтъ** [На поле глосса: **космѡ раститѣ**] **вещестѣ емѡ есть. И Мωνσειскѣи же законъ глѣтъ въ второзаконѣи, не сотворите сѣсонѣ (снестъ кѡдри) на главѣмъ вашемъ**²⁷ [На поле ссылка: **λενι̅:ϝι̅·**] **Назnamenай ѡво сѣя ради вѣющиѣхъ, или плетѣщиѣхъ, или шарящиѣхъ, или ѣ водою мочащиѣхъ своя власы, или тымъ чѡждыа слѡчающиѣхъ. Напротив последней фразы на поле поясняется: **чѡждыа власы, разѡмѣи, накладныя немецкыя** (л. 246 об.) – **Φησὶ δὲ καὶ ὁ μέγας Παῦλος· Ἄνθρωπον κομῶν, ἀτιμία αὐτῷ εἶσι· καὶ ὁ Μωσαϊκὸς δὲ νόμος λέγει ἐν τῷ Δευτερονομίῳ· οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν. Σημεῖωσαι οὖν ταῦτα διὰ τοὺς κλώθοντας, ἢ πλέκοντας, ἢ βάπτοντας, ἢ μετὰ ὕδατος βρέχοντας, ἢ ἄλλως πως πληθύνοντας καὶ καλλωπίζοντας τὰς οἰκείας τρίχας, ἢ ταύταις ἀλλοτρίας συνάπτοντας· ὡσαύτως καὶ διὰ τοὺς καλλύοντας κατὰ γυναῖκας τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν μέρη αὐτῶν** [Ραλλη, Ποτλη, II: 536].**

Контекст оказывается для переводчика весьма актуальным: как известно, в XVII в. мода на ношение парика распространилась из Франции по всей Европе. Против этой моды очевидным образом выступает традиционалист Евфимий Чудовский. Во второй половине XVII в. сочетание *накладные волосы* устойчиво используется в московских источниках в значении ‘парик’ [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 10: 117]. Прил. *немецкый* означает в этом контексте ‘западноевропейского происхождения или образца’ вообще [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 11: 169]. Заметим, что до появления самого слова «парик» осталось еще более десятка лет: вперые это заимствование (через голл. *paruk* < франц. *peruque*) отмечено в разных формах (пар- 1705, пор- 1759, перр- 1778, -рѣок- 1702) в начале XVIII в. [Фасмер, 1996, III: 206; СлРЯз XVIII в., вып. 18]²⁸.

В переводах Максима Грека и особенно Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского действует принцип, характерный для построения

²⁷ Исправлено из й.

²⁸ <http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/>

словарной статьи в лексиконах: привести как можно больше лексических эквивалентов для одного понятия. Недаром греко-славяно-латинский Лексикон, составленный Епифанием Славинецким между 1664 и 1680 гг. (ГИМ, Син. 383) [Брайловский, 1890: 241–250], является одним из источников, используемых в переводе НЗЕ. Похоже, что лексиконом пользовался Евфимий и при переводе Номоканона: в системе глоссирования этого текста заметно стремление выстроить лексические цепочки: церковнославянское – греческое – латинское – и (в ряде случаев) «простой» эквивалент, то есть регионализм. Это соответствует устройству Лексикона Епифания.

Из маргинальных замечаний, имеющихся в рукописях евфимиевского перевода Номоканона, можно понять, что глоссирование является принципиальным элементом перевода, а не только принадлежностью черновика. Так, в Син. 464 имеется следующий комментарий по поводу размещения основного варианта и глоссы: **прѣмѣни ѿ поля в строкѣ, и строкѣ на полѣ** (л. 414 об.). Поскольку Син. 464 представляет собой авторизованный чистовик первой редакции перевода Номоканона (см. выше), это означает, что глоссы рассматривались как одна из составляющих перевода²⁹.

Так называемые «адаптирующие» глоссы представляют собой частный случай того, что в современной теории перевода называется доместикация, то есть адаптация переводимого текста к культурным реалиям языка перевода³⁰. В рассмотренных текстах, однако, этот «способ репрезентации чужого и непонятного текста в понятных терминах принимающей культуры» [Корнаухова, 2011: 91] получает дополнительную функциональную нагрузку в качестве наглядного лексического средства соотнесения церковнославянского (книжного) и «простого» языка, а также выступает как средство, позволяющее соотносить культурные коды переводящего и переводимого.

²⁹ Данное замечание свидетельствует, между прочим, и о том, что отношения между глоссируемым и глоссой могли строиться как отношения между равноправными лексическими вариантами, что также характерно для лексических эквивалентов в рамках словарной статьи Лексикона.

³⁰ Этот термин был введен в научное употребление Л. Венути (см., например, [Venuti, 2004]). Он активно используется и в работах на русском языке, посвященных теории художественного перевода (см., например [Войнич, 2010; Корнаухова, 2011]).

Словари и источники

- Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–30. М., 1975–2015 (продолж.).
- Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1–19. Л., 1984–2011 (продолж.).
- Словарь русских народных говоров. Вып. 13. Калун – Кобза. Л., 1977.
- Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка: Ре-
принтное издание. Т. I–III. М., 1989.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–III. 3-е изд.
СПб., 1996.
- Patrologiae cursus completus. Series graeca / Accurante J.-P. Migne. T. XLIX–
LVIII. Sancti patris nostril Joannis Chrysostomi archiepiscopi constantino-
politani commentariorum in Matthaicum. Parisiis, 1862.
- Suidae Lexicon Ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Berolini. Typis et im-
pensis Georgii Reimeri. A. 1854.
- [https://books.google.ru/books?id=A5YCAAAAQAAJ&printsec=frontcover
&hl=ru#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ru/books?id=A5YCAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false)
- Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἀγίων καὶ πανευφύμων
ἀποστόλων ... ὑπὸ Γ.Α. Ραλλῆ καὶ Μ. Ποτλῆ. Τ. II. Αθηνῆσιν, 1852.
Т. III. Αθηνῆσιν, 1853. Т. IV. Αθηνῆσιν, 1854.

Список литературы

- Брайловский С.Н.* Филологические труды Епифания (Славинецкого) //
Русский филологический вестник. 1890. Т. 24. № 2. С. 236–250.
- Буланина Т.В.* Силуан // Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI вв.). Ч. 2. Л., 1989. С. 321–323.
- Войнич И.В.* Стратегии лингвокультурной адаптации художественного
текста при переводе: Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Пермь,
2010.
- Гайдюков П.Г.* Медные русские монеты конца XIV–XVI вв.: Каталог мо-
нет. М., 1993.
- Геров Н.* Речник на българския език: Фототипно издание. Т. I–V. София,
1975–1978.
- Горский А.В., Невоструев К.И.* Описание славянских рукописей Мос-
ковской Синодальной библиотеки. Отд. II: Писания святых отцов.
Ч. 2: Писания догматические и духовно-нравственные. М., 1859.
- Евфимий Чудовский.* Православная энциклопедия. Т. XVII. М., 2013.
С. 408–411.
- Зварич В.В.* Нумизматический словарь. 4-е изд. Львов, 1980.

- Иванов А. И.* Литературное наследие Максима Грека: Характеристика, атрибуции, биография. Л., 1969.
- Исаченко-Лисовая Т. А.* Номоканон с толкованиями Вальсамона в переводе Евфимия Чудовского (конец XVII в.). Особенности языка и перевода // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 111–121.
- Исаченко Т. А.* Вера и противление в ответах и обличениях 80–90-х гг. XVII в.: Новые библейские переводы в филологических школах XVII в. М., 2015.
- Корнаухова Н. Г.* Переводческие стратегии в аспекте манипуляции сознанием // Вестник Иркутского гос. лингвистического ун-та, 2011. № 3 (15). С. 90–96.
- Лукин П. Е.* Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. М., 2013.
- Максимович К. А.* Глоссы и интерполяции в Ефремовской кормчей XII в. // Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 89–94.
- Максимович К. А.* Законъ соудьнии людьмъ: Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника: Монография. М., 2004.
- Мушинская М. С.* Адрианты Иоанна Златоуста в южнославянских и русских памятниках // Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2002–2003. М., 2003. С. 27–74.
- Панайотов В.* Средневековни маргинални текстове // Маргиналии. Кн. 1 / Составител: д-р Веселин Божков Панайотов. Шумен, 1999. С. 5–48.
- Пентковская Т. В.* Видение монаха Козьмы в славянской традиции // XIV Международный съезд славистов: Письменность, литература и фольклор славянских народов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г.: Доклады российской делегации. М., С. 126–151.
- Пентковская Т. В.* Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого и польская переводческая традиция XVI в.: перевод аргументов к Апостолу // Русский язык в научном освещении. 2016. № 31 (1). С. 181–226.
- Пичхадзе А. А.* К текстологии древнейшего славянского перевода Пандект Никона Черногорца // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2004–2005>. М., 2006. С. 59–84.
- Салиева Х. Б.* Ногайская Орда во взаимоотношениях России с Казанским Ханством в конце XV – середине XVI в.: Автореферат дисс. ... канд. историч. наук. Махачкала, 2004.
- Трепавлов В. В.* История Ногайской Орды. М., 2002.

Трепаевлов В.В. «Орда самовольная». Кочевая империя ногаев XV–XVII вв. М., 2014.

Турилов А.А. Андрианты // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2008. С. 410.

Турилов А.А. Славянские переводы сочинений Иоанна Златоуста и их издания у южных славян и на Руси // Православная энциклопедия. Т. XXIV. М., 2010. С. 234–237.

Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. Taylor & Francis e-Library, 2004 (first published: London, 1995).

Сведения об авторе: Пентковская Татьяна Викторовна, доктор филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: pentkovskaia@gmail.com

В.В.Калугин

ТОЛКОВЫЕ ПРОРОЧЕСТВА В ЛИТОВСКОЙ РУСИ (СПИСКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА С ПЕРМСКИМИ ГЛОССАМИ)¹

Толковые пророчества с пермскими глоссами, сохранившиеся в списке F.I.3 (первая четверть XVI в.) и его точной копии Син-117 (вторая четверть XVI в.), являются «литовским» ответвлением от русской рукописной традиции памятника. Возможно, F.I.3 восходит к личному экземпляру московского еретика Ивана Черного, бежавшего из России в 1487–1490 гг. Редактор Син-117 был колонизированным украинцем (последняя треть XVI – первая треть XVII в.). Он сверял текст не с древнееврейским оригиналом, а с польской Библией 1563 г.

Ключевые слова: пермские глоссы, правка, древнееврейский источник, польский перевод, оригинал, протограф, список, язык.

Commentaries on the Prophet Books with Permic glosses in the codex F.I.3 cannot belong to the Moscovite heretic Ivan Chernyi. He had fled Russia and died before October 1490, whereas F.I.3 was written in the 1st quarter of the 15th century. It was copied from a Russian manuscript which had a common proto-graph with other Russian copies of Commentaries on Prophet Books. It is probable (but by no means certain) that F.I.3 was copied from a manuscript which belonged to Ivan Chernyi. In the 2nd quarter of the 16th century an accurate copy of F.I.3, including the Permic glosses, was made (Syn.117). The handwritings in the two manuscripts are similar, but not identical. In late 16th – 1st part of 17th cent. Syn.117 was emended by a scholar who was Ukrainian, spoke Polish.

Key words: Permic glosses, emendation, Hebrew sources, original, proto-graph, manuscript copy, language.

Предварительные замечания. Пермская азбука – миссионерская. Ее создал в 1370–1380-е гг. Стефан Пермский для просвещения коми-зырян. Пермская азбука основана на кириллице и греческом курсиве, но буквы не дописываются и поэтому отличаются большим числом начертаний в виде острого угла. Пермская азбука не выдержала конкуренции с церковнославянской и была вытеснена ею. Однако она осталась среди ученых книжников, высоко ценивших мастерство каллиграфии и знание разных систем письма. Одним из них был Василий Мамырёв. В 1455 г.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФНФ, проект № 15-04-00059 «Глаголица в Толковых пророчествах 1047 г. (Опыт текстологической и палеографической реконструкции)».

он переписал красивым грецизированным полууставом Октоих для великого князя Василия II (кроме л. 178а–187в:1), использовал пермскую азбуку в записях и зашифровал ею свое имя в колофоне [Ув-87: 79г, 121г, 147б, 158а, 176в, 235б, 239в, 245 об.]. По наблюдениям М. Н. Сперанского, употребление пермской азбуки в качестве тайнописи «ограничивается главным образом XV веком и началом следующего и притом областью только Московской Руси» [Сперанский, 1929: 72].

1. Пермские глоссы в рукописях Ивана Черного и Толковых прочествах. Исследователи связывают с деятельностью жидовствующих в Москве в конце XV в. три книги с пермскими записями и глоссами. Это: 1) Еллинский летописец Второго вида 1485 г. [Пи-162: 420], 2) Библейский сборник [Унд-1], возможно, 1481–1484 гг. [Клосс, 1971: 68, сн. 15; Клосс, 2012: 35, 36]. Этот кодекс «представляет собой первую попытку собрать в единый компендиум все существовавшие тогда на Руси библейские книги и предваряет Геннадиевскую Библию 1499 г. [Клосс, 2012: 33]. В создании обоих манускриптов, переписывании и редактировании их участвовал Иван Черный, опытный начетчик, книжный справщик и писец [Клосс, 1971: 61–72; Клосс, 2012: 30–37; Летописец Еллинский и Римский, 1999: VII–VIII; Летописец Еллинский и Римский, 2001: 128–129]. Часто употреблявшаяся им замысловатая монограмма указывает на его общественное положение и расшифровывается как **Іѡ[ан]н дѣ[а]к** (церковнослужитель) [Клосс, 1971: 68–70; Клосс, 2012: 35, 37, 49, сн. 36, 39].

Иван Черный принадлежал к кругу московских вольнодумцев. Ему удалось вовремя, еще до суда и расправы над еретиками, бежать из Москвы вместе с купцом Игнатом Зубовым [Казакова, Лурье, 1955: 184]. Куда именно бежали еретики – неизвестно. Но самая торная, проложенная русскими выходцами дорога вела за литовский рубеж, тогда не очень далекий от Москвы. Побег произошел после 17 сентября 1487 г., когда Иван Черный сделал датирующую приписку в «Лествице» [Ув-447: 221; Клосс, 2012: 37, 48, сн. 14], и до церковного собора против еретиков, открывшегося 17 октября 1490 г. В послании митрополиту Зосиме, созданном после 26 сентября и до 17 октября 1490 г. [Казакова, Лурье, 1955: 373], архиепископ Новгородский Геннадий упомянул бежавшего с Зубовым Ивана Черного среди еретиков, «которые исчезли от жития сего», и предлагал предать их посмертной анафеме [Казакова, Лурье, 1955: 148–149, 184, 376].

Третий источник с пермскими глоссами – список F.I.3 Толковых проществ (далее сокращенно – ТП)². Одни исследователи датируют F.I.3 очень широко – XV в. [Евсеев, 1897: 34, 62; Златанова, 1998: 40, 41; Клибанов, 1960: 56], другие – последней четвертью XV – первой четвертью XVI в. [Казакова, Лурье, 1955: 281], третьи – началом XVI в. [Сперанский, 1929: 78, сн. 3]. Точнее всех был М. Н. Сперанский. И именно его мнение подверглось резкой и необоснованной критике [Клибанов, 1960: 56–57], так как оно не позволяло связать напрямую пермские глоссы в ТП ни с деятельностью жидовствующих в конце XV в., ни с пермскими пометами в Еллинском летописце 1485 г. и Библейском сборнике.

ТП в копии F.I.3 написаны на бумаге с филигранью «голова быка с крестом, перевитым змеей». Известны очень близкие варианты этого знака, которые имеют небольшие отличия в форме и положении ушей, очертаниях морды, размере – выше примерно на 0,5 см [Piccard, 2/1: 236, № 77, 78; Piccard, 2/3: 750, № 77 – 1505–07 гг., 1510–13 гг., № 78 – 1504, 1510–12 гг.]. С учетом залежности бумаги F.I.3 можно датировать первой четвертью XVI в. (во всяком случае не ранее рубежа XV–XVI вв.).

В ТП пермскими буквами написаны всего лишь два слова – **зри** и **ѡубѣ** [Казакова, Лурье, 1955: 293–299]. В церковнославянском языке **ѡѡдобьно** (-нѣ) означает ‘легко, нетрудно’ [Словарь старославянского языка, 4: 609], ‘разумно’ [Срезневский, 3/2: 1152], а **ѡѡдобь**, кроме того, ‘подходяще, полезно’ [Словарь старославянского языка, 4: 609]. Указание **зри** наименее показательное, так как оно использовалось намного чаще и дольше других пермских глосс [Сперанский, 1929: 78]. Помета **Зри** преобладает в Еллинском летописце и Библейском сборнике, но редко, всего лишь трижды, встречается в ТП [F.I.3: 67 об., 70, 134; Син-117: 76 об., 79, 146 об.; Казакова, Лурье, 1955: 294, 298].

Если отбросить **зри**, то у Библейского сборника и ТП нет общих маргиналий. Еллинский летописец и Библейский сборник объединяет пермская глосса **днѣно**. Она написана в похожей манере по два раза в каждом из них [Пи-162: 209, 250; Унд-1: 101 об.; Казакова, Лурье, 1955: 282, 283, 290; Некрасов, 1890: табл. 2, 4]. М. Н. Сперанский обратил внимание на общую помету **ѡубѣ** в Еллинском летописце и ТП [Сперанский, 1929: 74, 78, сн. 3]. Глосса очень редкая. Ее нет ни в Библейском сборнике, ни в других известных нам источниках. В Еллинском летописце она встречается всего лишь дважды [Пи-162: 96 об., 280; Казакова, Лурье, 1955:

² Описание и издание пермских глосс в этих источниках см.: [Казакова, Лурье, 1955: 280–299; Некрасов, 1890: табл. 1–5; Сперанский, 1929: 75, рис. 39].

282, 284], зато в ТП это любимая помета: она использована сорок один раз.

Крохотный объем текста не позволяет сделать окончательный вывод. Все же нельзя не заметить, что начертание этой редкой глоссы в разных источниках очень похоже. Правда, в ТП она пишется с выносной конечной **о** и с редким приемом вертикального расположения двух букв над строкой: с ударной **о** над выносной **д**: **оуѣн** (по техническим причинам сочетание **дб** дается не в два ряда, а в один). Лишь однажды в обоих списках ТП пропущена **о** над выносной **д**, но ударение все-таки проставлено [F.I.3: 4; Син-117: 4 об.] (еще в одном случае нет выносного **о** и ударения только в Син-117 на л. 37 об.). В Еллинском же летописце это слово передано несколько иначе – **оуѣно**: без **о** после выносной **д** по общему правилу и с конечной **о** в строке. Впрочем, расхождения несущественны. Эти же приемы использованы в других пермских глоссах Еллинского летописца: конечная **о** вынесена в помете **днѣн**, а в слове **впрѣди** две последние буквы расположены одна над другой [Пи-162: 250, 414 об.; Некрасов, 1890: табл. 4].

Одни исследователи считают Ивана Черного вероятным автором пермских глосс в F.I.3 [Казакова, Лурье, 1955: 281, 293–299], другие выдают это предположение за аксиому [Новикова, 2010: 260, 264], третьи отрицают принадлежность ему и маргиналий, и самого списка F.I.3 [Клибанов, 1960: 57]. Иван Черный знал пермскую азбуку. Его кирилловская запись 1485 г. в Еллинском летописце написана тем же пером и теми же бледными чернилами, что и пермская приписка на нижнем поле того же листа: **оу хѣа тирона и повѣносца велика мчѣнка никиты** [Пи-162: 420; Некрасов, 1890: табл. 5]. Б. М. Клосс считает, что в Московском Кремле, в церкви великомученика Никиты, в «застенке» Архангельского собора, находился великокняжеский скрипторий, и одним из его руководителей был Иван Черный [Клосс, 2012: 45]. Однако все это только предположение: в источниках нет известий о существовании в Московском Кремле храма во имя великомученика Никиты [Клосс, 2012: 44].

Полууставные кирилловские почерки Ивана Черного и писца F.I.3 нисколько не похожи. Переписчик F.I.3 предпочитал также перо с широким срезом и писал жирными буквами. Если архиепископ Геннадий сообщил достоверные сведения, то Иван Черный умер, по меньшей мере, лет за 15 до создания списка F.I.3. Впрочем, новгородский владыка мог преувеличивать или располагать неверными и необъективными известиями. Ведь уверял же он в том же послании, что за рубежом Иван

Черный и Игнат Зубов «в жидовскую веру стали», перешли в иудаизм [Казакова, Лурье, 1955: 376].

При разных взглядах на авторство пермских глосс все исследователи сходятся в том, что они отражают еретические взгляды и влияние Ветхого Завета. Дело в том, что пермскими письменами отмечены те места в пророческих книгах, которые осуждают несоблюдение Закона (Ис 24: 16) и субботы (Иез 20: 12–13, 21; Иез 23: 38). Так же выделены стихи против идолослужения и идолопоклонства, которые при желании могли быть истолкованы как свидетельства против иконопочитания (Авв 2: 18–19; Ис 44: 13–16; Иез 36: 25) [Казакова, Лурье, 1955: 281, 295, 298; Клибанов, 1960: 58].

Приписки на полях свидетельствуют о пробудившемся интересе к Ветхому Завету и к пророческим писаниям. Последние оказали исключительно большое влияние на развитие религиозной мысли, ортодоксальной и сектантской, в христианстве и в иудаизме. В ТП многие криптографические пометы стоят напротив столь неоднозначного библейского текста, что ничего вполне определенного сказать нельзя. И только волею исследовательских толкований позволяла вычитать в источниках все, что угодно.

Без внимания осталось, что в то же самое время и другие книжники предпочитали выражать тайнописью свое отношение к содержанию ТП. Семь таких помет находятся на внешних полях в списке конца XV – начала XVI в. [Ув-334: 32 об., 120 об., 133, 373 об., 382, 382 об., 383 об.]. Тайнописью отмечены рассуждения о ничтожестве идолов и суетности идолослужения и др. (Посл Иер 6, 21, 43) [Ув-334: 382, 382 об., 383 об.]. К сожалению, пока не удалось подобрать ключ к шифру, представляющему систему измененных знаков. Копия Син-118, сделанная с Ув-334, повторяет только одну, первую помету тайнописью [Син-118: 31 об.]. Матфей Десятый, замечательный каллиграф и криптограф, сделал тайнописью помету на внешнем поле к Ам 8: 11 [Срезн-75: 13], где говорится о предстоящем наказании Израиля – лишении его слов Господних, или божественных откровений.

Тайнопись была показателем эрудиции пишущего и соответствовала «духу средневековой изошренности» с ее пристрастием «к мудреному и таинственному» [Добиаш-Рождественская, 1987: 186, 188]. Сложные по содержанию и языку, ТП бытовали главным образом среди ученых книжников, знатоков Библии.

2. Новонайденный список ТП с пермскими глоссами и его отношение к рукописи F.I.3. Нам удалось установить, что во второй четверти XVI в. непосредственно с F.I.3 изготовили точный список [Син-117]. По какой-то причине пермскими маргиналиями особенно дорожили и их все без исключения перенесли в копию. Такая исключительная точность в передаче читательских помет, к тому же выполненных чужим письмом, крайне редко случается в книгописной практике.

Почти вся книга Син-117 написана на бумаге с несколькими вариантами водяного знака «кабан»: л. 15–246 [Piccard, 15/3: 15, № 55 – 1522 г., № 59 – 1524 г., № 70, 71 – 1531 г., № 73–76 – 1533, 1534 гг., № 77 – 1535 г.]. Только на начало и конец рукописи пошла другая бумага с двумя вариантами водяного знака «тиара» – высокая корона с крестом: л. 1–13 [Лихачев, 1: 158–159, 434, № 1675 – 1541/42 г., № 3715 – 1541 г.; Лихачев, 3: № 1675, 3715; Piccard, 7: 39, 100, № 28 – 1532, 1545–47 гг.] и л. 249–266 [Briquet, 2: 298, № 4960 – 1515, 1518, 1522, 1523–29, 1524, 1526, 1527, 1507–26 гг.; Лихачев, 1: 154–155, № 1630, 1631 – 1536 г.; Лихачев, 3: № 1630, № 1631]. Подавляющее большинство филиграней приходится на 1530-е гг. По совокупности водяных знаков и с учетом залежности бумаги эту копию ТП можно датировать второй четвертью XVI в.

Почти весь текст Син-117 переписал один мастер. Второй писец, уже немолодой судя по крупному нетвердому почерку, лишь изредка включался в работу. Ему принадлежат отдельные строки и маленькие фрагменты на л. 203 об., 225 об.–226, 228–229, 233 об., 242, 248 об., 254 и др. Его манера письма резко отличается от почерка главного писца Син-117. За этими немногими исключениями, F.I.3 и Син-117 переписаны однотипным «литовским» полууставом, похожими, но все-таки разными почерками. Возможно, оба книгописца учились по одним образцам в одном скриптории или писец F.I.3 был учителем переписчика Син-117.

В F.I.3 у **в**, что особенно заметно, а также у **в**, **ъ**, **ь**, **ѣ** нижняя горизонтальная черточка-основа шире петли, а в Син-117 она не выходит за края буквы. В Син-117 левая ножка **д** заметно короче правой, в F.I.3, наоборот, левая ножка чуть длинее правой или они одинаковы. В F.I.3 носик **з** заканчивается короткой тонкой косой черточкой – /, а в Син-117 он загнут вниз. В F.I.3 у **з** с плоским верхом с навесиком полукруг хвоста иначе изогнут и не так далеко откинут вправо, как в Син-117. Буква **к** отличается разными коленцами. В Син-117 по преимуществу используется трехногая **п**, а в F.I.3 преобладает одноногая **т** с боковыми загибами разной длины. В отличие от F.I.3 в Син-117 вторая часть диг-

отражает твердое произношение [r] писцом Син-117, характерное для белорусского языка, значительной части украинских диалектов и некоторых русских говоров.

ТП с пермскими глоссами объединяют общие ошибки. Писец F.I.3 (или его предшественник) не разобрался с архаизмом **штг**, давно вытесненным лигатурой **ц**, и неправильно понял причастие. У него получилось **писаніе почтѣноѣ** (Посл Иер: 1) [F.I.3: 212 об.; Син-117: 229 об.] вм. **писаніе поіш'теноѣ** [Чуд-184: 395; Арх-Д63: 276 об.; Ег-123: 286 об.; Муз-4094: 364; ТСЛ-90: 436; Ув-334: 382; Чуд-182: 309а]. Вероятно, он произносил [č] как [š] перед согласным и не заметил или не придал значения второй части диграфа – ижице. Независимо от этого так же не разобрался с архаизмом **штг** и переосмыслил слово переписчик старобрядческих ТП: **На рѣкописаніе поѣтеноѣ** [Унд-1297: 296], исказив еще и начало стиха.

Из F.I.3 в Син-117 перенесены все пермские глоссы. Они находятся на тех же самых местах (за единственным исключением) и повторяют даже выбор чернил или киноvari. Глоссы перерисованы тщательно, но писец Син-117 опускал ударение в слове **дѣвнѣ** (кроме четырех случаев на л. 4 об., 166, 171). Мастер, украшавший F.I.3, использовал густую темную киноvari с лиловым оттенком. Ею нарисована заставка на л. 1, а также написано пермскими буквами **зри** на л. 67 об. Копируя образец, рубрикатор допустил или повторил небольшую неточность. Он пропустил перекладину у пермской **р**, и у него получился знак, похожий на **v**. Ниже, на том же листе, мастер написал левую мачту у большого инициала **ѣ** темной киноvari, но потом разбавил ее и дописал букву более светлой краской. Ясно, что киноvari писал один и тот же человек. В Син-117 (л. 76 об.) незаконченная **р** перерисована без перекладки. Хотя по одному примеру трудно составить представление о целом, все же можно предположить, что переписчик Син-117 не знал пермской азбуки и копировал неизвестные ему знаки, впрочем, очень точно.

Ниже в списке пермских глосс первыми указаны листы F.I.3 и вторыми, после знака равенства, – листы Син-117. Сорок один раз сделана помета **дѣвнѣ**: л. 4=4 об., 26 об.=31 об. (киноvari), 32=37 об., 42=49, 48 об.=55 об., 48 об.=56, 50=57 об., 70 об.=80, 77 об.=87 об., 78 об.=89, 82=92 об., 87=97 об., 88=98 об., 89=99 об., 89 об.=100 об., 90 об.=101, 90 об.=101, 92 об.=103, 93=103 об., 95=105 об., 99 об.=110 об., 100=111, 115=126 об., 121 об.=134, 124 об.=137, 125 об.=137 об., 130 об.=143, 131=143 об., 133 об.=146, 133 об.=146, 133 об.=146, 137 об.=150,

138=151, 140=153, 152=166, 152=166, 152 об.=166 об., 157=171, 157=171, 188=204) [Казакова, Лурье, 1955: 293–299]. И только трижды написано **зри**: л. 67 об.=76 об. (киноварь), 70=79 (киноварь), 134=146 об. [F.I.3: 67 об., 70, 134; Син-117: 76 об., 79, 146 об.; Казакова, Лурье, 1955: 294, 298]. Глоссы перенесены из F.I.3 в Син-117 очень точно: они проставлены против тех же стихов. Единственное отличие – помета **дѹбнѣ**: она относится к Иез 20: 21 в F.I.3 (л. 133 об.) и сдвинута немного выше, к Иез 20: 14, в Син-117 (л. 146 об.).

Р.Златанова определяет рукопись F.I.3 как украинскую (XV в.), но не приводит доказательств в пользу своего мнения [Златанова, 1998: 40, 41]. В источнике **ѣ** изредка смешивается с **и**: **пойша** (дважды) и рядом **пойша** (Иоил 1: 4) [F.I.3: 8 об.; Син-117: 10 об.]. Впрочем, эта особенность могла перейти из новгородского источника. В более раннем новгородском списке 1492 г. в тех же самых словах **поѣша прѣѣѣ** (Иоил 1: 4) [Сол-694/802: 22 об.] перед первым **ѣ** тщательно затерта буква – очевидно, **и**, а второй **ѣ** стоит на месте **и**: **прѣи**. Примечательно колебание другого русского писца, объединившего живое произношение с книжной орфографией: **понѣша прѣи** [Пог-80: 108].

А.А.Алексеев считает F.I.3 болгарским списком XVI в. с восточнославянского оригинала, но приводимые им доказательства неубедительны [Алексеев, 1999: 136, 165]. Переписчик F.I.3 представляет ту школу восточнославянского письма, которая стремилась обособить книжный язык от разговорной речи путем его славянизации. В своем неумеренном стремлении подражать южнославянским образцам писец доходил до орфографической тератологии. Он переделывал на южнославянский манер свои разговорные слова, но, не зная, где нужно обозначить слоговой плавный, писал **съ млѣвож** (вступительная статья «Сказание пророчества Ионы») [F.I.3: 20], **съ млѣвоѹ** [Син-117: 23 об.], **млѣба** (Авв 3: заголовок) [F.I.3: 32] вм. **молба** [Син-117: 37 об.]. Такие псевдокнижные образования создавались ошибочно по образцу южнославянизмов вроде **вълна** (др.-рус. **вълна**) вследствие общей установки *пиши не так, как говоришь*.

В ТП с пермскими глоссами (в F.I.3 лучше, чем в Син-117) широко представлены среднеболгарская мена юсов и их распределение, принятое в реформированном афонско-тырновском правописании XIV в.: в начале слова – **ж**: **жъзыкь** (заключительная статья «Захария») [F.I.3: 48] > **къзыкь** [Син-117: 55], в сочетании двух юсов сначала – **ж**, затем – **л**: **на высѹтъж нѣнжл** (Ис 38: 14) [F.I.3: 83 об.] > **нѣноцѹд** [Син-117: 94].

Искусственная славянизация книжного языка породила орфографические монстры. Переписчик F.I.3 распространил мену юсов на **ѡ**, **ѧ**, так как считал их дублетами **ѡ**, и мог заменять их на **ѡ**. Из-под его пера выходили такие искусственные формы, как на **ѡдѣ** = **ѡдѣ** (Авв 1: 8) [F.I.3: 31; Син-117: 36 об.], **тѣ ѡси** = **ѡси** (Мих 6: 14) [F.I.3: 26 об.; Син-117: 31], въ **ѡслѣ** = **ѡс-** (заключительная статья «Иеремия», л. 216), **вѣѡжѣти** (Иона 4: 2; л. 21 об.) и т. п. Вследствие таких орфографических метаморфоз **ѡ** появляется даже на месте исконного **ѡ**. Так, форма **вѣ ѡздѣ** (Иез 19: 9) [F.I.3: 132 об.; Син-117: 145] была образована в результате механической мены юсов в промежуточном чтении **вѣ ѡздѣ**, которое появилось под пером восточного славянина из исконного **вѣ ѡздѣ**.

В правописании Литовской Руси искусственно славянизированная орфография удерживалась дольше, чем в московской книжной норме. В украинском Пересопницком Евангелии (между 1556–61 г.) **ѡ** может обозначать [’а] и заменяет собой **ѡ**: **дѧ стѣсѡ ѡмѡ твоѡ** (Лк 11: 2) и **ѡ: дѧ воудѣ вѡлѡ твоѡ** (Лк 11: 2), **тѡгѡ длѡ ѡнѡ соудѡмѡ вашѡмѡ воѡѡ**, **дѡ кнѡѡ** и т. п. [Житецкий, 1876: 49, 50, 54, 59; Соболевский, 1908: 87].

В ТП с пермскими глоссами нет следов сербского влияния. Редкое смешение **ѡ** с **ѡ** вполне объяснимо особенностью восточнославянского произношения. В XV–XVI вв. переход безударного [’а] в [е] после мягкого согласного часто встречается в белорусских рукописях, реже – в украинских, а иногда и в памятниках русского языка. На такое произношение указывают написания **ѡ** вм. **ѡ**: **ѡмѡ** (Ис 55: 13; 64: 7; Дан 13: 1) [F.I.3: 100, 106 об., 216 об.; Син-117: 111, 118, 233 об.], **прославлѡсѡ** (Агг 1: 8) [Син-117: 43] на месте **прославлѡсѡ** [F.I.3: 36 об.] из **прославлѡсѡ**. Поэтому **ѡ** может стоять и на месте **ѡ**: **ѡжеѡ**, им. мн. ч. (Ис 34: 11) [F.I.3: 79; Син-117: 89 об.], но рядом **ѡжеѡ** (Ис 34: 15) [F.I.3: 79; Син-117: 90].

Таким образом, надо отказаться от взгляда на F.I.3 как на болгарский список с восточнославянского оригинала. Переписчик F.I.3 происходил из Литовской Руси и, возможно, был связан со славяно-молдавскими скрипториями. На украинскую и белорусскую книгу (в отличие от русской) оказали заметное влияние орфография и графика славяно-молдавских рукописей начиная, по крайней мере, «с последней четверти XV в.» [Турилов, 2012: 653]. В литовских пределах во второй четверти XVI в. непосредственно с F.I.3 изготовили точную копию Син-117. Позднее она попала в руки ополяченного украинца.

3. Правка в Син-117 по польской Библии 1563 г. Один из читателей внимательно просмотрел книгу и сделал многочисленные исправления на полях и между строк главным образом в Ис 1–3, 5–8 на л. 59 об.–62, 64–67. На основании языковых особенностей глосс А. В. Горский и К. И. Невоструев считали их автором украинца, знавшего польский язык [Горский, Невоструев, 1855: 206]. Польское влияние особенно заметно в лексике, но оно сказалось также в фонетике и морфологии. Маргиналия **в зѣми** без l-epentheticum (Ис 6: 12) на л. 65 соответствует польск. ziemi, хотя в комментируемом стихе стоит **на зѣмни**. А. В. Горский и К. И. Невоструев датировали глоссы XVII в. [Горский, Невоструев, 1855: 205]. По их наблюдениям, редактор Син-117 «руководствовался *еврейским* подлинником или новым переводом с него» [Горский, Невоструев, 1855: 206].

Судя по особенностям почерка, ничто не мешает отнести редактуру к несколько более раннему времени: к последней трети XVI – первой трети XVII в. Источником же правки была не Масора, а польская протестантская (кальвинистская) Библия 1563 г. (Брестская Библия, или Библия Николая Радзивила). В большинстве случаев редактор переписывал кириллицей чтения Брестской Библии со всеми специфическими особенностями ее словаря: с полонизмами, латинизмами и т. п. (Ис 2: 6, 7, 11, 15–16, 20; Ис 3: 2–4, 8, 14; Ис 5: 22; Ис 7: 3, 4, 25; Ис 8: 3, 19, 21 и др.).

Полонизация Литовской Руси, усилившаяся в последней трети XVI в. (особенно после Люблинской унии 1569 г.), привела к упадку церковнославянского языка и «простой мовы». Некоторые переводы вроде старобелорусской «Истории об Аттиле, короле Угорском» в Познанском сборнике 80-х гг. XVI в. отличаются от польских оригиналов только кириллицей и отдельными русизмами (фонетическими и др.) [Соболевский, 1980: 65].

В Син-117 не заметно следов влияния польской католической Библии 1599 г. в переводе Я. Вуйка, основанном на Вульгате и учитывающем некоторые разночтения Масоры. Ограничимся двумя примерами, наиболее показательными. Они очень важны для определения непосредственного источника правки и действительно могли навести на мысль об использовании древнееврейского оригинала³.

³ Благодарю М. С. Мушинскую за помощь в работе и сверку глосс с древнееврейским текстом Ис.

Правка по польской Библии 1563 г.

Син-117	Глоссы
1. наплѣнисѧ страна ѿ іакоже ѿ прѣже влѣхвованій. іако іноплемен'никъ (Ис 2: 6), л. 61.	а) (валвофáлства) к ѿ; б) на восхó слѣнца после іакоже; в) филистыни к іноплемен'никъ.
2. ѿзыди прѣтнвоу а̀хаз' тѣи ѿ ѿставыи. іаѡжвь, сѣѣ твѣ к'ѣ кжпѣли вышна̀до поутти села гна.ѡ.ѡѡва (Ис 7: 3), л. 65 об.	а) і сѡрѣ к ѿ ѿставыи; б) ставж к кжпѣли; в) междустрочная глосса: (á на дорозе пола) к села.

В первом примере маргиналия **на восхó слѣнца** точно соответствует древнееврейскому подлиннику [Горский, Невоструев, 1855: 206], но восходит к нему не прямо, а через польское посредство. Слова *ná wschod slóńca* стоят в тексте Брестской Библии [Библия, 1563: 354в], а у Я. Вуйка они помещены с пометой Н. (=Hebraeus) на поле как комментарий к *іако przedytym* [Библия, 1599: 753]. В Вульгате здесь – *ut olim* ‘как прежде’. Остальные разночтения в этом стихе свидетельствуют в пользу Брестской Библии. Редактор взял оттуда заключенное в скобки (*bátwochwálistwá*) ‘идолопоклонства’ (после *są pełni*) и *іако Filistyni*. У Я. Вуйка иначе: на поле – комментарий *bátwochwálskich grzéchów* и в тексте – *іако Philistymowie*.

Во втором примере напротив имени сына Исаии **ѿ ѿставыи. іаѡжвь** (Шеар Йашув буквально ‘остаток вернется’) написано кириллицей древнееврейское слово **і сѡрѣ** [Горский, Невоструев, 1855: 206]. И в этом случае редактор «руководствовался» не «еврейским подлинником», а «новым переводом». В тексте Брестской Библии приводится точная транслитерация древнееврейского имени: у *Seár Iasub* [Библия, 1563: 356в]. Я. Вуйек выносит на поле комментарий *Seár, Iásub, Н. к словам rozostał Iásub* в тексте [Библия, 1599: 757]. В Вульгате в этом месте – *derelictus est Iasub*, где *derelictus* – *part. pf.* от *derelinquo* ‘оставлять’. Дальнейшая правка стиха не оставляет никаких сомнений в том, что ее источником была не Библия Я. Вуйка: *sadzáwki wysszėy ná dródze rolėy* [Библия, 1599: 757], а Брестская Библия: *stáwu wysszego á ná drodze polá* [Библия, 1563: 356в]. Редактор нашел в последней *staw*, а не *sadzawka* ‘небольшой пруд’, союз *a*, *pole*, а не *rola* ‘пашня, нива’.

Между прочим, и приведенная выше маргиналия **в зѣми** (Ис 6: 12) совпадает с Брестской Библией: *w ziemi* [Библия 1563: 356в], но не с переводом Я. Вуйка: *wpośród ziemie* [Библия 1599: 757].

Справщик внимательно пересмотрел текст Син-117. Он разделил по Брестской Библии все Книги пророков на главы, а в исправленной части (Ис 1–8) на л. 59–67 – также и на стихи. Он обнаружил и указал дефекты в рукописи: пропуски после Иер 2: 12 до Иер 25: 15 (л. 193) и после Иер 45: 5 до Иер 52: 4 (л. 215 об.) и путаницу в Иез 45–48 (л. 185 об., 187, 189). Его же рукой кое-где обозначены паримийные чтения (Иоил, Зах, Ис) [Горский, Невоструев, 1855: 207].

Есть и другие свидетельства бытования Син-117 в Литовской Руси. В самом конце книги другой рукой, отличной от почерков обоих писцов и редактора, написано полууставом, вероятно, середины – второй половины XVI в.: «*ѡ мїромѣ ѡ понѣмѣ ѡ зъ любовю докочѣемѣ*» (л. 266 об.), ср.: укр. и блр. з, диал. укр. и рус. любѡ ‘любовь’ [ЭССЯ, 1988: 167].

4. Данные лингвотекстологии. Оба списка с пермскими глоссами находились за литовским рубежом в XVI–XVII вв. Но как ТП попали туда, почему они содержат пермскую тайнопись, локально ограниченную, и как объяснить ее связь с московскими кодексами Ивана Черного, прежде всего с Еллинским летописцем 1485 г.? В начале XVI в. были знатоки криптографии – торопчанин Матфей Десятый в Литве [Срезн-75: 13, 477 об.; Сперанский, 1929: 106, 145, 146] и монах Евстафий, протопсалт (регент певчих) из монастыря Путны в Южной Буковине [Карский, 1928: 250–252; Сперанский, 1929: 6–8, 11–14, 18–19, 21–22, 32, 36, 45–47, 51, 65]. Но даже среди их различных шифров (в том числе таких редких, как литореза в квадратах и имитация глаголицы) нет пермской азбуки. Ответы на эти вопросы дает лингвотекстология.

И здесь выясняется, что оригиналом F.I.3 послужила русская рукопись ТП, имевшая общий протограф с другими русскими списками памятника, более ранними по времени, известными с конца XV в. Как и все без исключения русские ТП, книги с пермскими глоссами содержат путаницу в части Иез 45–48. Текст Иез 45: 12–25 и вся глава 46: 1–24 находятся не на своем месте, но вставлены в Иез 48: 4, причем четвертый стих разделен этой вставкой на две части [F.I.3: 169 об.–170: Иез 45: 1–11; 170–171 об.: Иез 47–48: нач. 4; 171 об.–173 об.: Иез 45: 12–25 и 46: 1–24; 173 об.–175 об.: Иез 48: кон. 4–35, толк.; Син-117: 184 об.–185 об.; 185 об.–187; 187–189; 189–191].

ТП с пермскими глоссами содержат позднейшее добавление, сделанное в русских списках в конце XV в., не позднее 1489 г., когда была переписаны лицевые ТП с дополнением для дьяка Василия Мамырѡва,

известного книголюба и каллиграфа [МДА-20]. Здесь устранены лакуны в Иер 1: 1–8, 11–17 (стихов 9–10, 18–19 нет) и Иер 2: кон. 1–12 (далее большой пропуск до Иер 25: 15), унаследованные от греческого оригинала преславского перевода [F.I.3: 176 об.–177: Иер 1: 1–8, 11–17; 177–177об.: Иер 2: кон. 1–12; Син-117: 192–192 об.; 192 об.–193]. В ТП с пермскими глоссами во вставке аорист в форме 1 л. ед. ч. **сѣтихъ. тѣ** (Иер 1: 5) [Чуд-182: 273г; КБ-9/134: 274 об.; Муз-4094: 302 об.; Рум-28: 373а], **дсѣтихъ те** [Хлуд-1: 253] переосмыслен в архаичную форму прилагательного **сѣиѣ, тѣ** [F.I.3: 176 об.; Син-117: 192]. Слова **и съ сѣиѣми сѣовъ вашихъ соудъ прїиѣмъ глѣтъ ѣ** (Иер 2: 9) [Чуд-182: 274в; КБ-9/134: 275; Хлуд-1: 254 об.] пропущены [F.I.3: 177 об.; Син-117: 193], так как писец перескочил глазами с одного оборота **глѣтъ ѣ** на следующее. За этим исключением, списки с пермскими глоссами совпадают во вставке с русскими ТП и вместе с ними отличаются от такого же дополнения в сербской рукописи 1560–1580-х гг., где, кстати сказать, отсутствует путаница в главах Иез 45–48 [Хлуд-1: 245 об.–251].

Две глоссы объединяют ТП с пермскими глоссами со многими русскими списками [МДА-19: 29, 62 об.; МДА-20: 33, 75; Муз-4094: 75 об.; Рум-28: 268г; Сол-694/802: 92 об.; ТСЛ-89: 20, 44; ТСЛ-90: 39, 83 об.; Чуд-182: 266, 56в; Чуд-183: 40 об., 92; Чуд-184: 38, 81 об.]. К общему протографу восходят маргиналия, перенесенная в основной текст: «**браспѣти. тоѣа поистинѣ заи сѣиѣ пладѣе**» (Ам 8: 9), и точное объяснение гебраизма Вефиль (Бет-Эль): «**Ветїи хрѣ вѣиѣ помѣнитѣ**» (Зах 7: 2) [F.I.3: 17, 41 об.; Син-117: 20, 48 об.].

В древнерусском протографе у глаголов с *j в конце основы настоящего времени встречались формы болгарского императива во 2 л. мн. ч.: **вьѣте** (Иоил 1: 13) [КБ-9/134: 18; Рум-28: 237а; ТСЛ-89: 11 об.; Унд-1297: 15 об.; Чуд-183: 21 об.; Чуд-184: 20 об.] и **вїѣте** [МДА-20: 18 об.; Муз-4094: 16; ТСЛ-90: 21 об.]; **ѡкрыѣтеса** (Ис 49: 9) [Чуд-182: 136г; МДА-20: 150 об.; Муз-4094: 166 об.; Сол-694/802: 202 об.; ТСЛ-89: 99 об.; Чуд-183: 205; Чуд-184: 179]; **пїѣте** (Ис 21: 5; 55: 1–3, толк.) [МДА-20: 129; Арх-Д63: 93 об.; КБ-9/134: 148; Сол-694/802: 168 об.; Унд-1297: 104] и **пїѣте** [Чуд-184: 149; ТСЛ-89: 82, 104 об.; Чуд-183: 169]; **пѣѣте и оупѣѣтеса** (Иер 25: 27) [Чуд-184: 352 об.; КБ-9/134: 275 об.; ТСЛ-89: 209] и т. п.

То же самое и в тех же самых местах наблюдается в ТП с пермскими глоссами: **пїѣте** (Иер 25: 28) [F.I.3: 178; Син-117: 193 об.], **вїѣте** (Иоил 1: 13) [F.I.3: 9; Син-117: 10 об.], **ѡкрыѣтеса** (Ис 49: 9) [F.I.3: 94 об.]. В

последних двух примерах **ж** стоит на месте **я**, **а** (или **ѧ**), как это нередко бывает в ТП с пермскими глоссами. Некоторые писцы создавали контаминированные формы императива, машинально объединяя непривычный болгарский суффикс **я**, стоявший в оригинале списка, с традиционно-книжным **и**. Довершая начатое, они заменяли **я** на **ж** и создавали орфографических монстров вроде **пѣжнѣ и ѣоупѣжнѣса** (Иер 25: 27) [F.I.3: 178; Син-117: 193 об.]. Переписчик Син-117 пропустил вторую **ѣ** в **пѣжѣ**, но затем вставил ее над строкой.

Иногда писцы путали болгарский императив с похожими формами имперфекта или аориста во 2 л. мн. ч. Устраняя воображаемый пропуск, они добавляли букву **с** и иногда заменяли суффикс на **ж**. Получалось **пѣжсте** (Ис 21: 5) [F.I.3: 68; Син-117: 77], **пѣасте** (Иер 35: 5), **не пѣасте** (Иер 35: 6) [F.I.3: 189; Син-117: 204 об.]. И за этими переосмысленными чтениями ясно просматриваются особенности русского источника с болгаризмами. В общем протографе в тех же стихах стояло: **пнѣате** или **пѣате** (Иер 25: 28; 35: 5) [Чуд-184: 352 об., 366 об.; КБ-9/134: 275 об., 286; Муз-4094: 305; Рум-28: 374а, 378а; Сол-694/802: 499; Срезн-75: 90 об.; ТСЛ-89: 209, 218]; **не пнѣате** (Иер 35: 6) [Чуд-184: 366 об.; КБ-9/134: 286 об.; Муз-4094: 324; Рум-28: 378а; Сол-694/802: 499; ТСЛ-89: 218].

ТП с пермскими глоссами унаследовали от древнего протографа, общего с другими более ранними русскими списками, очень древнюю форму имени *Иисус* с двумя *и*: **ѣисоѣ** (Зах 3: 3) [Син-117: 46; КБ-9/134: 71; ТСЛ-89: 42 об.; Чуд-184: 79 об.], гиперкорректные образования с окончанием **-ѣи** вм. **ѣи** (**ѣи**): **въ рѣзѣи** (Зах 3: 3) [Син-117: 46; КБ-9/134: 71; Сол-694/802: 89 об.; ТСЛ-89: 42 об.; Чуд-182: 54г; Чуд-183: 89; Чуд-184: 79 об.] и с **жд** вм. **ж**: **мрѣждѣю** (Авв 1: 15) [F.I.3: 31; Син-117: 36 об.]. Многие русские рукописи ТП сохранили эту типично восточнославянскую ошибку и в этом стихе: **мрѣждѣю** (Авв 1: 15), и в других местах (Авв 1: 15–17, толк.) [Чуд-184: 64 об.; МДА-20: 57 об., 58; МДА-19: 48 об.; Муз-4094: 56 об.; Рум-28: 259г, 260а; ТСЛ-89: 34 об.; Ув-334: 55; Чуд-182: 44б; Чуд-183: 70 об., 71]. Все эти орфографические «мелочи», взятые в совокупности, ясно указывают на русский источник ТП с пермскими глоссами.

5. Выводы. ТП с пермскими глоссами оказались за литовским рубежом, вероятно, благодаря бежавшим туда русским еретикам. Возможно (но не более того), оригиналом F.I.3 был личный экземпляр Ивана Черного. Не исключено, однако, что этот антиграф появился в славяно-

молдавском окружении княгини Елены Волошанки, дочери молдавского господаря Стефана III и невестки великого князя Ивана III. Прибывшая в Москву в декабре 1482 г., она попала под влияние местных еретиков (Ивана Максимова), которые обратили ее «в жидовство» [Послания Иосифа Волоцкого, 1959: 176; Казакова, Лурье, 1955: 149–150]. Конец XV в. отмечен оживленными политическими связями между Москвой и «Волохами». Русские летописи сообщают об обмене посольствами между Иваном III и Стефаном III под 1490, 1491, 1492, 1494 и 1497 гг. [Полное собрание русских летописей, 12: 223, 228, 230, 232, 233, 244]. Возможно, кто-то из окружения Елены Волошанки вывез ТП до или после 11 апреля 1502 г., когда она и ее сын великий князь Дмитрий были арестованы и посажены в темницу. Так или иначе, но F.I.3 и Син-117 являются «литовским» ответвлением от русской рукописной традиции ТП конца XV в.

Список рукописных и старопечатных источников

- Арх-Д63 – ТП. Конец XV (не ранее 90-х гг.) – начало XVI в. БАН, Архангельское собр., № Д63.
- Библия 1563 – Biblia brzeska (Radziwiłłowska). Breść-Litewsky, Wojewodka, 1563. 2°. МК РГБ.
- Библия 1599 – Biblia Wujka. Kraków, Łazarz, 1599. 2°. МК РГБ.
- КБ-9/134 – ТП. 70-е–80-е гг. XV в. РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/134.
- МДА-19 – Сборник с ТП (л. 1–340). Конец XV в. НИОР РГБ, НИОР РГБ, собр. МДА (ф. 173.1), № 19.
- МДА-20 – Лицевые ТП В. Мамырёва. 1489 г. НИОР РГБ, НИОР РГБ, собр. МДА (ф. 173.1), № 20.
- Муз-4094 – ТП (толкования опущены). Конец 1480-х – начало 1490-х гг. НИОР РГБ, собр. Музейное (ф. 178), № 4094.
- Пи-162 – Еллинский летописец Второго вида. 22 июля 1485 г. НИОР РГБ, собр. Д.В. Пискарева (ф. 228), № 162 (старые шифры: собр. В.М. Ундольского, № 597; собр. Музейное, № 597).
- Пог-80 – ТП. Конец XV в. РНБ, собр. М.П. Погодина, № 80.
- Рум-28 – Ветхозаветные книги с ТП (л. 227–4136). XVI в. НИОР РГБ, собр. Н.П. Румянцева (ф. 256), № 28.
- Син-117 – ТП (почти все толкования опущены). Вторая четверть XVI в. ГИМ, Синодальное собр., № 117. 1°.
- Син-118 – ТП. XVI–XVII вв. ГИМ, Синодальное собр., № 118. 1°.

- Сол-694/802 – ТП. 1492 г. РНБ, собр. Соловецкого монастыря, № 694/802.
- Срезн-75 – Библия Матфея Десятого (Книги пророков с пророческими житиями, но с сокращенными толкованиями, л. 3–122). 1502–07 гг. БАН, собр. И.И. Срезневского, № 75 (БАН, № 24.4.28).
- ТСЛ-89 – ТП. 1490-е гг. НИОР РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.1), № 89.
- ТСЛ-90 – ТП. 1488–89 г. НИОР РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.1), № 90.
- Ув-87 – Октоих (гласы 5–8). 1455 г. ГИМ, собр. А.С. Уварова, № 87. 1°.
- Ув-334 – ТП. Конец XV – начало XVI в. ГИМ, собр. А.С. Уварова, № 334. 1°.
- Ув-447 – «Лествица» Иоанна Лествичника. 1487 г. ГИМ, собр. А.С. Уварова, № 447. 4°.
- Унд-1 – Библейский сборник (с отрывками из Дан с толкованиями Ипполита папы Римского). Возможно, 1481– 84 гг. НИОР РГБ, собр. В.М. Ундольского (ф. 310), № 1.
- Унд-1297– ТП. Первая четверть XVIII в. НИОР РГБ, собр. В.М. Ундольского (ф. 310), № 1297.
- Хлуд-1 – ТП (без толкований, но с пророческими житиями) и Апокалипсис с комментариями Андрея Кесарийского. 1560–1580-е (1570-е гг.) Сербск. ГИМ, собр. А.И. Хлудова, № 1. 1°.
- Чуд-182 – ТП. Конец XV в. ГИМ, Чудовское собр., № 182. 1°.
- Чуд-183 – ТП. Конец XV в. ГИМ, Чудовское собр., № 183. 4°.
- Чуд-184 – ТП. Начало 1490-х гг. ГИМ, Чудовское собр., № 184. 4°.
- Е.1.3 – ТП (почти все толкования опущены). Первая четверть XVI в. (не ранее рубежа XV–XVI вв.). РНБ, Е.1.3.

Список опубликованных источников и литературы

- Алексеев А. А.* Текстология славянской Библии. СПб., 1999 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte: A; N. F., Bd. 24).
- Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки. М., 1855. Отд. 1. Священное Писание.
- Добиаиш-Рождественская О. А.* История письма в средние века: Руководство к изучению латинской палеографии. 3-е изд. М., 1987.
- Евсеев И. Е.* Книга пророка Исаии в древнеславянском переводе. СПб., 1897. Ч. 1.
- Житецкий П.* Описание Пересопницкой рукописи XVI в. с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек из других Евангелистов и 4-х страниц снимков. Киев, 1876.

- Златанова Р.* Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 1. Книга на Дванадесетте пророци с тълкования / Под общ. ред. и с въвед. от С. Николова. София, 1998.
- Казакова Н. А., Лурье Я. С.* Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.; Л., 1955.
- Карский Е. Ф.* Славянская кирилловская палеография. 1-е изд. Л., 1928.
- Клибанов А. И.* Реформационные движения в России в XIV – первой половине XVI вв. М., 1960.
- Клосс Б. М.* Книги, редактированные и писанные Иваном Черным // Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 32. М., 1971. С. 61–72.
- Клосс Б. М.* О происхождении названия «Россия». М., 2012.
- Летописец Еллинский и Римский.* Т. 1: Текст / Основной список подгот. О. В. Твороговым и С. А. Давыдовой. Вступ. ст., археографич. обзор и критич. аппарат подгот. О. В. Твороговым. СПб., 1999; Т. 2: Комментарий и исследование О. В. Творогова. СПб., 2001.
- Лихачев Н. П.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч. 1–3 (ОЛДП. Т. 116).
- Некрасов И. С.* Пермские письма в рукописях XV века. Одесса, 1890.
- Новикова О. Л.* Лихачевский «Летописец от 72-х язык»: к истории создания и бытования // Летописи и хроники. Новые исследования. 2009–2010. М.; СПб., 2010. С. 237–272.
- Полное собрание русских летописей: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. 12. М., 2000.
- Послания Иосифа Волоцкого / Подгот. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л., 1959.
- Словарь старославянского языка / *Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae Palaeoslovenicae*: Репринт. изд. Т. 1, 4. СПб., 2006.
- Соболевский А. И.* Славяно-русская палеография / Лекции А. И. Соболевского. С 20 палеографическими таблицами. 2-е изд. СПб., 1908.
- Соболевский А. И.* История русского литературного языка / Изд. подгот. А. А. Алексеев. Л., 1980.
- Сперанский М. Н.* Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4.3. Л., 1929.
- Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка: Репринт. изд. Т. 3. Ч. 2. М., 1989.
- Турилов А. А.* Критерии определения славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв. // Турилов А. А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012. С. 648–669

Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 15. М., 1988.

Briquet C. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600. Avec 39 figures dans le texte et 16,112 fac-similés de filigranes. T. 1-4. Genève, 1907.

Piccard G. Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg: Sonderreihe die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Findbuch 1-17. Stuttgart, 1961-97.

Приложение.

ОБРАЗЦЫ ПЕРМСКОГО ПИСЬМА

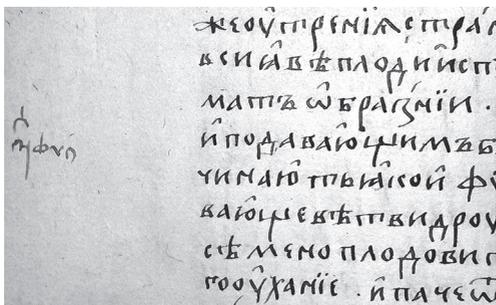


Рис. 1. ПИ-162, л. 96 об., оґбно.

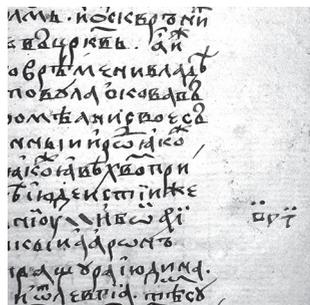


Рис. 3. ПИ-162, л. 220, зри.

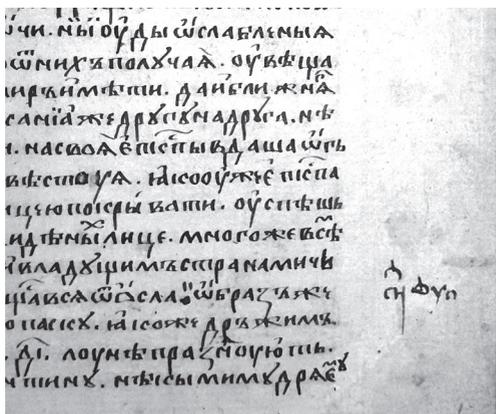


Рис. 2. ПИ-162, л. 280, оґбно.

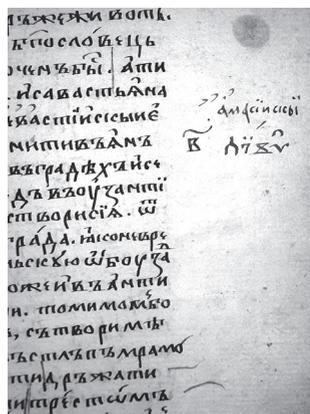


Рис. 4. ПИ-162, л. 250, дивнѣ.

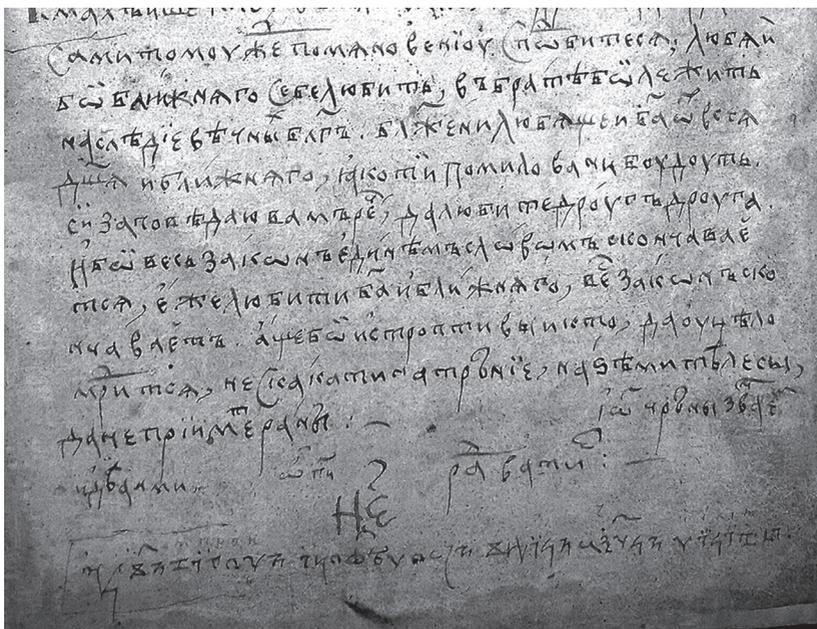


Рис. 5. ПИ-162, л. 420. Запись Ивана Черного 1485 г. и пермская приписка на нижнем поле: оу хѣа тирона и повѣноса велика мѣнка никиты.

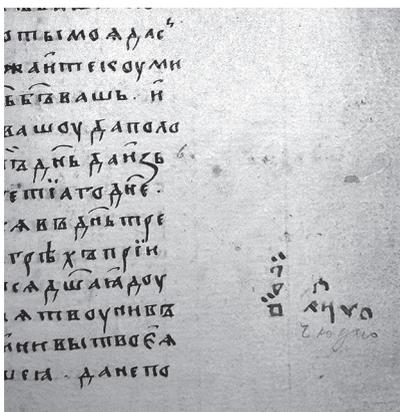


Рис. 6. Унд-1, л. 82, зри, чоуно.

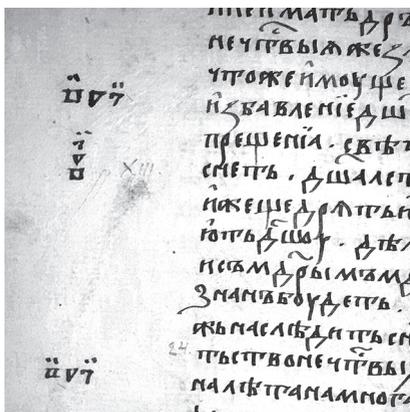


Рис. 7. Унд-1, л. 311 об., зри.

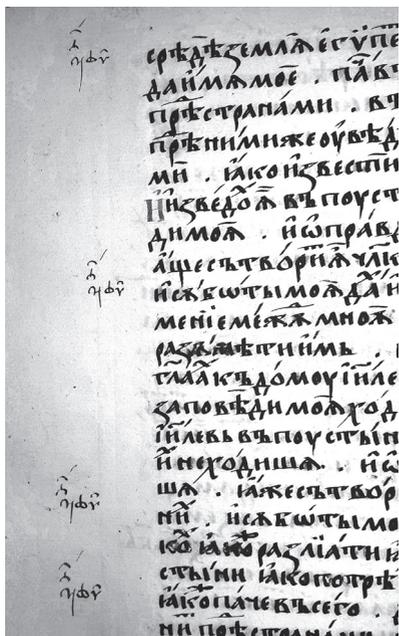


Рис. 8. F.I.3, л. 133 об.,
ѡѡѡ. Иез 20: 8–22.

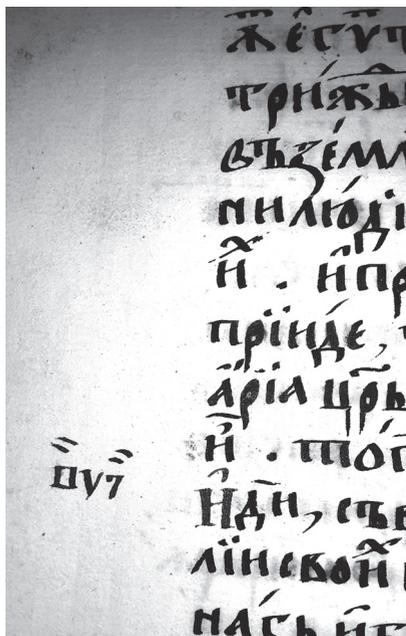


Рис. 9. F.I.3, л. 67 об.,
зри с недописанной р.

Сведения об авторе: Калугин Василий Васильевич, доктор филол. наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: vasiliykalugin@mail.ru.

В.В.Каверина

Орфография изданий «Российской грамматики» М.В.Ломоносова XVIII–XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени

В статье на примере изданий трудов М.В.Ломоносова рассматривается проблема выбора правописных критериев при подготовке научных изданий классиков. С данной целью проводится сопоставление орфографии нескольких изданий «Российской грамматики» М.В.Ломоносова XVIII–XIX вв. и делаются выводы о соответствии их правописания принятым в то время нормам.

Ключевые слова: Российская грамматика, М.В. Ломоносов, орфография, норма, текстология, научное издание.

The article focuses on the problem of choosing spelling criteria that arises in the process of getting classics' works ready for academic publication. As a solution, several editions of M.V.Lomonosov's "Russian Grammar" of 18th–19th centuries have been compared in terms of their spelling, and conclusions about their relevance to the orthographic norm of the time have been made.

Key words: Russian Grammar, M.V.Lomonosov, spelling, norm, textology, academic edition.

Онъ Како, другъ крамзы, но только другъ нахальный,
Кѣмъ изуродованъ какъ бабкой повивальной
Малербъ россійскихъ странъ, пресладостный пѣвецъ.

Эта эпиграмма члена Российской академии А. С. Хвостова написана на издателя собрания сочинений Ломоносова («Малербъ россійскихъ странъ» Ломоносов) Осипа Козодавлева («Како, другъ крамзы», где «крамза» – мурза⁴, то есть Державин) [Сухомлинов, 1882: 33–34]. В эпиграмме поднимается совсем не шуточная проблема соблюдения издателями основных принципов текстологической концепции, главным из которых является «сохранение аутентичного режима правописания» [Перцов, Пильщиков, 2011: 3]. Об этом не менее эмоционально, чем Хвостов, говорит постоянный оппонент Ломоносова в вопросах правописания А. П. Сумароков: «Но бывало ли отъ начала мира, въ какомъ нибудь народѣ, такое въ писаніи скаредство, какова мы нынѣ дожили.

⁴ Мурза – лирический субъект оды Г. Р. Державина «Фелица».

Возтокъ, източникъ, превозходительство! Конечно падение нашего языка скоро будетъ, когда такая нелѣпица могла быть воспрята. О Ломоносовъ, Ломоносовъ, что бы ты сказалъ, когда бы ты по смерти своей симъ кривописаніемъ увидѣлъ напечатаны свои сочиненіи!» [Сумароков, 1787: 25]. Вновь критика звучит в адрес Козодавлева [Грот, 1876: 195], однако виной всему не оплошность издателя лучшего в XVIII в. собрания сочинений Ломоносова [Морозов, 1949: 491], а специфика правописной нормы, ее вариативность, а также невнимание издателей того времени к вопросам правописания вообще.

Данное утверждение мы проиллюстрируем путем сопоставления орфографических особенностей изданий «Российской грамматики» XVIII—XIX вв.

Как известно, впервые Грамматика увидела свет в 1757 г., хотя на титульном листе значился год 1755 [Ломоносов, 1757]. Второе, еще прижизненное издание, вышедшее в 1765 г., отмечено тем же годом и на вид не отличается от первого [Ломоносов, 1765]: «те же виньетки, тот же шрифт и притом полное совпадение всех строк набора на всех страницах от первой до последней» [Блок, Макеева, 1951: 353]. Однако анализ орфографии выявляет изменения: выправлены некоторые опечатки, географические названия начинаются с прописной буквы, слова «рассудить» и «рассуждать» пишутся с приставкой «раз», а глаголы «есть» и «ехать» начинаются с Ъ. Последняя особенность наводит исследователей на мысль о том, что в орфографической правке участвовал сам Ломоносов, который в последние годы жизни отказался от прежней практики писать в указанных глаголах начальную е [Блок, Макеева, 1951: 353–354]. 1755 г. стоит на титуле еще трех посмертных изданий: 1771–1772, 1777 и 1784–1785 гг. [Блок, Макеева, 1952: 858]. Кроме того, отдельные книжки Грамматики вышли в 1788 и 1799 гг.

Первое научное издание Грамматики было выпущено Вольным российским собранием при Московском университете в 1776–1778 гг. под редакцией архимандрита Дамаскина (Д. Е. Семенова-Руднева) и вошло в собрание сочинений в трех книгах: «Покойного статского советника и профессора Михаила Васильевича Ломоносова собрание разных сочинений в стихах и прозе». Наиболее полным и лучшим в XVIII столетии было опубликованное в 1784–1786 гг. в шести томах «Полное собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова», подготовленное О. П. Козодавлевым, И. И. Лепехиным, Н. Я. Озерецковским и С. Я. Румовским при участии племянника Ломоносова и ученика Л. Эйлера

М.Е.Головина, нашедшего и предоставившего для издания ряд рукописей. Грамматика вошла в 6-й том сочинений. Собрание было переиздано дважды: в 1794 и в 1803–1804 гг. [Морозов, 1949: 491].

В XIX столетии после ряда изданий, выпущенных И.П.Глазуновым (СПб., 1803, в трех томах), П.И.Перевлесским (М., 1846), А.Ф.Смирдиным (СПб., 1847, 1950) и не имевших серьезного научного значения, Академия наук предприняла новое Полное собрание сочинений Ломоносова в восьми томах. Начатое в 1891 г. академиком М.И.Сухомлиновым, оно было завершено только в 1948 г. Л.Б.Модзалевским. За основу издатели взяли первое издание, что, по мнению исследователей, было не самым удачным решением [Андреева, 1960: 217]. Однако в объяснительных примечаниях были даны последующие варианты и черновые наброски. В результате обширные комментарии к текстам стали значительным вкладом в изучение биографии и творчества Ломоносова.

«Российская грамматика» Ломоносова в XIX столетии продолжала публиковаться и отдельными книжками. Наиболее значительным стало юбилейное академическое издание 1855 г., подготовкой которого руководил академик И.И.Давыдов. Второе отделение Академии наук, занимавшееся подготовкой публикации, приняло решение перепечатать «буквально» первое академическое издание, о чем писал в предисловии Давыдов: «Отдѣленіе имѣло въ виду показать этимъ важность труда Ломоносова...» [Давыдов, 1855: I] При этом «сохранены были в неприкосновенности даже совершенно явные опечатки (например: „склопаются“ вместо „склоняются“, „очидиться“ вместо „очутиться“, „хряня“ вместо „храня“»)» [Блок, Макеева, 1951: 351]. Однако внимательное рассмотрение текста юбилейного издания показывает, что отличий от первого издания в орфографии очень много.

Остановимся подробнее на правописании исследованных нами изданий. Для сопоставления были выбраны 1-е, 5-е и 7-е издания «Российской грамматики» [Ломоносов, 1757; Ломоносов, 1785; Ломоносов, 1799]. Кроме того, к анализу были привлечены тексты грамматики, включенные в собрания сочинений 1847 и 1850 гг., а также юбилейное издание 1855 г. В таблице 1 представлены орфографические различия, выявленные нами в результате сопоставительного анализа представленной в них графики и орфографии. Первый столбец занимают написания, обнаруженные в 1-м издании, с указанием страницы и параграфа. В других столбцах содержатся сведения об отличии каждого издания от первого, причем пустые клетки означают совпадение написания в данной публикации с 1-м изданием.

Таблица 1

1-е изд. 1755 [1757]	5-е изд. 1755 [1785]	7-е изд. 1799	Соч. 1847 Соч. 1850	Давыдов 1855
ФранцузскимЪ 6			зск	
Французскаго 6	зск		зск	
есть ли- бы 8	есть ли бы		естьли бы	естьли бы
мягкія 19–24		хк		
верхніе 27–48		рѣх	рѣх	
Превосходнаго 29–53			п	п
Французской 32–56.2	зск	зск	зск	
Французской 32–59.2	зск	зск	зск	
сверхЪ 36–70	ь	ь	ь	
Французской 36–71		зс	зс	
сверхЪ 37–73			рх	
церковнымЪ 52–111	рк	рк	рк	
церковныхЪ 53–112		рк		
грамматЪ 53–113		ама		
нельзя 53–113	не лѣзя	не лѣзя	не лѣзя	
первое 54–115		рѣв		
сплошЪ 59–125		шь	шь	
иное согласную 74–154	иную	иную	иную	иную
<i>епанечЪ</i> 80–162	<i>чь</i>	<i>чь</i>		
<i>рубежь</i> 88–191	<i>жЪ</i>	<i>жЪ</i>	<i>жЪ</i>	<i>жЪ</i>
<i>лещЪ</i> 88–191		<i>щъ</i>	<i>щъ</i>	
<i>мѣлче</i> 93–215				<i>лѣч</i>
<i>мяхче</i> 93–215	<i>гч</i>			
рассудительныя 93–219	раз	раз	раз	тѣнья
<i>постельница</i> 97–235	<i>лн</i>			
<i>колачница</i> 97–237		<i>колаш</i>	<i>калаш</i>	
<i>одиннатцать</i> 101–252	<i>ина</i>	<i>ина</i>	<i>ина</i>	
<i>осмьнатцать</i> 101–252	<i>осьм</i>	<i>осьм</i>	<i>осьм</i>	<i>осьм</i>
<i>семьдесятъ</i> 101–252		<i>тЪ</i>		
<i>осмьдесятъ</i> 101–252		<i>тЪ</i>	<i>осьм</i>	<i>осьм</i>

1-е изд. 1755 [1757]	5-е изд. 1755 [1785]	7-е изд. 1799	Соч. 1847 Соч. 1850	Давыдов 1855
<i>одиннадцатой</i> 101–253	<i>ина</i>	<i>ина</i>	<i>ина</i>	
<i>семьдесятый</i> 101–253	<i>мд</i>	<i>мд</i>	<i>мд</i>	<i>мд</i>
<i>осмидесятый</i> 101–253	<i>осьм</i>	<i>осьм</i>		<i>осьм</i>
<i>здѣлалЪ</i> 116–307		<i>сд</i>		
<i>состряпалЪ</i> 116–307	<i>ос</i>		<i>ос</i>	
<i>плюскаю</i> 118–311	<i>лес</i>	<i>лес</i>	<i>лес</i>	<i>лес</i>
отставляются 138–361	ос	ос		
<i>мѣлкія</i> 158–407		<i>мел</i>		
Французскаго 194–443.2	зск	зск	зск	
<i>кЪ верху</i> 194–444.2			<i>рх</i>	
здѣлалось 198–463.2		сд		
<i>поздно</i> 202–484.2	<i>зн</i>	<i>зн</i>		
<i>орхангельскому</i> 208–514	<i>А</i>	<i>А</i>	<i>А</i>	<i>А</i>
навопросЪ 208–515	на вопросЪ	на вопросЪ	на вопросЪ	на вопросЪ
<i>ехалЪ москвою</i> 208–518	<i>ръ, М</i>	<i>ръ, М</i>	<i>ръ, М</i>	<i>М</i>

Как видно из таблицы, изменения затрагивают употребление *ь* в середине слов, *ь* и *Ъ* в конце слов, согласных на стыке морфем, прописных букв, слитных и раздельных написаний. Кроме того, в таблицу не включены различия в начале слов «есть» и «ехать»: буква *е* пишется в первом и в юбилейном издании 1855 г., в других рассматриваемых изданиях данные слова начинаются буквой *Ъ*.

Однако наибольший интерес для сопоставительного анализа текстов Грамматики представляет орфография префиксов на <z> перед буквами глухих согласных.

Чтобы понять причину такой вариативности, обратимся к истории языка. Как известно, древнейшие написания данных исконно безъерных приставок отразили произношение, сформировавшееся еще в дописьменную эпоху. Все позиционные изменения последовательно передавались на письме: *изъсти*, но *испити*, *ищезноути*, *иждити*, а не *изпити*, *ищезноути*, *изжити*; *бесоуда*, а не *безсоуда*; *роздроушити* или *раздроушити*, а не *розроушити*. Однако постепенно в памятниках появляются написания *зЪ* перед буквами глухих согласных: *изъшьдЪ*,

безъчьствоуи (Архангельское евангелие); *изъчьтЪ, безъчеловъчьное* (Изборник, 1073); *безътълесное* (XIII Слов Григория Богослова); *исъпльнимЪ* (Ефремовская кормчая) [Кузнецова, 1974: 41], в XIII–XIV вв. частотность написаний исследуемых префиксов с *з* перед буквами глухих и звонких щелевых согласных несколько возрастает, обычно при этом приставка кончается буквой редуцированного: *изъчтены, изъженеть, изъшедЪ, изъстанеться, изътощиши, безъпакоство, безъчадну* (Мерило праведное XIV) [Данилова, 1969: 164–167].

Одним из важных этапов формирования орфографии префиксов на <з> является становление узуальной нормы приказного языка, представленной в скорописных текстах XVI–XVII вв. Материал «Вестей-Курантов» первой половины XVII столетия (В-К I, В-К II, В-К III, В-К IV) показывает стабильное развитие правописания данных приставок в направлении унификации: перед буквами звонких согласных, сонорных и гласных на конце всех приставок данной группы пишется только *з(с)* (буква *зело*), тогда как перед буквами глухих написание приставок различается: приставка <без-> в данной позиции преимущественно употребляется с конечным *з* (*безчестіемЪ, безпрестанно, безкровныя, безстрашіе*), префиксы <воз-> и <из-> оканчиваются преимущественно буквой *с*, однако варианты на *з* встречаются (*возставленЪ, возпосльдуетЪ, изслъдовать, изшедшей*) и наибольшей нестабильностью отличается орфография <роз->, при этом *з* оказывается предпочтительной только перед *с* корня (*разсъялся, разсужденію*), в остальных позициях преобладает написание приставки с конечной *с* [Каверина, 2004: 54–60].

Установленные закономерности характеризуют и другие памятники XVII в. Так, в печатном Уложении 1649 г. наблюдается «переход звонких согласных в глухие... в приставках *без-, раз-(роз-), из-, вэ-*, несколько реже в предлогах *без, из*», однако «всегда сохраняется написание *з* в положении перед *с*» [Черных, 1953: 231]. Такой же орфографией характеризуются и грамматики 1619 и 1648 гг. [Курчева, 1941: 21]. Подобные написания отмечают Е.Ф.Васеко в московских грамотах первой половины XVI в. [Васеко, 1973: 177], М.А.Соколова в списке Домостроя XVI в. [Соколова, 1957: 182], М.В.Сущева в великоустюжских памятниках деловой письменности первой половины XVII в. [Сущева, 1974: 86].

Принципиально не отличается от узуса «Вестей-Курантов» и норма, представленная в «Ведомостях» эпохи Петра I: *з* пишется перед *с*, а *с* в остальных позициях: *разсытано – роспись* 1705.6, *испортили – возстаніе* 1707.26, *расположенія – розставленые* 1709.5, *роспись, распростра-*

нилося – разстрѣслися, разсужденіи, разставлено 1710.2, *воспріятія, исправленія – изшествіе, возставитъ* 1719.3, *исполняющихъ – возставленъ* 1719.5, *воспріяла, испрошенія – возставленъ* 1719.15, *испортила, превосходителство – возставляетъ* 1719.17. Данный узус, очевидно, опирается на принцип графической диссимилиации, действовавший в книжной и некнижной орфографии на протяжении всей ее истории. Мы не склонны трактовать подобные написания как «орфографические гиперизмы, связанные с позиционным оглушением согласных», поскольку, в отличие от отмеченных в деловой скорописи Е. А. Галинской случаев гиперкорректного употребления *з* в приставках перед буквами различных глухих согласных (*не испортити, изтравити, не зкинутаца, не зсылатца*) [Галинская, 2007: 210], наш материал демонстрирует тенденцию к закреплению *з* именно перед *с*. Подобная норма строго соблюдается и в текстах ранних грамматических сочинений (которые, впрочем, соответствующего правила не содержат): *въсхождѣ, искъшаю, исполняю, испѣваю, распространяю, восхожю, воспѣваю, исперва, расхожѣся, расхожюся, но: безсмертный, безсмѣртныи, разстѣжю, разстѣжителное, разстѣжителный* [Грамматики, 2000: 116, 118, 121, 474, 481, 491, 472; Грамматика, 2007: 469, 481, 467, 53; Поликарпов, 2000: 277, 351].

Как и ранее, в «Санкт-Петербургских ведомостях» с начала 1730-х гг. перед буквами глухих (кроме *с*) приставки <воз->, <из->, <роз-> пишутся преимущественно с конечной *с*, однако перед *с* корня меняют ее на *з* (*изслѣдованію, разстѣлся*). Префикс <без-> во всех позициях оканчивается буквой *з* (*безпрестанно, безсмертнаго, безчестія*). А в конце 1740-х гг. написания *з* появляются перед всеми глухими (*возпослѣдованіи, изчисленію, производимаго*) [Каверина, 2010: 310–311]. Интересно, что они возникают в 1748 г., когда руководство газетой принял М. В. Ломоносов, не только не являвшийся сторонником таких написаний в положении перед глухими, но и отзывавшийся о них следующими словами: «странно и дико сие кажется» [Ломоносов, 1952: 435]. Впрочем, с уходом Ломоносова в 1751 г. и возвращением в газету И. И. Тауберта, бывшего ее редактором в 1730–1740-е [Сводный каталог, 1966: 54], ситуация принципиально не меняется.

Подобная орфография, хотя и несколько более консервативная, отличает первые три издания Грамматики Ломоносова – два прижизненных и одно посмертное (1757, 1765, 1772). Наибольшее число фонематических написаний, как и в скорописных «Вестях-Курантах» и печатных

«Ведомостях», наблюдается в словах на <без->: *безполезно* 21–1¹; *безконечны* 19–25; *безрассудно* 32–57.2; *безпорядочно* 32–58.2; *безпамятенЪ* 196–452–2. Однако даже в этой позиции преобладает *с*: *бесконечному* 21–5; *бесчисленные* 19–25; *бесконечно* 29–55; *беспорядочны* 32–59.2; *беспосредственно* 46–94; *бесчисленные* 100–250; *беспамятенЪ* 196–453.2; *бессильного* 200–472.2; *беспрерывному* 201–473.2 (соотношение 5/9).

Приставка <роз->, как и в «Ведомостях», часто пишется через *з* перед *с* корня (такая орфография отличает и рукописи Ломоносова [Ломоносов, 1952: 595–760]): *разсуждени* 27–48; *разсуждай* 28–51; *разсыпанныхЪ* 21–1; *Разсудительный* 28–52; *разсуждаемЪ* 29–52; *разсуждений* 37–74; *разсудительному* 40–83. Однако здесь также преобладают варианты с конечной *с*: *рассуждения* 7; *рассудимЪ* 21–4; *рассматривая* 28–52; *рассуждени* 36–70; *безрассудного* 55–115; *рассуждение* 60–126; *рассудительныхЪ* 91–207; *рассудительной* 91–210; *рассудительного* 92–210; *рассудительный* 92–212; *рассудительныя* 93–219; *рассудительные* 93–220; *рассудительномЪ* (3р) 93–220; *рассудительного* 93–221; *рассуждени* 120–323; *рассудить* 164–420; *рассуждени* 167–421; *рассидься*, *-вишийся* 179–448.1; *рассуждение*, *-емЪ* 193–442.2 (их примерно 2/3). В остальных положениях пишется *с*, за редкими исключениями (примеры *разкричаться* 159–412; *разкачаться* 159–412): *расширение* 16–19; *расположение* 18–23; *расположеніемЪ* 18–23; *расположеніи* 18–24; *распространяю* 28–51; *распространяютЪ* 38–80; *распознаются* 45–91; *распывахЪ* 55–115; *распознаваются* 56–116; *распознанія* 58–122; *распознать* 59–125; *расположенію* 60–126; *расписался* 160–414; *расписываюсь* 160–414; *расписку* 160–414; *расканіе* 198–463.2.

Еще реже находим *з* в исходе <из-> всего 5 случаев (*изслѣдую* 23–38; *изслѣдовать* 30–55; *произшедшее* 108–271; *произшедшее* 137–358; *происхождение* 140–369) из 40: *происходитЪ* 8; *преисполненЪ* 9; *исправность* 9; *произшедшія* 11–1; *произшедшія* 19–24; *происходятЪ* 25–44; *происходило* 28–51; *происходятЪ* 31–57.1; *происходятЪ* 35–68; *неисправности* 36–70; *происходитЪ* 36–71; *произшедшія* 36–72; *исполняя* 44–88; *происходятЪ* 45–90; *происходитЪ* 53–113; *происходитЪ* 56–117; *происходяція* 62–134; *происходяція* 63–134; *происходитЪ* 73–151; *происходяція* 93–221; *происходяція* 95–227; *происходяція* 97–238; *проис-*

¹ Здесь и далее примеры, извлеченные из «Российской грамматики» М. В. Ломоносова, сопровождаются выходными данными: число перед тире обозначает номер страницы, после тире – номер параграфа.

ходятъ 97–238; *происходящее* 108–272; *происходятъ* 127–351; *происходятъ*, *-итъ* 137–358; *искошилъ* 142–373; *происходятъ* 145–389; *исписалъ* 158–407; *происходящее* 160–414; *исправления* 201–473.2; *происходящія* 202–482.2.

И совсем не употребляется з перед буквами глухих согласных в префиксе <воз->: *превосходитъ* 11–1; *восходятъ* 21–32; *превосходящее* 29–53; *Превосходнаго* 29–53; *превосходный* 91–208; *превосходнаго* 91–209; *превосходной* 91–210; *превосходнаго* 92–210; *превосходныя* 92–211; *превосходнаго* 93–221; *превосходитъ* 100–250; *вспылалъ* 116–307; *воспослѣдовать* 137–358; *превосхожу*, *-дилъ* 163–418; *восхожу* 182–455.1; *вспомогательный* 200–471.2; *вспомогательныхъ* 200–472.2; *восходящую* 200–472.2; *воспослѣдовалъ* 202–478.2. Один раз отмечено наложение одноименных букв приставки и корня: *востаетъ* 194–444.2.

Таким образом, в первых изданиях Грамматики Ломоносова отмечаются те же тенденции, что и в ведомостях, однако правописание Грамматики все же более консервативно. Вместе с тем трудно не заметить большой вариативности в орфографии данных приставок, разные написания которых можно встретить в однокоренных словах даже на одной странице текста (*рассужденіи* 36–70 *разсуждений* 37–74; *беспорядочно* 32–58.2 *беспорядочны* 32–59.2; *безпамятенъ* 196–452.2 *безпамятенъ* 196–453.2).

В узусе число написаний с конечной з префиксов постепенно возрастает, и к середине 1750-х гг. в «Санкт-Петербургских ведомостях» на фоне беспорядочного варьирования они становятся предпочтительными: *произшедшаго*, *безславіе*, *разсказываль*, *безчестіе*, *безчестной* 1756.94², *разстояніи* 1758.3, *разсудилъ разпоряженіямъ – беспрестанно* 1758.94, *росписи* 1761.4, *разсуждаемо*, *безпрепятственно*, *безпрестанно – обеспокоиваютъ* 1761.5, *разстояніемъ* 1761.63, *разположились*, *разставлены*, *разположилъ – расставлены*, *распоряженія* 1761.64, *произшедшемъ*, *возсталъ*, *разгянїи*, *произходить*, *разгянїе* (2 раза) – *распространилъ*, *воспослѣдовала*, *расхищенія* (2 раза) 1761.100, *безчеловѣчнымъ*, *разсуждали*, *возставитъ*, *разчеты*, *неизчетные*, *возшествіе*, *возшествїи*, *разстояніи – исполня* (2 раза), *исходатайствовать*, *воспрїять*, *распространитъ* 1763.86, *изходатайствованія*, *разсужденія*, *беспрестанно*, *безпокойства*, *разсужденїи*, *произшествїи – восстановленнымъ*, *происходящей*, *расположеніе*, *росписью* 1775.17 и мн. др.

² Здесь и далее число перед точкой обозначает год издания, после точки номер газеты.

Аналогичную орфографию находим и во вновь созданных в 1756 г. «Московских ведомостях», первым редактором которых был А. А. Барсов, сторонник традиционного правописания приставок на <з> [Барсов, 1981: 83–84]. Вопреки рекомендациям Барсова здесь в исходе префиксов чаще пишут з: *изчезъ, разсуждали* (2 раза), *разсудить, произишель, разсудили – рассуждении, исправленію, беспокоиство, вспоможеніе, исполненію* 1756.1, *возставали, разставленными, возстановленіи, разположенъ, возстановить, разчищаютъ – происходило, расстоянія, беспокоиствія, распорядженіямъ, беспокоиваться* 1756.2, *разснациваютъ, обезпоковатъ, безчеловѣчно, безпрестанно, разстановиль, разсуждая, разсѣяны – происходитъ, распоряденія, исполнить, растерзатъ* 1756.69, *безпристрастнымъ – исполненія* 1758.2, *безпокойствія, разставлены, безпрестанно – исполненіемъ* 1765.46, *разпорядкъ, возхотела, безчисленныхъ, безпримѣрную, изцѣльетъ – изцѣльивъ* 1769.1, *изтопили, безпокойства, разсуждали, Превозходительства* (2 раза), *разходу – росписанныя* 1769.2, *возпоминаль, произишествіяхъ* 1769.51, *изцѣляются, изцѣленія, рассуждении, возстановиться, безпрестанно, возстала, разсѣваютъ, безпрерывно, произишествій, исправляютъ, разсѣлся – нероспаишой, исполненіи, воскипѣніе* 1770.99, *возстановлено, безпрерывнымъ, безпокойствіе – происходитъ* 1771.68, *безчисленное – происходитъ* 1775.3 и мн. др.

Экспансия написаний с конечной з проявляется даже в словах, где приставка выделяется лишь этимологически (*изчезъ* 1756.1 Мск³, *возточныхъ* 1763.86 СПб⁴, *разпри* 1770.80 СПб), а также в словах с нарушенным морфемным составом (*разпрашиванъ* 1771.68 Мск). Встречаются также написания типа *разспространить* (наряду с *разспространиль* в том же номере) 1770.99 Мск, совмещающие фонематический и традиционный принципы. Отмечены случаи наложения морфем, например: *возстановленнымъ* 1775.4 СПб, *возстановить* 1775.17 СПб. Такое написание есть и в изданиях Грамматики Ломоносова (*востаеѢ* 194–444–2).

Стремление к унификации заметно и в 5-м издании Грамматики 1785 г. Здесь возрастает число написаний приставок с конечной з, в публикации 1799 года их еще больше. В таблице 2 обобщены данные анализа орфографии слов с приставками на <з> перед буквами глухих согласных в исследованных изданиях Грамматики. Первый столбец занимают написания, обнаруженные в 1-м издании, с указанием страницы и параграфа.

³ Здесь и далее «Московские ведомости».

⁴ Здесь и далее «Санкт-Петербургские ведомости».

В других столбцах содержатся сведения об отличии каждого издания от первого, причем пустые клетки означают совпадение написания в данной публикации с 1-м изданием.

Таблица 2

1-е изд. 1755 [1757]	5-е изд. 1755 [1785]	7-е изд. 1799	Соч. 1847 Соч. 1850	Давыдов 1855
рассужденія 7			раз	
происходитъ 8				
преисполненъ 9				
исправность 9				
превосходитъ 11–1				
происшедшія 11–1	из		из	
безполезно 21–1				
разсыпанныхъ 21–1				
рассудимъ 21–4	раз		раз	раз
бесконечному 21–5		без	без	
расширеніе 16–19	раз	раз	раз	
расположеніе 18–23	раз	раз	раз	
расположеніемъ 18–23				
расположеніи 18–24				
происшедшія 19–24				
бесчисленныя 19–25		без	без	без
безконечны 19–25				
разсужденіи 27–48				
происходило 28–51				
разсуждай 28–51				
<i>распространяю</i> 28–51				
рассматривая 28–52			раз	раз
Разсудительный 28–52			р	р
разсуждаемъ 29–52				
бесконечно 29–55			без	без
изслѣдовать 30–55				
безрассудно 32–57.2	раз	раз	раз	раз
безпорядочно 32–58.2				

1-е изд. 1755 [1757]	5-е изд. 1755 [1785]	7-е изд. 1799	Соч. 1847 Соч. 1850	Давыдов 1855
беспорядочны 32–59.2			без	
происходятъ 35–68		из		
рассужденіи 36–70	раз	раз	раз	
неисправности 36–70				
происходитъ 36–71				
происшедшія 36–72		из		
разсуждений 37–74				
распространяютъ 38–80				
разсудительному 40–83				
<i>исполняй</i> 44–88				
происходятъ 45–90			из	
распознаются 45–91			раз	раз
беспосредственно 46–94			без	
происходитъ 53–113			из	
распѣвахъ 55–115				
безрассуднаго 55–115		раз	раз	
распознаваются 56–116		раз		
происходитъ 56–117				
распознанія 58–122				
распознать 59–125		раз	раз	
расположенію 60–126				
<i>рассужденіе</i> 60–126		<i>раз</i>	<i>раз</i>	
происходящія 62–134				
происходитъ 73–151	из	из	из	
разсудительныхъ 91–207	раз	раз	раз	
превосходный 91–208				
превосходнаго 91–209				
разсудительной 91–210	раз	раз	раз	
превосходной 91–210				

1-е изд. 1755 [1757]	5-е изд. 1755 [1785]	7-е изд. 1799	Соч. 1847 Соч. 1850	Давыдов 1855
превосходнаго 92–210				
рассудительнаго 92–210	раз	раз	раз	раз
превосходныя 92–211				
рассудительный 92–212	раз	раз	раз	
рассудительныя 93–219	раз	раз	раз	тенья
рассудительные 93–220	раз	раз	раз	
рассудительномЪ (3р) 93–220	раз	раз	раз	
происходящія 93–221				
рассудительнаго 93–221		раз	раз	
превосходнаго 93–221				
происходящія 95–227		из		
происходящія 97–238				
происходятЪ 97–238				
превосходитЪ 100–250				
бесчисленныя 100–250		без	без	без
произшедшее 108–271				
происходящее 108–272				
<i>вспылаЪ</i> 116–307				
рассужденіи 120–323	раз	раз	раз	раз
происходятЪ 127–351				
происходятЪ, -итЪ 137–358				
произшедшее 137–358				
<i>воспослѣдовать</i> 137–358				
произхожденіе 140–369			ис	
<i>искосилЪ</i> 142–373				
происходятЪ 145–389				
<i>истисалЪ</i> 158–407				
<i>разкричатъся</i> 159–412				
<i>разкачатъся</i> 159–412	<i>рас</i>	<i>рас</i>		

1-е изд. 1755 [1757]	5-е изд. 1755 [1785]	7-е изд. 1799	Соч. 1847 Соч. 1850	Давыдов 1855
<i>расписался</i> 160–414				
происходящее 160–414				
<i>расписываюсь</i> 160–414				
<i>расписку</i> 160–414				
рассудить 164–420		раз		
рассужденіи 167–421		раз	раз	
<i>рассидѣлся,-вишійся</i> 179–448–1		<i>раз</i>	<i>раз</i>	
<i>восхожу</i> 182–455–1	<i>вс</i>	<i>вс</i>		
<i>рассужденіе, -емЪ</i> 193–442–2	<i>раз</i>	<i>раз</i>	<i>раз</i>	
<i>востаетЪ</i> 194–444.2				
<i>безпамятенЪ</i> 196–452.2				
<i>безпамятенЪ</i> 196–453.2		<i>бес</i>		
вспомогательный 200–471.2				
вспомогательныхЪ 200–472.2				
<i>восходящую</i> 200–472.2				
<i>бессильнаго</i> 200–472.2		<i>без</i>	<i>без</i>	
беспрерывному 201–473.2		без	без	
<i>исправленія</i> 201–473.2				
воспослѣдовалЪ 202–478.2			воз	
происходящія 202–482.2				

В течение первой четверти XIX в. прослеживается тенденция к закреплению з перед с корня под действием принципа графической диссимляции, свойственного еще древнерусскому письму: *разсудитъ, разсужденіи* 1802.97, *разсужденіи, безславіемъ, разсудитъ* 1802.98, *возстановлено, разставлены, разсужденіи, безсмертіи, разсудитъ, разстоянія, разстояніе* 1802.99, *разсѣянія* 1802.104, *разсужденіи* 1825.53, *разсказываютъ, разстрѣливаетъ* 1825.71, *разсужденіи, разстоянію* 1825.71

и т. п. («Санктпетербургские ведомости»); *разсужденіи, возстановленнаго, разстояніи, разсматривать, разставленныхъ, изслѣдованіяхъ, разсортировку* 1817.88, *разсмотрѣнія, возстаетъ, изслѣдованію, возстановленія* 1817.53, *возстановятъ* 1820.1, *разсвѣатели, возстановлено* 1820.23, *изслѣдовать, изсохшая* 1825.11 и др. («Московские ведомости»).

Сначала в «Московских ведомостях» (с 1817 г.), затем в «Санкт-Петербургских ведомостях» (окончательно к 1830 г.) происходит закрепление традиционных написаний префиксов <воз->, <из->, <роз-> с конечной с перед буквами глухих согласных, кроме с: *воспомяная, истечениемъ, происходилъ, испытанія* 1817.88, *воспослѣдованіи, распространитъ, происходило, испытаніе, ниспроверженіе* 1817.53, *распространяетъ, исправленію, воспоминанія, воспослѣдовали, испуганы* 1820.23, *ниспровергають, растаяли, исполненіе, исключительно* 1820.1, *иаполненіемъ* (2 раза), *вспѣваль, происходящихъ* 1825.11, *исполненія, воспрещается, воспрепятствованія, распоряженіе* (2 раза), *исправности, росписанію, истеченіи* 1828.1 и др. («Московские ведомости»); *исключая, расположенія, раскинутою, распоряженіи* 1825.53, *исправляющий, исполненію, вспоможенія, распространяли* 1825.71, *исполняетъ, воспринятую, распространяя, испытавший, исключая, воспрепятствовали* 1825.93, *истоцены, вспомяная, исполненный, воспрепятствовала, исправлена, растолкую, росписокъ, исправленъ, исправность, раскрашенъ, росписка* 1828.53, *исполненіе, истребовать, исчислять, исключительно, истечения, воспѣтый, расширяющіяся, воспламенило, распрѣдѣляется* 1830.1 и др. («Санкт-Петербургские ведомости»).

От данной закономерности отступает приставка <без->, в результате чего написание *без-* сохраняется в положении перед всеми буквами и к концу 1820-х годов данная закономерность практически не имеет исключений.: *безсмертными, безпорядки, безпрерывный, бесплодны* 1820.23, *безпорядками* 1825.11, *безчисленнымъ, безсмертныя, безцѣнны, безпорочное, безчисленное* 1828.1 и др. («Московские ведомости»); *обезпеченныхъ* 1825.53, *безпокоить* 1825.71, *безпрерывно* 1825.93, *обезпечена, обезпечиваетъ, безчисленныя, обезпечить* 1828.53, *безпристрастныя* 1830.1 и др. («Санкт-Петербургские ведомости»).

Отмечается чрезвычайная устойчивость орфографии некоторых лексем, особенно часто употребляющихся в текстах газет: например, слово *произшествіе* пишется только через з, что подчеркивает морфемную структуру слова. Такова и орфография слова *произшедшее* во всех изда-

ниях Грамматики при том, что глагол *происходить* пишут через *с*, отражая его произношение.

Единый принцип написания слов с приставками <воз->, <раз->, <низ->, <из-> старался проводить в орфографии А. С. Пушкин, сохраняя *з* во всех случаях и перед звонкими, и перед глухими согласными. В. А. Малаховский считает, что «в данном случае Пушкин применял морфологический принцип», и приводит следующие написания: *разчет, розчет, до возтребования, испугали, изкупленье, изтаила, произшествие, снижение, исключили, распечатывать, восклицает*; значительно реже Пушкин пишет: *произшествие, испрасить* [Малаховский, 1937: 8]. Исследователь отмечает, что «наряду с написаниями вроде *разстривали*, Пушкин писал *разтались, разказала*, т. е. сливая два следующих рядом *с*», и комментирует данные написания: «Свое правильное произношение в данном случае Пушкин подчиняет своему орфографическому принципу, не считаясь с морфологическим составом слова» [Малаховский, 1937: 8]. Заметим, что такие написания не были свойственны печатным текстам того времени.

Очевидно, под влиянием стихийного фонематизма, нараставшего в узуе в течение двух предшествующих столетий, в некоторых грамматиках первой половины XIX в., таких, как «Российская грамматика, сочиненная Императорской Российской академией» 1802 г., ее переиздания 1809, 1819 г., грамматика И. Орнатовского 1810 г. [Российская грамматика, 1802: 13; Российская грамматика, 1819: 20; Орнатовский, 1810: 291–292] делается попытка более последовательно провести фонеморфологический принцип и исключить вариативность орфографии приставок на <з>. Так, М. Снегирев пишет, что все приставки на <з> оканчиваются буквой *з*, независимо от последующей буквы, однако исключение составляют случаи, «где последующее за ним речение не имеет никакого значения, напр. *воскресение*» [Снегирев, 1815: 27]. То же правило находим у В. Княжева в «Российской грамматике» 1834 г. [Княжев, 1834: 83]. Интересно, что уже в переиздании грамматики М. Смотрицкого, сделанном Ф. Поликарповым в 1721 г., в отличие от оригинала, не отмечается варьирование *з–с* в исходе приставок на <з>: во всех позициях пишется через *з*, в том числе и перед буквами глухих согласных. Однако правило орфографии данных приставок ни Смотрицкий, ни Поликарпов не формулируют [Смотрицкий, 1721].

На основе фонеморфологического принципа кодифицирует образование с префиксами на <з> Словарь Академии Российской 1789–1794 гг.:

Безковарный, Безпечный, Безпечальный, Безпокойный, Безсердечный, Безсердый Безсребреникъ [Словарь Академии Российской, 1789–1794, III: 678; IV: 755, 788, 951; V: 425, 426, 434]; *Взклепываю, Возклицаю, Превозходнѣйший, Возстаю, Воставше, Возклопяюся, Возпаляю, Взпахиваю* [Словарь Академии Российской, 1789–1794, III: 609, 623; IV: 705, 740, 762]; *Изключаяю, Изковыриваю, Изпаряюся, Изпачкать, Изпахать* [Словарь Академии Российской, 1789–1794, III: 647, 680; IV: 719, 739, 741]; *Разставании, Благоразположенный, Разковеркаю, Разковыриваю, Разкозыряться, Разкокать, Разпаляю, Разпариваю, Разпахиваю* [Словарь Академии Российской, 1789–1794, III: 621, 629, 674, 681, 694, 697; IV: 709, 721, 742]. Однако префиксы <воз-> и <из->, как и в узусе, изредка допускают написания через *с*: *Всклочиваю, Вспалка, Исперва* [Словарь Академии Российской, 1789–1794, III: 619; IV: 706, 763]. Принятые в словаре написания префиксов через *з* были установлены вопреки предписанию Е.Р. Дашковой следовать правилам Грамматики Ломоносова [Сухомлинов, 1847: 42], который рекомендовал писать приставки на <з> в соответствии с традицией [Ломоносов, 1757: 57–58], как и Н.Г. Курганов и А.А. Барсов [Курганов, 1769: 99; Барсов, 1981: 84].

Некоторые авторы, такие, как В.Светов, Н.И.Греч, А.Х.Востоков, И.Давыдов, несколько отходя от древней традиции, рекомендуют писать *с* в исходе этих префиксов не перед всеми буквами глухих, а точнее, перед всеми, кроме *с* [Светов, 1773: 8; Греч, 1834: 484–485; Востоков, 1835: 369; Давыдов, 1849: 254–255]. Позиция перед *с* корня была особой уже в узуальной норме начала XVII в.: здесь конечная *з* приставок наблюдалась значительно чаще, чем перед другими глухими согласными. Такое же положение сохраняется и в XVIII–XIX вв. Достаточно сказать, что даже авторы грамматик, не выделяющие эту позицию как особую и предлагающие писать *с* перед всеми буквами глухих (например, Ломоносов и Барсов), в своих рукописях допускают вариативные написания приставок на <з> именно в указанной позиции (*разсуждение – рассуждение*).

Отдельные авторы (А.Х.Востоков, И.Давыдов) кроме позиции перед *с* выделяют также положение перед *ц, ч, ш, щ* (а Н.И.Греч только перед *ц*), в котором приставки на <з> также «удерживают» конечную *з* [Востоков, 1835: 369; Давыдова, 1849: 254–255; Греч, 1834: 484–485], а А.М.Будрин, наоборот, перечисляет буквы, перед которыми *з* меняется на *с*: *п, т, к, х* [Будрин, 1849: 31]. Именно в соответствии с ним кодифицировали образования с префиксами на <з> Академические словари 1847 и 1867–86 гг. Например, с приставкой <воз->: *возсіяти, возслави-*

тися, возстать, возцарствовать, возчудиться, возшуметь [Словарь, 1847, I: 151, 152; Словарь, 1867–1886, I: 314, 316]; но: *воскормить, воскрешишь, воспарить, восписать, вострубить, восхвалить* [Словарь, 1847, I: 162, 163, 165, 166; Словарь, 1867–1886, I: 335, 336, 338, 344].

Исключением из правила, основывающегося на древней традиции, оказывается и орфография приставки <без->, которая закрепляется к концу первой четверти XIX в. с написанием *без-* во всех позициях. Несколько позднее данную закономерность отражают грамматические сочинения Н.И.Греча 1834 г., А.Х.Востокова 1835 г., А.М.Будрина 1849 г., И.Давыдова 1849 г. [Греч, 1834: 484–485; Востоков, 1835: 369; Будрин, 1849: 31; Давыдов, 1849: 254–255] и Академические словари 1847 и 1867–1886 гг.: *безконечный, безкорыстный, безпечный, безпокойный, безсудный, безстрашный* [Словарь, 1847, I: 31, 36, 40; Словарь, 1867–1886, I: 66, 75, 83, 84].

Данную во многом противоречивую норму отражает орфография двух стереотипных выпусков Сочинений Ломоносова, предпринятых в 1847 и 50 годах издателем Смирдиным. Не имеющие, по мнению исследователей, серьезного научного значения, эти книги в наибольшей степени отражают принятую в период их выпуска орфографию. Регулярно пишутся через *з* все слова с префиксом <без-> и другие приставки перед *с* (*разсужденіе, разсытанныхЪ, разсудимЪ*). Вместе с тем без изменения по сравнению с 1-м изданием остаются префиксальные *с* в словах: *расположеніе, происшедшя, восходятЪ, неисправности, распространяю, превосходящее, распознать* и др. Однако поскольку полного единства в кодифицирующей литературе на тот момент не наблюдалось, да и императивность ее рекомендаций была недостаточной, и в этих изданиях сохраняется вариативность (*произшедшя происшедшя, произходятЪ происходитЪ*) и даже отмечена замена исходного *з* на *с* в слове *произхождение* 140–369.

Непоследовательностью грешит и юбилейное издание академика Давыдова, в котором, несмотря на заявленное: «...перепечатано буквально с перваго издания академическаго» [Давыдов, 1855: I], вместе с тем отмечаются присущие норме того времени написания, не восходящие к 1-му изданию: *разсудимЪ, безчисленныя, разсматривая, безконечно, безразсудно, распознаются, разсудительнаго, безчисленныя, разсужденіи* [Ломоносов, 1855].

Несмотря на то что подавляющее большинство грамматик XIX в. ориентируется в основном на фонематический принцип орфографии,

единую норму правописания приставок на <з> установить на основании данных сочинений не удастся. Анализ материала ведомостей показывает, что «во второй половине XIX столетия установилось написание с буквой *с* перед глухими согласными, кроме *с*, четырех приставок: *вос-*, *ис-*, *нис-*, *рас-*... и единообразная передача *без-* и *чрез-* всегда с *з*» [Обзор, 1965: 231]. Такие написания и были утверждены в «Русском правописании» Я. К. Грота 1885 г. [Грот, 1885: 43–44], хотя сам Грот был сторонником единообразного написания всех этих приставок, считая, что «лучше было бы установить, чтобы все предлоги без изъятия всегда писались по этимологии», однако сомневался в возможности «изменить давно укоренившийся обычай» [Грот, 1876: 260].

Итак, мы увидели, что издания Грамматики не отличаются орфографической строгостью. Причем, как правило, редакторы выбирали то или иное написание, находясь под большим влиянием орфографии, принятой в момент выпуска соответствующей книги. По словам М. И. Сухомлинова, «печатаніе Грамматики производилось довольно небрежно; корректуры читались невнимательно; знаки препинанія разставлены неверно; порядок параграфовъ перемѣшанъ» [Сухомлинов, 1898: 34]. Надо сказать, что орфографии того времени была присуща принципиальная вариативность. Данное положение подробно освещается в докторской диссертации «Становление русской орфографии в XVII–XIX вв.: правописный узус и кодификация» [Каверина, 2010]. Ожидать полного единообразия орфографии, а тем более пунктуации от книг того времени не стоит.

При подготовке научной публикации ломоносовской Грамматики, автографов которой не сохранилось [Блок, Макеева, 1952: 844], следует, очевидно, ориентироваться на прижизненные издания. Вместе с тем неверно было бы относить все написания, представленные в этих изданиях, на счет самого Ломоносова. Дело в том, что орфографии в XVIII в. авторы и издатели не придавали большого значения. Примером тому могут служить ведомости, редакторами которых были авторы грамматических сочинений, которые не осуществляли на практике свои теоретические построения. Так, на орфографии «Санкт-Петербургских ведомостей» никак не отразилось ни участие в их издании В. Е. Адодурова, сторонника фонетического письма (1732, 1734–1735 гг.), ни руководство М. В. Ломоносова в 1748–1751 гг. Показательно, что варианты с конечной *з* в газете возникают в 1748 г., когда ее возглавил М. В. Ломоносов, не только не являвшийся сторонником таких написаний в положении перед глухими, но и отзывавшийся о них словами: «странно и дико сие

кажется» [Ломоносов, 1952: 435]. А между тем такие написания появляются и во втором прижизненном издании Грамматики. Первым редактором «Московских ведомостей», издававшихся с 1756 г. под эгидой Московского университета, был университетский профессор А. А. Барсов. Однако правила, сформулированные в его грамматике, не соблюдаются в «Московских ведомостях», орфография которых в то время крайне нестабильна. В «Санкт-Петербургских ведомостях» издании Академии наук не заметно стабилизирующего влияния академической грамматики, вышедшей в свет в 1802 г. и многократно переиздававшейся в течение первой четверти XIX в.

На прижизненные издания ориентировались два последних по времени собрания сочинений Ломоносова. В основу СС 1891–1948 гг. под ред. М. И. Сухомлинова и Л. Б. Модзалевского был положен принцип публикации текстов по первому прижизненному изданию; позднейшие авторские редакции сообщались в виде вариантов [Андреева, 1960: 217]. Об этом очень подробно пишет М. И. Сухомлинов: «Вѣрность оригиналу мы соблюдаемъ и въ правописаніи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ печатаемъ или съ рукописи автора или съ печатнаго изданія, вышедшаго при его жизни» [Сухомлинов, 1893: IV]. Однако с первых страниц Грамматики заметны расхождения: *есть ли-|бы* заменено на *естьли бы, мѣльче* на *мѣльче, мягче* на *мягче*; набранные прописными буквами слова обращения к Великому князю (ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ и под.), имена государей ПЕТРА и ЕЛИСАВЕТЫ здесь только начинаются с прописной буквы. И таких примеров много.

Составители ПСС 1949–1957 гг. под ред. С. И. Вавилова избрали в качестве основного текст последнего прижизненного издания Грамматики, подвергнувшегося авторской правке. Однако, по мнению исследователей, «при скрупулезной, отчасти механической, точности, воспроизводящей даже явные ошибки и опечатки оригинала... в этом издании допущено произвольное обращение с текстом» [Морозов, 1966: 175–193]. А самое главное, правописание первоисточника сохранено только в примерах, весь же текст напечатан в современной орфографии [Ломоносов, 1952: 777], что значительно снижает его научную ценность.

В работах отечественных текстологов последних десятилетий преобладает лотмановское понимание правописания как «органической части смыслового и стилистического целого» [Лотман 1997: 283–284] литературного произведения. Однако такой подход к научному изданию классической литературы стал применяться совсем недавно, тогда как

на протяжении двух с лишним столетий при публикации трудов Ломоносова издатели достаточно вольно обращались с их правописанием, даже при воспроизведении его трудов по филологии.

Список литературы

- Андреева Г. А.* Издания собраний сочинений М.В. Ломоносова в XVIII–XX вв. // Книга: Исследования и материалы. Сб. 3. М., 1960.
- Блок Г. П., Макеева В. Н.* Первые издания «Российской грамматики» Ломоносова // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1951.
- Блок Г. П., Макеева В. Н.* Примечания // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т.7. М.; Л., 1952.
- Будрин А. М.* Третья часть Грамматики русскаго языка. Тетрадь VI. Орфографія. М., 1849.
- Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Васеко Е. Ф.* Фонологическая система московского говора первой половины XVI в. по памятникам деловой письменности: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. М., 1973.
- Вести-Куранты, 1651–1652 гг., 1654–1656 гг., 1658–1660 гг. / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В.Виноградова; Изд. подгот. В.Г.Демьянов; Отв. ред. В.П.Вомперский. М., 1996 (В-К V).
- Вести-Куранты. 1600–1639 г. / Изд. подгот. Н.И.Тарабасова, В.Г.Демьянов, А.И.Сумкина; Под ред. С.И.Коткова. М., 1972 (В-К I).
- Вести-Куранты. 1642–1644 гг. / Изд. подгот. Н.И.Тарабасова, В.Г.Демьянов, А.И.Сумкина; Под ред. С.И.Коткова. М., 1976 (В-К II).
- Вести-Куранты. 1645–1646, 1648 гг. / Изд. подгот. Н.И.Тарабасова, В.Г.Демьянов; Под ред. С.И.Коткова. М., 1980 (В-К III).
- Вести-Куранты. 1648–1650 гг. / Изд. подгот. В.Г.Демьянов, Р.В.Бахтурина; Под ред. С.И.Коткова. М., 1983 (В-К IV).
- Вѣдомости времени Петра Великаго. В память двухсотлѣтія первой русской газеты. Вып.1, 2. М., 1903–1906.
- Галинская Е. А.* Фонетическое сознание русских писцов XVII века // Лингвистическая полифония: Сб. статей в честь юбилея профессора Р.К.Потаповой / Отв. ред. чл.-корр. РАН В.А.Виноградов. М., 2007.
- Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е.А.Кузьминовой. М., 2007.
- Грамматика русскаго языка академика М.В.Ломоносова 1755 года / Изд. Вторымъ отдѣленіемъ имп. Академіи наукъ въ воспоминаніе столетія русской грамматики. СПб., 1855.

Грамматика. М., 1648. 4°.

Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е. А. Кузьминовой; Предисл. Е. А. Кузьминовой, М. Л. Ремневой. М., 2000.

Давыдов И. Грамматика русскаго языка. Изданіе Втораго отдѣленія Императорской Академіи Наукъ. СПб., 1849.

Давыдов И. Предисловіе къ новому изданію РОССІЙСКОЙ ГРАММАТИКИ Михайла Ломоносова // Грамматика русскаго языка академика М. В. Ломоносова 1755 года / Изд. Вторымъ отдѣленіемъ имп. Академіи наукъ въ воспоминаніе столетія русской грамматики. СПб., 1855.

Данилова В. М. Палеографическое и фонетическое описание рукописи Мерило праведное: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. М., 1969.

Каверина В. В. Становление русского правописания в XVII–XIX вв.: правописный узус и кодификация: Дисс. ... докт. филол. наук: 10.02.01. М., 2010.

Каверина В. В. Узуальная норма деловой письменности XVII века: орфография префиксов. М., 2004.

Княжев В. Россійская грамматика, изданная В. К. М., 1834.

Кузнецова И. В. Из истории генетически безъерых предлогов-приставок на <з> в русском языке (формирование предложно-приставочного параллелизма): Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Казань, 1974.

Курганов Н. Г. Россійская универсальная грамматика, или Всеобщее писмословіе. Издано во градѣ Святаго Петра, 1769.

Курчева Ю. В. Основные вопросы русского правописания с XVIII в.: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. М., 1941.

Ломоносов М. В. Россійская грамматика // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 7. М.; Л., 1952.

Малаховский В. А. Произношение и орфография А. С. Пушкина // Русский язык в школе. 1937. № 2.

Морозов А. А. О воспроизведении текстов русских поэтов XVIII века // Русская литература. 1966. № 2.

Морозов А. А. Примечания // Ломоносов М. В. Избр. произведения / Вступ. ст. и примеч. А. А. Морозова. Архангельск, 1949.

Московские ведомости XVIII–XIX вв.

Обзор предложений по усовершенствованію русской орфографии (XVIII–XX вв.). М., 1965.

- Орнатовскій И.* Новѣйшее начертаніе правилъ российской грамматики. Харьков, 1810 // Texts and studies on Russian universal grammar 1806–1812. Vol. 1. München, 1984.
- Перцов Н. В., Пильщиков И. А.* О лингвистических аспектах текстологии // Вопросы языкознания. 2011. № 5.
- Поликарпов Ф.* Технологія. Искусство грамматики / Издание и исследование Е. Бабаевой. СПб., 2000.
- Полное собрание сочинений *Михайла Ломоносова*, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений. Ч. 1-6. – СПб. : Изданием Император. Акад. наук, 1784–1787.
- Практическая русская грамматика изданная Николаемъ Гречемъ. СПб., 1834.
- Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Подг. текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой; Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М., 1981.
- Российская ГРАММАТИКА *Михайла Ломоносова*. Печатана въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1755 года. 1-е изд. Вышло в свет в 1757 г.
- Российская ГРАММАТИКА *Михайла Ломоносова*. Печатана въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1755 года. 2-е изд. Вышло в свет в 1765 г.
- Российская ГРАММАТИКА *Михайла Ломоносова*. Печатана въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1755 года. 3-е изд. Вышло в свет в 1772 г.
- Российская ГРАММАТИКА *Михайла Ломоносова*. Печатана въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1755 года. 4-е изд. Вышло в свет в 1777 г.
- Российская ГРАММАТИКА *Михайла Ломоносова*. Печатана въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1755 года. 5-е изд. Вышло в свет в 1785 г.
- Российская ГРАММАТИКА *Михайла Ломоносова*. Печатана въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1799 года. 7-е изд.
- Российская грамматика, сочиненная Императорскою Россійскою академіею. СПб., 1802.
- Российская грамматика, сочиненная Императорскою Россійскою академіею. СПб., 1819.
- Русская грамматика Александра Востокова, по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная. СПб., 1835.

- Русское правописание: Руководство, составленное по поручению Второго отделения Императорской Академии наук академикомъ *Я. К. Гротомъ*. СПб., 1885.
- Русское правописание: Руководство, составленное по поручению Второго отделения Императорской Академии наук академикомъ *Я. К. Гротомъ*. Девятое издание. СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1891.
- Санктпетербургские ведомости / С.-Петербургские ведомости / Санкт-Петербургские ведомости. XVIII–XIX вв.
- Светов В.* Опытъ новаго російскаго правописанія, утвержденный на правилахъ російской грамматики и на лучшихъ примерахъ російскихъ писателей. СПб., 1773.
- Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725–1800. Периодические и продолжающиеся издания. Т. IV. М., 1966.
- Словарь Академии Российской 1789–1794. Т. I–VI. М.
- Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отдѣленіемъ Императорской Академіи Наукъ: В 4 т. СПб., 1847.
- Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отдѣленіемъ Императорской Академіи Наукъ. 2-е изд.: В 4 т. СПб., 1867–1868.
- Смотрицкій М.* Грамматика. М., 1721. 8°.
- Снегиревъ М.* Російское правописание съ примѣчаніями изъ лучшихъ сочинителей. М., 1815.
- Соколова М. А.* Очерки по языку деловыхъ памятниковъ XVI века (на материале «Домостроя»). Л., 1957.
- Сочинения М. В. Ломоносова: В 3 т. Т. 3. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1847 (Полное собрание сочинений русскихъ авторов).
- Сочинения М. В. Ломоносова: В 8 т. / Император. Акад. наук (Акад. наук СССР). СПб. (Л.); М., 1891–1948. Т. 1–5 / Под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1891–1902; Т. 6–7 / Под ред. Б. Н. Меншуткина, Г. М. Князева. Л., 1934; Т. 8 / Под ред. С. И. Вавилова. М.; Л., 1948.
- Сочинения М. В. Ломоносова. 2-е изд.: В 3 т. Т. 3. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1850 (Полное собрание сочинений русскихъ авторов).
- Спорные вопросы русскаго правописанія отъ Петра Великаго донынѣ. Филологическое разысканіе *Я. Грота* // Филологическіе разысканія. Т. 2. СПб., 1876.
- Сумароков А. П.* О правописании // Сумароков А. П. Полное собрание всехъ сочинений в стихахъ и прозе: В 10 ч. Ч. 10. М., 1787.

- Сухомлинов М. И.* Исторія Россійской Академіи. Т. 1. СПб., 1847.
- Сухомлинов М. И.* Исторія Россійской Академіи. Т. 6. СПб., 1847.
- Сухомлинов М. И.* Объяснительные примечания, варианты и приложения // Сочинения М. В. Ломоносова: В 8 т. Т. 2 / Под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1893.
- Сухомлинов М. И.* Объяснительные примечания, варианты и приложения // Сочинения М. В. Ломоносова: В 8 т. Т. 4 / Под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1898.
- Сущева М. В.* Орфографические нормы и возможности отражения диалектных особенностей в деловой письменности первой половины XVII века: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. М., 1974.
- Черных П. Я.* Язык Уложения 1649 года: Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги. М., 1953.

Сведения об авторе: Каверина Валерия Витальевна, доктор филол. наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: kaverina1@yandex.ru.

Т.В.Цивьян, И.А.Седакова, М.М.Макарецв

«БАЛКАНСКИЙ ТЕЗАУРУС»: НАЧАЛО И НАЧАЛА

В статье выносятся на обсуждение пилотный проект «Балканского Тезауруса» (БТ), который призван обобщить имеющиеся наработки в области семиотической балканистики и придать этой науке новый импульс. Концепт *начало* рассматривается в синхронии и диахронии, от античности до наших дней, с учетом всех балканских языков и традиций, с привлечением языкового, обрядового, фольклорного, литературного и др. материалов. В качестве конкретных примеров первого тома БТ дается обзор концепта *начало* в балканской модели мира, в зачинах текстов и в дейксисе.

Ключевые слова: балканский языковой союз, балканская модель мира, начало, античность, язык, обряд, фольклор.

The article discusses the new pilot project “The Balkan Thesaurus” (BT) which is supposed to generalize the results in the semiotic Balkan studies and to give new momentum to the development of this discipline. The notion of *the beginning* is analyzed in its synchrony and diachrony, from the ancient time till today, with all the Balkan languages taken into account, in the fields of linguistics, ritual, folklore and literary studies. A brief review of the notion of beginning as reflected in the Balkan model of the world, in the first parts of the texts and deixis exemplifies the principles of BT.

Kew words: Balkan linguistic league, Balkan model of the world, beginning, classical studies, language, ritual, folklore.

Вступление: История, проблематика и перспективы балканских начал

Статья выносит на обсуждение пилотный вариант проекта междисциплинарного «Балканского тезауруса» (БТ), его концепции, структуры и методологии. Разработка БТ *начинается* с важнейшего семиотического, языкового, культурного концепта *начало*, и подступом к проекту стала Международная конференция «Балканский тезаурус: *начало*» (Балканские чтения 13), которая прошла 7–9 апреля 2015 г. в Институте славяноведения РАН5. Чтениям предшествовал круглый стол «Начало», на котором был обсужден один фрагмент этого концепта: его воплощение в календарном цикле балканцев [Начало, 2014].

⁵ Конференция прошла при поддержке РГНФ, проект №15-04-14076 «Балканские чтения 13 „Балканский тезаурус: начало“». В рамках этого же гранта написана и данная статья.

Так продолжается традиция начатых в 1960-х гг. в Секторе структурной типологии Института славяноведения РАН балканистических штудий, отраженных в симпозиумах⁶, конференциях и далее – в «Балканских чтениях»⁷. Таким образом, история балкановедческих конференций в Институте славяноведения (и балканистики) насчитывает уже несколько десятилетий, и «московская ветвь» с ее комплексным междисциплинарным подходом к предмету имеет прочные позиции в балканистике.

За этим широким замыслом проекта стоит разработка глобального подхода к балканскому языковому и культурному универсуму. Будущий БТ мыслится не только как лексико-семантический корпус (тезаурус в узком терминологическом понимании), но как *сокровищница* в исходном смысле слова, тот драгоценный запас, который был накоплен в *балканском пространстве и времени*. Современное состояние балканистики, дисциплины молодой (условно столетней – не такой большой возраст!), изначально находящейся в зоне риска чрезмерного увлечения эмпирией (как и риска фантастичных интерпретаций) и изначально полемической, настойчиво требует новых подходов и новых взглядов.

Напомним, что первые наблюдения над поразительными сходствами балканских языков и культур относятся к началу XIX в. (Е. Копитар); в 1930-е гг. К. Сандфельд и Н. С. Трубецкой «узаконили» это направление лингвистики [Цивьян, 2012], в 1960-е началось ее активное развитие, а уже в 1981 г. известный немецкий балканист Н. Рейтер задал вопрос «Балканология, quo vadis?». Накоплен огромный материал, охватывающий языки, фольклор и мифологию, литературу, искусство, историю, культуру Балкан; многое собрано, многое осмыслено в ракурсе балканистики, в ракурсе типологическом (балканский языковой союз, балканская модель мира), дескриптивном и сравнительно-историческом. Однако вопрос Н. Рейтера становится еще более актуальным (по-прежнему горячо обсуждаются основополагающие для балканистики положения, в том числе и термин «балканизм», см. [Kahl, Metzellin, Schaller, 2012]),

⁶ Первым в ряду подобных научных встреч был симпозиум по античной балканистике [АБ, 1972] (перечень сокращений см. в библиографическом разделе статьи).

⁷ Материалы «Балканских чтений» и более ранних симпозиумов по балканистике опубликованы на сайте Института славяноведения РАН [www.inslav.ru]. Обзор балканских конференций см. [http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/631--19902007]. Кроме этих публикаций, важнейшими являются коллективные монографии, основанные на идеях конференций [ВПБ, 1994; ЗБ, 1994; ВЗ, 2007; СБЯ, 2003].

и сама систематизация данных предполагает решение новых теоретических задач, поиски новых идей.

Что же должно входить в «Балканский тезаурус», и можно ли говорить о наличии особого «балканского текста»? Мы видим ответ в словах В. Н. Топорова, который в аннотации к сборнику «Знаки Балкан» писал: «На протяжении тысячелетий Балканы были одним из важнейших культурных центров, чье наследие органически вошло в состав современной культуры. При всем многообразии этнокультурных элементов, при всех перипетиях истории, когда творческие взрывы сменялись падениями и периодами застоя, есть основания говорить о единстве культуры Балкан в пространстве, времени и духе, которое усваивает и перерабатывает многое и разное, и об отмеченности этой культуры, образующей особый „Балканский“ текст...» [ЗБ, 1994, 1].

Специфика балканистики, изучающей синхронию в проекции на диахронию и *vice versa*, пространство с птичьего полета и пространство, суженное до точки, время «искони» и *hic et nunc*, «многонародную личность» (Н. С. Трубецкой) и индивида, приводит к иногда почти оппозиционному разнообразию методов и точек приложения сил. Теория языковых союзов и языковых контактов актуальна, как актуальна и «Балканская лингвистика» К. Сандфельда; каждый подступ (цепь книг с таким же или сходным названием составляет кумулятивную, т. е. по определению бесконечную, «балканскую грамматику») вносит новые теоретические предложения и входит в новые повороты, стимулированные, среди прочего, непрерывно пополняющимися собраниями конкретных данных. Балканистика продолжает оставаться дисциплиной *in processu*, а споры о предмете исследования, вплоть до его отрицания, отражают особенности *балканского мира*. Как сочетать весь этот *громокипящий кубок* в «Балканском тезаурусе»? Как объединить принцип *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (Pauly-Wissowa) с принципами теоретических штудий, в которых захватывается неограниченно широкий круг проблем, привязанных к балканскому времени и пространству?

Представляется, что в теоретическом плане целесообразно прежде всего максимально использовать наработанное. Если брать типологический аспект, то это понятие балканизма. Оставаясь дискуссионным, оно от этого не теряет своей разрешающей способности, хотя бы в прагматическом смысле. Под балканизмами мы в данном случае понимаем концентрацию / мультипликацию и хорошую сохранность (репрезентативность) неуникальных компонентов и их соединение в одно целое, которое

и оказывается специфически балканским, «уникальной мозаикой» [Цивьян, 1990: 86].

В пилотный том БТ войдут те аспекты концепта «начало», которые обсуждались на «Балканских чтениях 13». Вот список тем, являющийся по существу нашими пропозициями к БТ:

В *начале начал* – палеобалканистика и античность (как предбалканистика).

Категория *начала* в языке (синхрония и диахрония, парадигматика и синтагматика в широком смысле; уровни языка; *дейксис*, глагольные категории, таксис; лексика, семантика).

Начало в тексте, словесном и несловесном (структура *начала*; маркированные зачины и формулы, клише, мотивы, сюжеты; статика / динамика и др.).

Начало в проекции на пространство (мифо-ритуальный сценарий творения мира и творения человека).

Начало в проекции на *время* (сополагающиеся понятия в обрядовых календарных и семейных циклах).

Итак, *начало* предстает *разным* и в *разном*: лексема – термин – концепт; текст, словесный и несловесный (сочетающий разные коды – визуальный, акустический, предметный и т.д.), но одновременно и *единым*, как своего рода *signum primum*, или «знак открывающий». Такой ракурс вводит *начало* во владения семиотики с ее (прежде всего) классифицирующей ролью. *Начало* закладывает порядок: оно *открывает* и тем самым выстраивает сотворение мира, сотворение человека; оно *открывает* миру человека, а человеку – мир.

Далее в статье в проекции на концепт *начала* мы излагаем некоторые фрагменты будущего БТ, которые выкристаллизовались после чтений (на основе прочитанных докладов и дискуссий) и которые показали нам перспективными:

1. *Начало* в ракурсе балканской картины мира: отмеченные точки сценария жизни человека в проекции на время и пространство;

2. Формулы *начала* (зачины, запевы и т.д.): примеры из балканского текста;

3. Лингвистический подход к БЯС и к проблеме балканизмов (структура коммуникации).

1. *Начало* в ракурсе балканской картины мира: отмеченные точки сценария жизни человека в проекции на время и пространство

Это прежде всего тексты о *начале* как таковом, о первом появлении, о творении и сотворении и далее о «первоизменениях». Объяснение первопричин и установления космического порядка, усвоение мира человеком и легитимация его поведения содержится в жанрах этиологических легенд, преданий и поверий [Белова, 2015]⁸. Заранее заметим, что наряду с универсальными мотивами в этих текстах отчетливо выступают и сугубо балканские черты (творение мира в борьбе добра и зла, дуализм, предположительно отсылающий к иранским корням, – богомильство или манихейство).

Далее, «начало» переходит в ритуальную сферу и соотносится как с демиургической деятельностью, так и с магическим восприятием активного *начала* в целом. Приведем пример отмеченности начала в сюжете «начало дела», связанном со строительными обрядами. Универсальный мотив «строительной жертвы» получает в балканском пространстве подчеркнуто трагическое воплощение. По поверьям, при *начале* / закладке строения (моста, монастыря и т. д.) в фундамент замуровывают человека, поскольку постройка требует жертвы. Именно на Балканах эти мотивы получают последовательное воплощение (см. от баллады «Мастер Маноле» и др. до «Моста на Дрине» Иво Андрича [Иванов, 2001]). В *текст начала* вписываются реликты древнебалканских представлений о тени как хранительнице постройки [Плотникова, 2009], ритуальные акты по выбору места при постройке, и это приводит исследователя к неизбежности комплексного подхода к концепту, который включает в себя самые разные уровни значения и его выражения, формы. Взаимосвязанность всего «разного» проявляется в том, что одна тема (сфера) выводит в другую и смыкается с ней. Закладка фундамента дома представляет собой насыщенный магически-ритуальный сценарий, в который включены запреты и рекомендации, поверья и благопожелания, представления о негативной вредительской магической практике [Плотникова, 2015]. Параллельно формируется общий словарь, где в данном случае (как, впрочем, и во многих других), фиксируется слой турцизмов (ю.-слав. *темел* 'фундамент' и др.). Здесь эксплицируется взаимосвязанность всех компонентов «балканского текста»: ритуалов, мифов и легенд, поверий, лексики.

⁸ При работе над БТ сравнение с небалканскими славянами очень продуктивно и является важным методологическим принципом исследований. Особое значение здесь получает фундаментальный труд «Славянские древности» [СД, 1–5].

Так, при изучении строительных обрядов (как и любой другой «материальной» области) можно перекинуть мостик к языку – к установлению набора лексических балканизмов. Эта тема имеет первостепенную важность для БТ, поскольку высокая степень лексической проницаемости позволяет установить коммуникативные механизмы, действующие в балканском пространстве (структуру «балканского полилога»). Из множества примеров балканского словаря отметим семантические балканизмы (так, балканский полисемический глагол «хватать» включает в себя сему «начинать», «приступать», общую для всех словарей БЯС [Седакова, 2009]).

Начало в календаре

Именно как «разное в разном» эксплицирует и имплицитует себя тема «начала» и в балканском ритуально-обрядовом календарном континууме. Календарь можно представить в виде многоаспектного словаря, который включает календарную терминологию, каталог магических действий, их участников (исполнители и аудитория), фольклорных текстов, этикетных реплик и т.д. Это позволит перейти далее к классификации словесных (сюжеты, свод правил) и несловесных текстов (музыка, визуальное оформление, мизансцены). *Начало* в календарном, т.е. темпоральном, воплощении интерпретируется как одна из основных универсалий природного и культурного времени в рамках оппозиции «род / вид». Эта тема как «родовая», выстраивающая, проходит через весь календарь, однако «видовые» формы развиваются в конкретных праздниках и обрядовых комплексах и в разных балканских ипостасях.

Обязательной составляющей ритуального календаря являются магические акты продуцирующего, превентивного и мантического характера, направленные на *начало* и особенно на *первое* (*впервые*). *Первое* моделирует будущее, в *начале* уже заложены и процесс, и его результат (отсюда отчасти и приуроченность гаданий к начальному периоду, и развернутая система примет и предсказаний, то есть направленность в будущее). Обозначить *начало* чаще важнее, чем *конец*, в связи с большей семантической, символической и семиотической нагруженностью *первого*, *нового* в сравнении с *последним* и *старым* [Валенцова, Седакова, 2004; Валенцова, Узенева, 2004; Виноградова, Толстая, 2004].

Балканские схождения в ситуации *начала* в календарных обрядах, весеннее-летних – 1-е марта (бело-красные нити «мартеницы» и обходы с ласточкой, поверья о старухе Марте и др.), Вербное воскресенье («цветочные» именины в православии балканских славян), Троица (магические акты с орешником, русалии) – и святочно-новогодних (первый посе-

титель, сжигание полена «бадняк» и др.) обсуждались на наших круглых столах и в соответствующих публикациях [Мартеница, 2008; Salix Sonora, 2011; Троица, 2012; Начало, 2014]. Уже эти примеры поставили глобальные вопросы: существует ли абсолютное и единственное *начало* или оно мультиплицируется, дробится на «предначала», какова семантическая связь начала и конца, темпорально соприкасающихся друг с другом (переходящих друг в друга)?¹ Это особенно важно в мифопоэтической интерпретации годового времени, которое мыслится и как циклическое (бесконечно повторяющееся, по мысли Мирчи Элиаде), и как линейное, отрезок с маркированным началом и концом.

На примере рождественско-новогодней обрядности эта специфика особенно заметна. Начало лексически прочитывается в обрядовой терминологии; на предметном уровне оно представлено через *первое, новое, молодое* (в подчеркнутом противопоставлении *старому*) или через семантику *рождения, появления, вхождения, встречи*. Семантика рождественско-новогоднего начинания и обращенности к будущему восстанавливается с помощью наивной этимологии: так, в Болгарии рождественское полено *бъдник*, по народной мысли, горит, *за да бъде* – «чтобы было», то есть чтобы не наступил конец – антипод началу, *за да са светли бъдниците* – «чтобы будущее было светлым», ср. также *На Бъдни вечер каквото помислим, ще се сбъдне* – «Что задумаем в Сочельник, то и сбудется» [Седакова, 1984: 69].

Начало как нельзя ярче иллюстрируется насыщенным вербальным и акциональным кодом «магии первого дня». Приветствия, поздравления, благопожелания, заклинания, приговоры, молитвы и песни построены на мотивах плодородия, здоровья, процветания и богатства.

Рассматривать *начало* следует как установление космического порядка и обеспечение развития (света, роста, новой жизни и пр.), сменяющее хаос и разрушение (угасание, уменьшение, уничтожение и пр.), и этот переход, подобно всем переходам в традиционных культурах, маркирован как время лиминальное, опасное, демоническое².

В рождественско-новогоднем периоде есть несколько *начал*, что полностью соответствует логике традиционной культуры: повторение, мультипликация усиливают действенность ритуала. Христианская тема *нача-*

¹ Но ср. также синонимию обозначений начала и конца как граничных точек [Асенова, Дукова, 2015].

² Приведем пример безусловного, по нашему мнению, балканизма: сезонные (в основном) святочные демоны *караконджолы* (об этом см.: [Bernard, 1970]).

ла в зимнем календаре безусловно задается праздником Рождества Христова, но в балканском преломлении она начинает звучать за пять дней до Сочельника – в день св. Игнатия (20.12. ст. ст.), что подтверждается колядками (болг. *Замъчи се Божя майка от Игнажден до Коледа та роди млада Бога* «Начались родильные муки у Богородицы с Игнатиева дня до Рождества, и родила она юного Бога»). Раннезимние праздники конца ноября и декабря тоже несут в себе мотивы *начала* и *первого* или «оповещают о приближении нового года», как греческий день св. Минаса (11.11.), который семантизируется из народной этимологии $\mu\eta\nu\acute{o}$ ‘уведомлять, извещать, сообщать’ [КОО, 1973: 309].

Размытость границ *начала* соотносится с еще одной особенностью народной обрядовой культуры – различной приуроченностью одинаковых обрядов и магических актов. Обряд первого посещения (*полазник*) может выполняться начиная со дня св. Андрея (30.11), а также в дни св. Варвары (4.12), Св. Саввы (5.12) и св. Николая (6.12), в Игнатов день, в Рождественский сочельник, на Новый год и Крещение. Через несколько праздников рождественско-новогоднего периода проходит, повторяясь, одна сквозная тема. Так, птицеводческая магия у балканских славян может быть приурочена ко дню св. Игнатия, Сочельнику, Новому году. Повторяются обрядовые трапезы, окуривание дома и хозяйственных помещений, выпечка хлебов, девичьи гадания и др. Однако некоторые компоненты святочно-новогодних обрядов не повторяются и не меняют своей темпоральной конкретности. Так, например, рождественское полено (серб. *бадњак*, болг. *бъдник*, алб. *buzem, buzmi bujar* и др.) заготавливается строго к Сочельнику и зажигается в ночь на Рождество [Толстой, 1995: 142–148]. В этом центральном для Рождества обряде, известном в Южной Славии, Греции и Албании, частично в Румынии, просматривается культ огня и солнца, в соответствии с зимним солнцеворотом [Плотникова, 2004: 95–102]. Кроме того, в рождественском бадняке, так же как и во многих других обрядовых актах святочного периода, видится культ предков [Топоров, 1976], то есть возвращение к *началам*.

Начало и рождение человека

Рассмотрим вкратце еще один комплекс, непосредственно связанный с началом: рождение человека и родинный обрядово-магический контекст. Если в календарном начале на первое место выдвигалась семантика *природных изменений* (увеличение светового дня и его семиотическое и хозяйственно-аграрное осмысление), то в родильном цикле в центре находится *человек*. И опять же здесь не приходится говорить о рождении,

появлении на свет как об абсолютном начале. Рождение ребенка вписано в свадебный сценарий для новобрачных как универсалия, но особенно четко оно детализировано на Балканах [Седакова, 2007]. Более того, рождение детей моделируется в самом начале родильного цикла, когда ряд магических актов нацелен на то, чтобы младенец впоследствии стал родителем. *Начало* в равной степени апеллирует к прошлому (поиски первоначала, объяснение сущего), настоящему и будущему (магия начала).

Так же как и в календарных обрядах, для жизненного сценария человека можно говорить о нескольких *началах*, даже если речь не идет о смене статуса, а только о младенчестве. Так, все *первое* направлено на удачное благополучное начало, которое приведет к успешному продолжению: первое купание и пеленание, помещение в колыбель, кормление грудью и т. д. Именование, наделение ребенка именем, согласно архаичной балканской традиции, не только вводит в социум нового человека, означает начало его социальной жизни, но при этом всегда апеллирует к роду, к именам старших, стоящих у истоков семьи. *Первое*, как *начальное*, максимально нагружено с точки зрения семиотических, семантических, магических и пр. параллелей и выражается в обилии ритуальных действий и регламентаций, а также в благопожеланиях, которые во многих своих формулах являются именно общебалканскими, включая и общебалканскую лексику.

2. Формулы начала (зачины, запевы и т. д.): примеры из балканского текста

Начало как элемент структуры текста пользовалось значительно меньшим вниманием в балканистике, чем можно было бы ожидать. Несколько нам известно, до сих пор не появилось теоретическое описание *начала* в структуре балканского текста, хотя есть ряд исследований, посвященных началам в структуре текстов разных жанров. В данном разделе мы резюмируем результаты обсуждения этой темы на Балканских чтениях 13 «Балканский тезаурус: *начало*» (см. сборник [БЧ, 2015], который на настоящий момент является самой большой антологией таких работ), делая опыт создания теоретической рамки для обсуждения структурных особенностей балканских текстов, принадлежащих к разным балканским традициям и создаваемым на разных балканских языках.

При всей очевидности и прозрачности понятия *начало* (ср. классическое определение Аристотеля: «Начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим, а <напротив,> за ним естественно существует

или возникает что-то другое»³) как минимум один вопрос нуждается в прояснении: как определить, где начало кончается? Есть ли у него особые маркеры, которые отличали бы его от основного текста? Помимо теоретической значимости этой проблемы для понимания структуры текста, у нее есть и одно совершенно практическое измерение: можно ли определить исходное место фрагмента, если целый текст не сохранился?

Конечно, тексты могут сильно различаться по структуре, и есть ряд текстов, основной приметой которых является строгость формы, например тексты-перечни разного вида, как «парадигмы однородных в каком-то отношении элементов, составляющих некое «родовое» целое», часто являющиеся фрагментами более объемных текстов [Толстая, 2015: 221]; перечни (обрядовых) действий⁴ и т. д. *Начало* такого фольклорного текста-перечня маркирует либо главный член ряда, либо точку отсчета для линии восхождения, другими словами, является маркированным элементом, задающим перспективу текста. Для таких текстов характерен изоморфизм структуры (начало является всего лишь первым элементом в ряду, не отличаясь принципиально от остальных элементов).

А, например, для стилистики комедий Аристофана характерно использование в *начале* обращения к публике (часто с маркерами «я разъясню / я изображу»), и если такая конструкция встречается в некотором отдельно сохранившемся фрагменте, то правомерно ли было бы отнести ее к началу исходного текста? Можно ли считать такого рода обращения эксклюзивными показателями *начала* и на их основании однозначно отнести фрагмент к началу [Новохатько, 2015]?

Признаком *начала* может быть повышенная концентрация дейктических элементов⁵. Ср. античную комедию, где «дейксис выступает <...> необходимым элементом своего рода временного и пространственного привязывания зрителя к действию пьесы» [Новохатько, 2015: 47]. Кроме того, языковой жест часто сопровождается физическим жестом, когда говорящий указывает на разные предметы, находящиеся на сцене⁶. Смена

³ Перевод М. Л. Гаспарова, цит. по [Забудская, 2015: 38–39].

⁴ Классическим образцом такого текста является «Повесть конопля» [Цивьян, 1977].

⁵ Это не значит, что дейктические элементы не используются в основном тексте, но там их концентрация гораздо ниже.

⁶ Примечательно, что метафора сцены используется для учебных описаний дейксиса артиклевых языков. Так, в курсах по болгарскому языку иногда рекомендуют при вопросе о том, следует ли употреблять определенный артикль, представлять себе пространство текста в виде сцены, на которой находятся

места, времени (указание на которую вводится через смену действительных маркеров), персонажа и художественного приема могут являться приметой перехода от *начала* к основному тексту (случай «Энеиды», см.: [Теперик, 2015]); указание на реальное место и время, т. е. использование действительных элементов, характерно в зачине былички (о новогреческой традиции см.: [Климова, 2015]). В албанских, болгарских и македонских мифологических балладах *начало* маркируется при помощи особенного употребления косвенных эвиденциалов (частота их использования в начале значительно выше, чем в основном тексте [Макарцев, 2014: 249–252], и это поднимает проблему изоморфизма *начала* всего текста и *начал* эпизодов в тексте: в рамках структуры текста косвенные эвиденциалы тяготеют к стыкам между эпизодами, появляясь, соответственно, или в абсолютном конце, или в абсолютном начале эпизода [Макарцев, 2014: 249–252]).

Для описания *начала* как элемента структуры текста, помимо рассмотрения его возможных маркеров и определения его конца, необходимо также остановиться на стратегиях связывания *начала* с основным текстом. Здесь вслед за Я. Л. Забудской [Забудская, 2015] можно говорить о двух стратегиях: парадигматической и синтагматической. Для парадигматической характерно слабое связывание начала с основным текстом⁷, а синтагматическая подразумевает сильное связывание. В древнегреческой трагедии «начало – парод либо пролог – содержали в себе основную часть информативного элемента текста» [Забудская, 2015: 38]⁸, другими словами, *начало* задает в себе продолжение; в идеальной ситуации на основе начала можно предвидеть некоторые черты целого. Ср. другие античные тексты, например «Энеиду», где начало задает «силовые линии» поэмы. Зачин *arma* ‘оружие’ раскрывает конфликт: «различные черты характера человека на войне проявляются и через его отношение к оружию, поскольку для одного персонажа оно, в том числе и доспех врага, в первую очередь, – предмет гордости и любования, в то время как

участники и декорации: небо, солнце, какие-то предметы и т. д. Все, что уже присутствует на сцене к моменту высказывания, будет использоваться с определенным артиклем, а если некоторый предмет появляется на сцене впервые, то он будет использоваться без артикля или с артиклеподобным показателем един.

⁷ Я. Л. Забудская, говоря о парадигматической связи пролога с основным текстом трагедии у Еврипида, упоминает ее «схематичность» и даже «механистичность» [Забудская, 2015: 37]: начальная часть присутствует в его текстах только как обязательный элемент, который строится в разных текстах единообразно.

⁸ Конечно, если связь между началом и текстом не парадигматическая.

для другого – всего лишь необходимое для ведения войны средство» [Теперик, 2015]. Таким же образом в фольклорных текстах начало может указывать на содержание или заранее раскрывать его через время и место событий («хронотоп былички»), а также номинацию явления или мифологического персонажа, о которых пойдет речь в тексте [Климова, 2015: 236].

Оппозиция по парадигматической / синтагматической связи *начала* с основным текстом выделена по формальным признакам (наличие / отсутствие элементов, отсылающих к содержанию основного текста), таким образом, она может использоваться для описания текстов разного времени и разной языковой традиции. Так, представляется перспективным приложить эту оппозицию к описанию албанского народного песенного эпоса, где можно выделить два вида *начала*: *запевы* и *зачины* [Жугра, 2015].

Запевы обычно представляют собой формульные выражения, содержащие хвалу и благодарность Богу (например, *Lum e lum e i lumi Zot* ‘благ и благ благий Господь’⁹). Вторая строка (при ее наличии) содержит объяснение («за то, что Он нас создал» и под.). *Запевы* не связаны с содержанием основного текста, «они задают определенную тональность благодаря употреблению лексемы *lum* с ее комплексом „мажорно-радостных значений“», а также «объединяют рапсода с аудиторией благодаря использованию местоимения *na* ‘мы’ и глагола в 1 л. мн. числа» [Жугра, 2015: 227]. Отметим, что, поскольку синтагматически *запев* не связан с основным текстом, он может использоваться для песен с разными сюжетами, являясь своего рода характерной приметой жанра¹⁰. Кроме того, *запевы* не характерны исключительно для *начала*: они могут встречаться и в основном тексте. Возвращаясь к албанскому песенному фольклору: лексема *lum / i lumi* является исключительно частым в песнях эпитетом при упоминании Господа, а формула «Господь нас создал / нам даровал и т.д.» может быть инкорпорирована в текст: *Me kenë puna si thua ti, / T'kurrnjant motra mos me u martua, / As u e ti nuk kim me kenë. / Motra t'huja babat na kanë marrë, / Mua e ty Zoti na ka falë* (‘Если бы было так, как говоришь ты, / Ни за кого сестра чтобы не вышла, / Ни меня, ни тебя бы не

⁹ Дословный перевод в данном случае невозможен, см. анализ конструкции: [Жугра, 2015: 226–227].

¹⁰ Ср. традиционный запев румынских дойн *frunză verde* ‘лист зеленый’, который повторяется с минимальными вариациями («лист цикория зеленый», «лист зеленый, лист рябины», «земляники лист резной», «лист зеленый, куст калины», «лист бобовый вырезной» и т.д. [Прокофьева, 2006: 138–139]).

было. / Наши отцы женились на чужих сестрах, / И тебя, и меня Господь [им] даровал' [Këngë popullore, 1955: 37]. Как видно, в этом случае личное местоимение *na* 'нас' содержит отсылку не к аудитории, а к действующим лицам (в чем проявляется его шифтерная природа). Существенно, впрочем, что в зависимости от места формулы в тексте меняется и ее роль (формула в *начале* связывается с текстом парадигматически; формула в основном тексте связана с ним синтагматически).

В отличие от *запева*, *зачины* в албанском песенном эпосе инкорпорируются в текст (т. е. связаны с ним синтагматически). Они «указывают на время и место происходящего, называют персонажей, подготавливают слушателей к восприятию повествования» [Жугра, 2015: 228]. Зачин может иметь разную форму, например имя + характеристика героя. Тогда он, как правило, следует формуле *Kur ish kenë X* 'когда был X', где *kur* используется как дейктический элемент ('вот', 'как'), маркер некоторого условного фольклорного прошлого. В некоторых зачинах описывается утренний подъем героев и их подготовка к подвигам: *N'natje heret Mua si m'â çue, / mirë â mbathë, mirë â shtërngue, / zjarmin n'votër e ka ndezë, / mirë ma pin kafen me sheqer* 'Рано на рассвете Муио поднялся, / хорошо обулся, хорошо снарядился, / огонь в очаге разжег, / хорошо мой Муио (досл. «мне», dat. eth.) пьет кофе с сахаром' [Жугра, 2015: 230] (с подробной классификацией такого рода зачинов). Отметим, однако, изоморфизм абсолютного начала текста началам эпизодов в тексте: *Kur ka dalë sabah drita e bardhë, / Heret Halili kenka çua, / Â bâ gadi n'shpi me shkua; / N' shpinë gjogut i paska ra, / Kenka nisë n'Budinë me kthye* 'Когда пришло утро, белый свет, / Рано Халиль встал, / Приготовился домой ехать; / На спину коня сел, / Отправился в Будин-град' [Këngë popullore, 1955: 37], – эпизод описывает очередное передвижение героя баллады, которому предшествовали введение, клятва и сватовство, соответственно приведенный фрагмент никак нельзя отнести к зачину песни, пусть он формально с ним и совпадает.

Вторая важная оппозиция для описания *начала* как структурного элемента текста – ориентация на слушателя (читателя) / ориентация на текст. *Начало* может быть обращено к слушателям (читателям), вовлекая их в пространство текста через определенные маркеры, или ориентироваться исключительно на содержание. Такие стратегии в конечном счете восходят к граничному статусу *начала* текста: оно обращено и вовне (ориентация на слушателей / читателей), и внутрь текста (ориентация на содержание).

Ориентация на слушателя (читателя) предполагает вызывание у них эмпатии к сюжету и персонажам: ярким художественным приемом здесь является употребление инклюзивного ‘мы’ (см. выше об использовании *na* ‘нас’ в албанском эпосе), через которое реципиент и рассказчик включаются в пространство текста; конечно, способы вызывания эмпатии этим не ограничиваются. Здесь и установка на лирический характер текста (например, описание эмоций героя в начальных частях книг «Энеиды», задающее тональность для восприятия трагического финала [Теперик, 2015]). Такого рода примеры можно умножать до бесконечности как на балканском, так и на более широком материале¹¹.

Предполагается, что *начало* является одним из важных «знаков Балкан», это структурный элемент, который может обладать собственными параметрами, отличными от основного текста. Сопоставительный анализ *начал* балканских текстов в рамках Балканского тезауруса позволит показать на материале всех балканских языков и традиций особенности парадигматической и синтагматической связи *начала* с основным текстом, описать формулы *начал* и создать их балканский инвентарь. Как видно из предварительного подступа к теме, сопоставление балканских текстов разных традиций и разного времени (античная драма, современная литература, фольклор...) может быть плодотворно и раскрывает некоторые константы в функционировании *начала* и *начал* на Балканах.

3. Лингвистический подход к БЯС и к проблеме балканизмов (структура коммуникации)

Анализ дейксиса в грамматической структуре балканского языкового союза (БЯС) кажется в этом отношении весьма перспективной темой. В основу анализа в данном случае положен коммуникативный аспект (предполагаемый стимул формирования БЯС)¹². Дейктические элементы и конструкции можно рассматривать в качестве «коммуникативного кар-

¹¹ Например, аналогичный прием используется в романе М.Кэртэреску «За что мы любим женщин»: начальное клише, обычно содержащее в себе обращение к читательнице, нацелено на диалог с ней и эмпатию, чтобы вовлечь ее через это в литературную игру [Романова, 2015], другими словами, ориентировано на аудиторию.

¹² О дейксисе в системе болгарского глагола и о балканских партикулах = «звуковых жестах» в кругу понятия «эмфатического дейксиса», или «дейктической эмфазы», см.: [Цивьян, 2015].

каса» грамматики БЯС. Тогда бюлеровское *ich – hier – jetzt* будет определять самоидентификацию индивида и его диалог с *du* или *sie*, т. е. *начало* / основу коммуникативного акта с одним или несколькими собеседниками (ситуация балканского многоязычия). В современной когнитивистике, где дейксису отводится весьма важное место, главное внимание уделяется синтагматике, т. е. разбору конкретной ситуации на уровне дискурса, текста, предложения.

Еще в 1979 г. при описании синтаксиса балканского языкового союза было предложено выделить на лексико-грамматическом уровне класс слов, тогда условно названный Z [Цивьян, 1979: 281 сл.]. Имелись в виду слова, принадлежащие к неполнозначным классам и изофункциональные им: артикли, предлоги, союзы, частицы, в частности фатические, междометия, местоименные и глагольные клитики, группы наречий, которые занимают в предложении фиксированное или во всяком случае более или менее предсказуемое место¹³. Речь шла, по сути, обо всем дейктическом арсенале БЯС.

В своей книге «Непарадигматическая лингвистика. История „блуждающих частиц“» Т. М. Николаева предложила вывести подобные языковые элементы за пределы частеречной классификации (т. е. за пределы парадигмы) и назвать *партикулами* [Николаева, 2008]. В БЯС *партикулы* становятся на синтаксическом уровне «протагонистами». На них держится каркас высказывания / текста, они «выстраивают» ситуацию, в которой происходит само- и взаимоотожествление персонажей – участников балканского диалога / полилога, т. е. реализуется коммуникативный акт. Приходят ли партикулы в синтагматику из парадигматики или уходят в парадигматику из синтагматики¹⁴ – в данном случае несущественно. Главное, что балканские языки выработали чрезвычайно интересную и разветвленную дейктическую систему, захватывающую и формальный, и семантический уровень и вносящую свой вклад в «поэзию грамматики». Тенденция к аналитизму в именной и глагольной парадигме, развитие системы артиклей, местоименная реприза, среди прочего ритмизирующая текст, как и живописный «балканский набор» междометий, его расцвечивающий, да, собственно, почти весь основной список балканиз-

¹³ О балканских местоименных клитиках см., в частности, статью Р. Бенаккио [Benacchio, 1988].

¹⁴ Отдаем себе отчет в том, что здесь возникает проблема курицы и яйца, но поскольку она имеет два решения, постольку у нас есть право выбора – в обе стороны.

мов, так или иначе включают партикулы. И если мы остаемся в рамках БЯС (в диахронии ли или в синхронии), то не стоит ли рассматривать дейктическую систему БЯС как некий *над-балканизм* – со всеми вытекающими отсюда следствиями?

В рамках БТ дейксис вообще и балканский дейксис предлагается рассматривать в широком когнитивном плане, выходя за пределы только языковой категории. Дейкуџи ‘указываю’, но этим не ограничиваюсь: *отождествляю, объединяю и противопоставляю* и, далее, *структурирую*. Дейктическое начало – первый «дорожный знак», первый шаг к логическим операциям, классифицирующим мир. Это – *начало*.

Заключение

В трех приведенных выше разделах представлены принципы систематизации и осмысления грамматического, лексического, мифологического и демонологического, обрядового и фольклорного материала, в котором скрывается / открывается, кодируется и воплощается идея *начала* в ее балканской версии. Совмещение разных аспектов изучения (ритуал, фольклорная формула, художественный текст, лексика, грамматика, синтаксис) при неизменном балканистическом ракурсе – отличительная черта этих исследований. По этой схеме, но в значительно большем объеме ведется работа над пилотным выпуском «Балканского тезауруса», который целиком будет посвящен «началу».

Список литературы

- Асенова П., Дукова У. Отыждествяване на представата за начало и край в балканските езици и култури // БЧ, 2015.
- Белова О. В. Этиологические мотивы в восточно- и южнославянских легендах о миротворении – общее и особенное // БЧ, 2015.
- Валенцова М. М., Седакова И. А. Первый – последний // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 3. М., 2004.
- Валенцова М. М., Узенева Е. С. Начало – Конец // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 3. М., 2004.
- Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Новый – Старый // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 3. М., 2004.
- Жугра А. В. Запевы и зачины в албанском эпосе // БЧ, 2015.
- Забудская Я. Л. Начало повествования в драматическом жанре: прологи древнегреческой трагедии // БЧ, 2015.

- Иванов Вяч. Вс.* К вариантам баллады о мастере Маноле // Homo Balcanicus: Поведенческие сценарии и культурные роли: Античность. Средневековье. Новое время. М., 2001 (Балканские чтения 6: Тезисы и материалы).
- Климова К. А.* Формулы зачина в новогреческих быличках // БЧ, 2015.
- Макарецов М. М.* Эвиденциальность в пространстве балканского текста. М., 2014.
- Николаева Т. М.* Непарадигматическая лингвистика: История «блуждающих частиц». М., 2008.
- Новохатько А. А.* Начало в тексте: о прологе древнеаттической комедии // БЧ, 2015.
- Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.
- Плотникова А. А.* Мифологические ипостаси тени на Балканах // Переходы. Перемены. Превращения: Балканские чтения 10: Тезисы и материалы. 31 марта – 2 апреля 2009 года / И. А. Седакова (отв. ред.), М. М. Макарецов, С. А. Сиднева, Т. В. Цивьян (ред.). М., 2009.
- Плотникова А. А.* Строительство дома у мусульман на Балканах: символика начала (по полевым материалам из Боснии, Сербии) // БЧ, 2015.
- Прокофьева И. Н.* О некоторых особенностях румынской народной поэзии // Вестник ПСТГУ III. Филология. 2006. Вып. III–2. С. 135–146.
- Романова А.* Зачин обращение к читателю как активизатор художественного кода («За что мы любим женщин» Мирчи Кэртэреску) // БЧ, 2015.
- Седакова И. А.* Лексика и символика святочно-новогодней обрядности болгар: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1984.
- Седакова И. А.* Балканские мотивы в языке и культуре болгар: Родины. М., 2007.
- Седакова И. А.* Балканские глаголы ‘хватать’: мотивы переходов и перемен в лексике и фразеологии // Переходы. Перемены. Превращения: Балканские чтения 10: Тезисы и материалы. 31 марта – 2 апреля 2009 года. М., 2009.
- Теперик Т. Ф.* Поэтика начала в структуре книги: «Энеида» Вергилия // БЧ, 2015.
- Толстая С. М.* С начала до конца: структура и магия перечней в фольклорных текстах // БЧ, 2015.
- Толстой Н. И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

- Топоров В. Н. Πυθών, Ahí Budhija, бадньак // Этимология – 1974. М., 1976. С. 3–15.
- Цивьян Т. В. «Повесть конопли»: к мифологической интерпретации одного операционного текста // Славянское и балканское языкознание: Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 305–317.
- Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
- Цивьян Т. В. Языковые союзы и балканизмы сегодня: вспоминая Н. С. Трубецкого // Kahl Th., Metzeltin M., Schaller H. (Hg). *Balkanismen heute – Balkanisms Today – Балканизмы сегодня. Balkanologie – Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Bd. 3. Wien; Berlin, 2012.*
- Цивьян Т. В. Предложения к «Балканскому тезаурусу»: дейктическая составляющая // БЧ, 2015.
- Benacchio, Rosanna. I pronomi clitici nelle lingue slave dell'aria balcanica // *Europa orientalis* 7. 1988. P. 451–469.
- Bernard, Roger. Le Bulgare караканджо „sorte de loup garou“ et autre formes Bulgares issues du Turc karakoncolos // Исследования в чест на академик Михаил Арнаудов: Юбилеен сборник. София, 1970.
- Kahl Th., Metzeltin M., Schaller H. (Hg). *Balkanismen heute – Balkanisms Today – Балканизмы сегодня. Balkanologie – Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Bd. 3. Wien; Berlin, 2012.*

Принятые сокращения

- АБ, 1972 – Античная балканистика (23–24 мая 1972 г.): Предварительные материалы (Тезисы докладов. Сообщения. Аннотации.). М., 1972.
- БЧ, 2015 – Балканский тезаурус: Начало (Балканские чтения 13: Тезисы и материалы. 7–9 апреля 2015) / Редкол.: М. М. Макарцев, И. А. Седакова, Т. В. Цивьян. М., 2015.
- ВЗ, 2007 – Восток и Запад в балканской картине мира: Памяти Владимира Николаевича Топорова. М., 2007.
- ВПБ, 1994 – Время в пространстве Балкан. Свидетельства языка. М., 1994.
- ЗБ, 1994 – Знаки Балкан. Т. 1–2. М., 1994.
- КОО, 1973 – Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX – начало XX в.: Зимние праздники. М., 1973.
- Мартеница, 2009 – Мартеница. Mărțișor. Март'с. Verore...: Материалы Круглого стола 25 марта 2008 года / И. А. Седакова (отв. ред.), М. М. Макарцев, Т. В. Цивьян. М., 2009.

- Начало, 2014 – Начало. Η αρχή. Fillimi. Încertul... Рождество и Новый год на Балканах: Материалы круглого стола 25 февраля 2014 года / И. А. Седакова (отв. ред.), М. М. Макарецев, Т. В. Цивьян (ред.). М., 2014. СД, 1–5 – Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 1–5. М., 1995–2012.
- СБЯ, 2003 – Славянское и балканское языкознание. Homo balcanicus: Поведенческие сценарии и культурные роли. М., 2003.
- Троица, 2013 – Троица. Rusalii. Певтѣкостѣ. Rrëshajët... К мотиву зеленого в балканском спектре: Материалы круглого стола 17 апреля 2012 года / М. М. Макарецев (отв. ред.), Д. С. Ермолин, И. А. Седакова, Т. В. Цивьян (ред.). М., 2013.
- Këngë popullore, 1955 – Këngë popullore legjendare. Tiranë, 1955.
- Salix Sonora, 2011 – Salix Sonora: Памяти Николая Михайлова / Ред. М. В. Завьялова, И. А. Седакова. М., 2011.

Сведения об авторах:

Цивьян Татьяна Владимировна, доктор филол. наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН. E-mail: tvcivjan@yandex.ru

Седакова Ирина Александровна, доктор филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. E-mail: irina.a.sedakova@gmail.com

Макарецев Максим Максимович, кандидат филол. наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН. E-mail: makarcev@bk.ru

Л.И.Жолудева

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ XVI ВЕКА

Истоки двойственности итальянской культурной идентичности, опирающейся одновременно на национальное самосознание и на региональный (или даже муниципальный) компонент самоидентификации, следует искать в эпохах, предшествующих политическому объединению страны. В этом отношении особый интерес представляет раннее Новое время. XVI в. для Италии был отмечен, с одной стороны, потерей большинством ее областей политической независимости, а с другой – столкновением с внешними силами, для которых Италия была неким единым культурным пространством, а жители разрозненных итальянских регионов – в первую очередь «итальянцами», а не «ломбардцами», «тосканцами», «неаполитанцами» и т.п. В данной работе мы сосредоточимся на языковых свидетельствах формирования сложной, «многослойной» итальянской идентичности в этот период. Материалом для статьи послужили лингвистические трактаты и исторические сочинения, относящиеся к XVI в.

Ключевые слова: итальянский язык, история итальянского языка, история Италии, национальная идентичность, этнонимы.

The ambiguity of Italian cultural identity, national and regional (if not urban) at the same time, can and should be traced back to early periods of the Italian history, long before the establishment of Italy as a national state. In this respect, early Modern times are worth considering, as this period of the Italian history was marked, on the one hand, by the loss of political independence by the majority of its lands, and on the other, by encountering external pressure. In the worldview of those who domineered Italy in the period in question this territory had somewhat of a common identity, and its population was looked upon as Italians rather than Lombardians, Tuscans, Neapolitan, etc. In the present paper we will focus on the linguistic manifestations of how the „multilayer“ Italian identity was developing in the XVI century; the material under analysis includes historical and linguistic treatises.

Keywords: Italian language, history of Italian language, history of Italy, national identity, ethnonyms.

Проблема итальянской национально-культурной идентичности не теряет своей актуальности и поныне, что неудивительно: Италия – одно из относительно молодых национальных государств Европы. За последние годы появилось немало исследований, посвященных специфике итальянской идентичности, ее доминантам и процессам ее формирования

(см., в частности, [Atti, 2009; Шевлякова, 2011; Муравьева, Явнилович, 2015]). Однако в подавляющем большинстве случаев в центре внимания исследователей оказывается лишь один период итальянской истории – относительно близкий к современному (XIX–XX вв.). Некоторые из авторов (см. [Calabrese, 2009: 36]) напрямую заявляют о том, что до объединения Италии можно говорить лишь о ее «географическом» восприятии, причем преимущественно извне: к примеру, концепт «Италия» в XVIII–XIX вв. входил в картину мира путешественников из Англии и Германии, любителей древней истории, искусства и южной природы.

Наряду с относительно поздним возникновением национального государства всеобщее внимание привлекает тот факт, что до настоящего времени итальянцы ощущают себя не только гражданами своей страны, но и – зачастую в первую очередь – уроженцами определенного региона и / или города. В силу этой ее особенности итальянскую идентичность описывают как «многоуровневую», «размытую» [Шевлякова, 2011: 7–11], «неустойчивую» и «текущую» («incerta e ondivaga», [Galli, 2009: 48]). Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2008 г. [Galli, 2009: 48–49], для 76% итальянцев их малая родина остается основным компонентом идентичности, тогда как национальную идентичность 48% не считают для себя чем-то постоянным и неотъемлемым.

Истоки двойственности итальянской идентичности, одновременно национальной и региональной / муниципальной, следует искать в эпохах, предшествующих политическому объединению страны. В этом отношении особый интерес представляет раннее Новое время, поскольку именно тогда, на фоне возникновения и укрепления европейских государств нового типа – национальных, с централизованной системой управления, – итальянские земли оказались не готовы к объединению и, почти в полном составе лишившись политической самостоятельности, превратились в предмет дележа для более «успешных» соседей – Франции, Испании, Священной Римской империи. По результатам Като-Камбрезийского мира 1559 г. большая часть Италии вошла в состав испанских владений. Испанская гегемония продлится фактически до XVIII в., когда в борьбу за итальянские земли включится Австрия.

XVI в., таким образом, для Италии был отмечен, с одной стороны, потерей политической независимости ее областей, а с другой – столкновением с внешними силами, для которых Италия была неким единым культурным пространством, а жители разрозненных итальянских регионов – в первую очередь «итальянцами», а не «ломбардцами» или «тосканцами». Даже если

мы примем точку зрения, что применительно к XVI в. об Италии можно говорить лишь как о географическом понятии, нельзя не заметить все более частое употребление слов «итальянцы», «итальянский» – не только иностранцами, но и самими жителями Апеннинского полуострова. XVI в. в истории итальянского языка – важнейшая эпоха: эпоха его описания, кодификации, рефлексии над характером и перспективами его функционирования в качестве нового европейского языка культуры, литературы и формирующейся нации. В данной работе мы сосредоточимся на языковых свидетельствах формирования сложной, «многослойной» итальянской идентичности в этот период. Материалом для статьи послужили лингвистические трактаты и исторические сочинения, относящиеся к XVI в.

* * *

Языковая концептуализация итальянской идентичности в первых грамматиках итальянского языка более подробно рассматривается в статьях, посвященных именно этой теме [Жолудева, 2013; Жолудева, 2015]; однако наряду с грамматиками в собственном смысле слова не менее интересными оказываются и другие труды, составляющие часть итальянских «споров о языке» – *questione della lingua*.

На фоне европейских лингвистических трактатов эпохи Возрождения и раннего Нового времени итальянские сочинения выделяются особым вниманием к проблеме, которая стороннему наблюдателю могла бы показаться несущественной и даже надуманной: как должен называться литературный язык Италии? Чаще всего предлагались наименования «вольгаре», «флорентийский», «тосканский» и «итальянский». Некоторые из участников языковой полемики посвящали этому вопросу отдельные работы: см., к примеру, «Чезано» Клаудио Толемеи (1520-е гг.; 1-е изд.: 1555), «Хранитель замка» Джанджорджо Триссина (1528) и «Диалог о языке» Никколо Макиавелли (1524–1525); последние два автора в пылу спора призывают в свидетели тень самого Данте. Вопрос о названии языка, по всей видимости, не случайно столь эмоционально обсуждался именно в Италии; неслучайным кажется и совпадение вариантов названия с основными «слоями», уровнями самоидентификации – национальным, региональным и муниципальным. Что касается названия «вольгаре», которым особенно охотно пользовались гуманисты круга Пьетро Бембо, в нем можно увидеть отсылку к более раннему этапу лингвистической полемики, когда основной темой была апология родного (*volgare* – «народного») языка, противопоставленного латинскому [Степанова, 2000: 13–34; Косарик, 1994; Kossarik, 2002].

Таким образом, в итальянских спорах о названии языка отражается поиск интеллектуалами XVI в. концептуальной основы для самоидентификации итальянского культурно-языкового единства. Это единство возникает «от противного» – в окружении соседей, чья национальная, культурная, языковая и политическая самоидентификация уже не была предметом серьезной полемики (характерно, что название соответствующих языков не становится предметом столь широкого обсуждения ни во Франции, ни в иберо-романских странах).

С современных позиций, пожалуй, наиболее логичной представляется аргументация сторонников «теории придворного языка» (фактически речь шла о койне на тосканской основе), предлагавших присвоить общему для Италии литературному языку название «итальянский». Среди них наибольшим влиянием и известностью пользовался Джанджорджо Триссино, в своем трактате «Хранитель Замка» писавший о названии языка так: «*Veramente tutto il mondo nomina „lingua italiana“, sì come anchora fa „lingua greca“, „lingua hebraea“ e simili. E poi i tedeschi, i spagnuoli e le altre nazioni che hanno un poco di cognizione de le lingue d'Italia, ogni cosa che vedeno scritta in qualunque di esse dicono esser scritta in lingua italiana. E dicono il vero*» (G. Trissino, «Castellano». 35). Триссино, дипломат по основному роду занятий (как и большинство его единомышленников) и человек с государственным мышлением, раньше многих своих современников почувствовал необходимость в таком наименовании литературного языка, которое подразумевало бы его объединяющую роль. Триссино также отдавал себе отчет в том, что образ Италии как пространства, единого в культурном и языковом отношении, уже сложился за ее пределами. У не-итальянцев он сложился раньше, чем у самих жителей полуострова, возможно именно в силу того, что они не вполне осознавали глубину исторических, культурных, языковых и прочих различий между итальянскими регионами.

Что касается так называемых «тосканистов» и «флорентинистов», среди которых особенно известны флорентинец Никколо Макиавелли и сиенец Клаудио Толомеи, их точка зрения по вопросу названия языка полностью соответствует их собственным моделям идентичности – «муниципальной» в случае Макиавелли, настаивавшего на варианте «флорентийский», и «региональной» у Толомеи, сторонника «тосканского».

Представляется также любопытным, что основной вклад в кодификацию формирующейся итальянской языковой нормы внесли не «придворные», не «тосканисты» и не «флорентинисты», так много внимания уделявшие названию языка, а «архаисты», уроженцы Севера Италии, среди

которых Франческо Фортунно, автор первой опубликованной грамматики, и Пьетро Бембо, самый авторитетный грамматист своего времени и последующих эпох. Для них название языка было не столь важным (они часто используют термин «вольгаре», но наряду с ним можно встретить и все прочие варианты), возможно, именно потому, что они не отводили языку столь важной социальной роли. Грамотное и элегантное использование «вольгаре» для них было скорее социальным маркером, чем элементом национальной или региональной самоидентификации¹⁵.

* * *

В отличие от филологов-гуманистов XVI в., их современники-историки не могли не осознавать то, как – фактически на их глазах – возрастала роль национальной самоидентификации. Если взгляд гуманистов по-прежнему, как и на два столетия раньше, был обращен в прошлое, к античной культуре и древней истории Италии¹⁶, то сочинения Франческо Гвиччардини, Никколо Макиавелли и других историографов отражают новый взгляд на происходящее. Здесь, как и в лингвистических сочинениях «придворных» и «флорентинистов», особенно ярко проявляется многослойный характер идентичности авторов. Так, Макиавелли в предисловии к своим «Флорентийским историям» («Istorie fiorentine», 1532) пишет: «...*deliberai cominciare la mia istoria dal principio della nostra città. E <...> descriverrò particolarmente, insino al 1434, solo le cose seguite drento alla città, e di quelle di fuori non dirò altro che quello sarà necessario per intelligenza di quelle di drento*». Подобный взгляд на Флоренцию как на город-государство со своей собственной историей, непрерывной от античности до наших дней, был характерен и для более ранних сочине-

¹⁵ О «вреде» муниципализма флорентийцев Пьетро Бембо в «Рассуждениях о народном языке» пишет так: «l'essere a questi tempi nato fiorentino, a ben volere fiorentino scrivere, non sia di molto vantaggio. Perciò che, oltre che naturalmente suole avvenire, che le cose delle quali abondiamo sono da noi men care avute, onde voi toscani, del vostro parlare abondevoli, meno stima ne fate che noi non facciamo <...>. Ma gli altri, che toscani non sono, da' buoni libri la lingua apprendendo, l'apprendono vaga e gentile». Контакт с живым узусом оказывается для языка вредным, поскольку лишает его необходимого элитаризма, свойственного исключительно языку образованных людей. Литературный язык в идеале видится Бембо как оторванный от реальной территориальной базы и основанный лишь на узусе строго отобранных писателей в произведениях высоких жанров.

¹⁶ Не случайно Петрарка был в числе тех, кто горячо поддержал восстание под предводительством Кола ди Риенцо (1347), провозгласившего возврат к ценностям и идеологии республиканского Рима.

ний, – см., к примеру, «Новую хронику» Джованни Виллани (XIV в.), где история Флоренции начинается с последствий Троянской войны. Однако в случае Макиавелли подобное видение истории родного города не мешает восприятию Италии как единства, пусть хотя бы историко-географического.

Характер самоидентификации Макиавелли проявляется в использовании понятия «nazione» и этнонимов. В случае с завоевателями этнонимы употребляются широко, и это не только общее обозначение германцев «barbari», но и названия конкретных этнических общностей («longobardi», «visigoti», «svevi», «eruli», «burgundi», «vandali», «goti», «turinghi»). В то же самое время Макиавелли тщательно избегает этнонимов, когда речь заходит о догерманском населении Италии и Византии; используются либо географические названия («in Italia»), либо титулы правителей: «*in-fino alla venuta de' Longobardi, sendo Italia sottoposta tutta o agli imperadori o ai re*» («Istorie fiorentine», 1, IX).

Когда на исторической сцене появляются регионы Италии, действующие самостоятельно, их население тут же получает статус «nazione»: «*E perché da questo Ruberto nacque l'ordine del regno di Napoli, non mi pare superfluo narrare particolarmente le azioni e nazione di quello*» («Istorie fiorentine», 1, XV), несмотря на то что правящей элитой в регионе могли быть сменяющие одна другую иностранные династии («*venuta meno la stirpe de' Normandi, si trasmuto quel regno ne' Tedeschi, da quelli ne' Franciosi, da costoro negli Aragonesi, e oggi è posseduto dai Fiamminghi*») («Istorie fiorentine», 1, XVI). В эпоху крестовых походов наряду с французами и англичанами воевать с сарацинами отправляются такие «народы» («populi»), как пизанцы, венецианцы и генуэзцы («*Passò in aiuto di quella impresa il re di Francia, il re di Inghilterra; e i populi pisani, viniziani e genovesi vi acquistaron reputazione grandissima*») («Istorie fiorentine», 1, XVII); возможно, помимо выраженной самоидентификации признание этим общностям обеспечило наличие собственных флотов.

При описании относительно недавних событий (с XIV в.) Макиавелли как будто бы смотрит на события в увеличительное стекло и все чаще прибегает к понятию «cittadino», а действующими лицами итальянской истории становятся не столько этносы, сколько города и их жители – протагонисты «fiorentini» и их ближние и дальние соседи – «lucchesi», «viniziani», «genovesi», «volterrani», «sanesi» и другие. В общеевропейском масштабе они действуют наравне с «традиционными» народами – «franzesi», «unghegi», «turchi», не превращаясь, однако, в «итальянцев» даже на их фоне.

Иной взгляд на этнокультурную идентичность населения Италии представлен в труде Франческо Гвиччардини «История Италии» («Storia d'Italia», 1537–1540). Гвиччардини описывает события с конца XV в., то есть фактически эпоху Итальянских войн, современником которых он был. Основными действующими лицами здесь оказываются «italiani» (называемые также «нашими» – «i nostri») и «franzesi»: «*l'armi de' **franzesi**, chiamate da' nostri principi medesimi, cominciorono con grandissimo movimento a perturbarla*» («Storia d'Italia», Lib. 1, cap. 1).

Представители отдельных регионов упоминаются особо лишь в тех случаях, когда они противопоставляют себя итальянскому большинству, причем подобное поведение историк не одобряет: «*Così dividendosi tutti gli altri potentati **italiani**, quali in favore del re di Francia quali in contrario, soli i **viniziani** deliberavano, standosi neutrali, aspettare oziosamente l'esito di queste cose*» («Storia d'Italia», Lib. 1, cap. 6).

«*A Firenze era grande la inclinazione inverso la casa di Francia, per il commercio di tanti **fiorentini** in quello reame, per l'opinione inveterata, benché falsa, che Carlo magno avesse riedificata quella città, distrutta da Totila re de' goti*» («Storia d'Italia», Lib. 1, cap. 6).

Среди прочих антагонистов итальянцев Гвиччардини упоминает:

– подданных Священной Римской империи – «немцев» («tedeschi»): «*Perché Castelnuovo, abitazione de' re, posto in sul lito del mare, per la viltà e avarizia de' cinquecento **tedeschi** che v'erano a guardia, fatta leggiera difesa, s'arrendé*» («Storia d'Italia», Lib. 1, cap. 3);

– турок-османов («turchi», «ottomani»): «*Nel quale anno Italia, conquassata da tanti movimenti, aveva similmente sentite le armi de' **turchi**; perché, avendo Baiseth **ottomanno** assaltato per mare con potente armata i luoghi che in Grecia tenevano i viniziani, mandò per terra seimila cavalli a predare la regione del Frioli*» («Storia d'Italia», Lib. 4, cap. 12);

– испанцев, которые, впрочем, зачастую фигурируют у Гвиччардини как естественные союзники в борьбе с французами: «*Temevasi della venuta di Consalvo a Roma, massimamente perché Prospero Colonna avea lasciato a Marino certo numero di soldati **spagnuoli**, e perché per la riconciliazione del Valentino co' Colonnese si era creduto che egli avesse convenuto di seguitare la parte spagnuola. Ma molto più si temeva che non vi venisse l'esercito **franzese***» («Storia d'Italia», Lib. 6, cap. 4).

В труде Гвиччардини, в отличие от «Флорентийских историй» Макиавелли, Италия предстает уже не просто как географическое и историко-культурное понятие, а как своеобразная федерация областей, чья внеш-

няя политика, по сути, сводится к попыткам уменьшить ущерб от того, что Франция, Испания и другие национальные государства воюют между собой на ее территории¹.

* * *

Рассмотренные нами примеры языковой концептуализации итальянской идентичности в итальянских исторических и лингвистических сочинениях XVI в. – это лишь малая часть свидетельств формирования нового взгляда итальянцев на свою национальную и культурную принадлежность. Соседство более узкого, «муниципального» подхода к идентичности и более широкого – «панитальянского» – даже у жителей одного города, флорентийцев Макиавелли и Гвиччардини, на наш взгляд, можно рассматривать как признак происходящего именно в эту эпоху сдвига в мировоззрении итальянцев. На фоне внешнеполитических событий эпохи Реформации и Контрреформации, Итальянских войн и столкновений с Османской империей становится очевидной уязвимость Италии, лишь отчасти компенсируемая гибкой политикой папского престола и региональных правительств.

На языковом уровне поиск форм самовыражения формирующегося итальянского этноса (или этносов?) находит выражение в ожесточенных спорах о лингвонимах (*italiano / fiorentino / toscano / volgare*), в широком употреблении или, напротив, принципиальном отказе от употребления этнонима *italiano*, в использовании в качестве этнонимов слов, обозначающих жителей итальянских городов (*veneziani* и *pisani* в одном ряду с *inglesi* и *tedeschi*), в функционировании слов *nazione, popolo, cittadino*. Даже на относительно ограниченном материале, который был рассмотрен в статье, можно увидеть, как противоречивое восприятие Италии – одновременно как географического пространства, как общего культурного наследия, как совокупности враждующих мини- и микрогосударств,

¹ Подобное осмысление крупных внешнеполитических событий характерно и для других, более поздних периодов итальянской истории; см., к примеру, описание событий Первой мировой войны в романе А. Молезини «Не все сволочи родом из Вены» («Non tutti i bastardi sono di Vienna», 2010) и Второй мировой войны в романе А. Моравиа «Чочара» («La Ciociara», 1957) или в эссе У. Эко «Сконструировать врага» («Costruire il nemico» // *Elogio della politica*. A cura di Ivano Dionigi. Milano, 2009): «Pazientemente mi ha spiegato che voleva sapere quali sono i nostri avversari storici, quelli che loro ammazzano noi e noi ammazziamo loro. Gli ho ripetuto che non ne abbiamo, che l'ultima guerra l'abbiamo fatta cinquanta e passa anni fa, e tra l'altro iniziandola con un nemico e finendola con un altro».

как будущего единого национального государства – приводит к формированию «многослойной», отчасти противоречивой самоидентификации носителей итальянского языка, граждан Италии, по-прежнему неодинаково видящих ее прошлое и будущее.

Список литературы

- Жолудева Л. И.* Спор о названии языка в лингвистических трудах Чинквеченто как отражение проблем формирования итальянской идентичности // Древняя и Новая Романия. Т. 12. №2. 2013. С. 36–48.
- Жолудева Л. И.* Языковая концептуализация итальянской идентичности в грамматиках первой половины XVI века // Итальянская идентичность: единство в многообразии / Под ред. Г. Д. Муравьевой и К. В. Явнилович. М., 2015. С. 80–90.
- Косарик М. А.* Значение эпохи Возрождения в становлении языкознания как самостоятельной науки // Ломоносовские чтения 1994. М., 1994. С. 38–53.
- Степанова Л. Г.* Итальянская лингвистическая мысль XIV–XVI веков. СПб., 2000.
- Чельшева И. И.* О наименованиях итальянцев в романских средневековых текстах (XIII–XIV вв.) // Итальянская идентичность: единство в многообразии / Под ред. Г. Д. Муравьевой и К. В. Явнилович. М., 2015. С. 38–50.
- Шевлякова Д. А.* Доминанты национальной идентичности итальянцев: Автореферат дисс. ... докт. культурологии. М., 2011.
- Calabrese O.* I segni dell'identità italiana // Atti del Convegno «Identità italiana tra Europa e società multiculturale». Siena, 2009. P. 35–47.
- Galli S. B.* Il peso della memoria storica e l'identità culturale italiana // Atti del Convegno «Identità italiana tra Europa e società multiculturale». Siena, 2009. P. 47–59.
- Kossarik M.* A tradição portuguesa no contexto da linguística europeia // Head B. F., Teixeira J., Lemos A., Sampaio, Barros A., Leal de, Pereira A. (orgs.). História da Língua e História da Gramática. Actas do Encontro / Universidade do Minho, ILCH. Minho, 2002. P. 181–203.

Сведения об авторе: Жолудева Любовь Ивановна, кандидат филол. наук, старший преподаватель кафедры романского языкознания филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: l.zholudeva@gmail.com

В.Б.Семенов

Лесса как квазистрофическая форма композиции стиха

Данная статья представляет описание черт, наиболее свойственных квазистрофической стиховой форме, известной как «тирада» или «лесса» и процветавшей в западноевропейской литературе во времена доминирования средневекового жанра жести. Также в статье представлена новая типологическая классификация строфических и квазистрофических поэтических форм.

Ключевые слова: лесса, тирада, строфическая форма, смежный повтор, ветвящийся повтор, песнь о деяниях.

This paper describes essential features of quasi-stanzaic verse form known as 'tirade', or 'laisse', that was flourished in West-European literature in times of domination of 'chanson de geste' medieval genre. It also contains the new typological classification of stanzaic / quasi-stanzaic forms in poetry.

Key words: laisse, tirade, stanzaic form, enchaînement, laisses bifurquées, chanson de geste.

Средневековой форме, о которой пойдет речь, не повезло: она незаслуженно обделена вниманием историков литературы и стиховедов, в том числе отечественных. По сей день наука не определилась с ее четким таксономическим описанием, более того, не вполне определилась даже с ее именованием. В XIX в. ее чаще именовали **тирадой** (фр. *tirade*, от ср.-век. лат. *tirare* – стягивать), по-видимому, соотнося ее объем с объемом обычных драматических монологов, а может быть, связывая риторически обусловленное членение содержавших ее произведений на романских языках с членением аналогичных стихотворных памятников на латыни. Но к началу XX в. французская филология, поскольку подавляющее большинство памятников принадлежало соответствующей национальной литературе, в своих трудах популяризовала термин **лесса** (фр. *laisse*, от старофр. *laisier* – оставлять). Еще в 1870-е гг. два термина сосуществовали на правах синонимов, и их использование было делом выбора исследователей. Так, Л. Демезон, описывая особенности версификации в «Aymeri de Narbonne», пользовался исключительно термином «тирада»². А Г. Рено

² Demaison L. Introduction // Aymeri de Narbonne, chanson de geste. T. I. Paris, 1887. P. CV–CVI.

в Предисловии к жесте «Élie de Saint Gille», упомянув, что она «поделена на 68 лесс, или тирад», предпочитал активно применять термин «лесса»³. И также Рено поступал, описывая стиховые формы жести «Aiol»⁴. Но уже в первые годы XX в. стало заметно, что два термина расходятся в значениях: теперь «тирада» наполнилась новым смыслом – этим термином начали обозначать длинные высказывания даже не повествовательной жести, а их персонажей, заключенные в лессах и обуславливающие то, что иные лессы оказывались пространнее прочих⁵. Такой взгляд французские филологи транслировали и в недавнее время⁶.

В отечественном литературоведении нет отдельных научных источников, посвященных описанию природы лессы. В. М. Жирмунский в труде «Рифма, ее история и теория» (1923) тираду-лессу всего лишь упомянул в связи с романским эпосом: «Одинаковые ударные гласные в конце стиха естественно объединяют несколько ритмических рядов в строфическую тираду неопределенных размеров (*laisse monogime*)»⁷. М. Л. Гаспаров как автор стиховедческих статей в Литературном энциклопедическом словаре (1987) обошел тираду-лессу стороной, а в «Очерке истории европейского стиха» (1989) удостоил беглого упоминания: «Концы стихов скреплялись ассонансом – созвучием ударных гласных, образуя длинные ассонированные тирады, *laisse*»⁸. А. Д. Михайлов во «Французском рыцарском романе» (1976), где уместно было бы обратиться к вопросу о лессе как форме его ранних образцов, был еще более краток: он лишь однажды упомянул, что ранняя версия «Романа об Александре» «была написана лессами, построенными на ассонансах»⁹. А во «Французском героическом эпосе» (1995) он назвал ее «эпической строфой», при этом отказался признавать взаимосвязь смены сюжетных сцен и смены лесс¹⁰. Не остановился на описании лессы и О. И. Федотов в «Основах русского стихосложения» (а ведь русскоязычные лессы существуют как

³ *Raynaud G.* Introduction // *Élie de Saint Gille, chanson de geste.* Paris, 1879. P. X.

⁴ *Normand J. & Raynaud G.* Introduction // *Aiol, chanson de geste.* Paris, 1877. P. X.

⁵ См., например: *Les deux rédaction en vers du Moniage Guillaume, chansons de geste du XIIe siècle / Publ. par W. Cloetta.* Paris, 1906. P. 374–381.

⁶ *Зюмтор П.* Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2003. С. 341.

⁷ *Жирмунский В. М.* Рифма, ее история и теория // *Вопросы поэтики.* Вып. 3. Пб., 1923. С. 300.

⁸ *Гаспаров М. Л.* Очерк истории европейского стиха. 2-е изд. М., 2003. С. 107.

⁹ *Михайлов А. В.* Французский рыцарский роман. М., 1976. С. 35.

¹⁰ *Михайлов А. В.* Французский героический эпос. М., Наследие, 1995. С. 108–109, 122–123.

реальный факт отечественной поэзии, хотя бы в переводах французских памятников), однако напомнил о точке зрения С. И. Кормилова на тираду как на переходную форму от астрофического стиха к строфическому¹¹.

Впрочем, тирада-лесса все-таки попала в русскую справочную литературу. Отчасти сумбурное, противоречивое описание дал тираде А. П. Квятковский в «Поэтическом словаре» (1966): «Строфа в старофранцузском эпосе, состоящая из неопределенного числа (от 7 до 35) десятисложных стихов с ассонансами; такими Т. написана „Песнь о Роланде“. В староиспанской поэзии Т. – строфа с одной рифмой на 7–17 стихов, называемая иногда лэссой» (sic)¹². Заметно, что такое описание связано с посвященной тираде статьей, появившейся в 1939 г. в 11-м томе «Литературной энциклопедии», где форма охарактеризована точнее: «...Строфа старофранцузского стихосложения, соединяющая одним ассонансом или, позднее, рифмой известное число стихов одного размера. Обычно Т. состоит из десяти- или двенадцатисложных стихов, реже из восьмисложников; так напр. Т. „Песни о Роланде“ содержат от 5 до 35 десятисложных стихов, причем обычный их объем – от 7 до 17 стихов. В некоторых произведениях встречается Т., последний стих которой вдвое короче остальных: такова Т. в некоторых эпопеях цикла Гильома Оранского, в „Окассен и Николет“. <...> Каждая Т. развертывает один момент действия, создавая столь характерную для эпоса медлительную детальность повествования»¹³.

В зарубежном литературоведении ситуация с описанием лессы как формы также оставляет желать лучшего. Разумеется, вопроса о ее природных свойствах мимоходом касаются авторы исследований, посвященных средневековым жанрам со стихотворным повествованием, а вот специально посвященные ей статьи почти отсутствуют. В 1879 г. статью о ней опубликовал М. Сепе, но предметом описания была не собственно лесса, характерная для героических жест, а предельно общая тенденция широкого круга разножанровых средневековых произведений на французском языке и на латыни (лирические и эпические песни, романы

¹¹ Федотов О. И. Основы русского стихосложения: Теория и история русского стиха: В 2 т. Т. 2: Строфика. М., 2001. С. 8; Кормилов С. И. Строфика как элемент стихотворной формы // Филология: Сб. студенческих и аспирантских науч. работ. Вып. 3. М., 1974. С. 114.

¹² Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. 2-е изд., стереотип. М., 2000. С. 357.

¹³ Шор Р. О. Тирада // Литературная энциклопедия: В 11 тт. Т. 11. М., 1939. Стлб. 271–272.

и стихотворные жития) – основываться на длинных рядах однотипных звуковых повторов, венчающих концы смежных стихов¹⁴. Примечательным оказалось и частное замечание по поводу окончания лесс «Песни о Роланде» восклицанием «Aoi!»: Сепе придерживался гипотезы, что ранние французские песни, будь они лирические или эпические, одинаково отличались указанными звуковыми повторами, а потому могут быть и другие признаки сближений образцов различных ранних жанров, в том числе и такой рудимент лирической песни, как открывающее многие припевы восклицание, например восклицание «Lon la!» в танцевальной «Chanson des Cordonniers» («Les cordonniers sont pires que des évêques...»); поэтому многие жесты сохранили в конце лесс подобные восклицания (во французской средневековой финальный короткий стих лессы, выбивающийся из размера, получил наименование *vers orphelin* – «сиротливый стих»), и это проявилось не только в «Роланде», но и в некоторых жестах цикла о Гильоме Оранжском, а также в «Песне об Альбигойском крестовом походе»¹⁵.

Спустя 80 лет появилась вторая статья, специально посвященная этой форме: А. Монтеверди рассматривал французскую «эпическую лессу», т. е. лессу в повествовательных жанрах Средних веков, руководствуясь задачей противопоставить ее полноценной строфе, также нередко присутствовавшей в подобных жанрах (например, в стихотворных житиях), – и делал вывод: «Все тексты, которые дошли до нас с самых ранних времен, показывают, что повествовательная поэма во Франции родилась строфической. <...> Повествовательная поэма родилась строфической, поскольку предназначалась для пения, как и вообще все стихи на народном наречии, которые появились и стали распространяться в миру. Их устное распространение там, в миру, действительно существовало, в основном среди неграмотных, для которых было единственно возможным, и общим средством устного распространения было пение. <...> Так песня сводится к регулярному повтору в каждом стихе (или, возможно, в каждом двустушии) простейшей мелодии. Повтор время от времени свободно прерывался паузами, которые были вызваны изменением мелодии на последнем стихе или рефреном. Вместе с тем строфа удлиняется или

¹⁴ *Sepet M.* De la laisse monorime des chansons de geste // Bibliothèque de l'École des chartes. Т. 40. Paris, 1879. P. 563–569.

¹⁵ *Sepet M.* De la laisse monorime des chansons de geste... P. 569. Это предположение куда менее причудливое, чем иные, более поздние, о которых см. здесь, в сноске: *Stevens J.* Words and Music in the Middle Ages: Song, Narrative, Dance and Drama, 1050–1350. Cambridge, 1986. P. 202.

сокращается – в зависимости от нужд повествования; а удлинившись или сократившись, она перестала быть строфой: она стала лессой»¹⁶. Справедливо суждение о том, что лесса по сути не является строфой, и его поддерживает большинство медиевистов, упоминающих о тираде-лессе в своих трудах. Однако вывод о том, что строфа предшествовала лессе и породила ее (а не наоборот), – небесспорный.

Как мы видим, в литературоведении до сих пор встречаются оба термина – «тирада» и «лесса», однако у французских филологов получает неуклонное развитие группа терминов, формирующаяся вокруг «лессы». Так, раньше других появились термины, обозначающие основной принцип, связующий стихи в единую лессу: *laisse monorime* поначалу охватывал все случаи связи стихов концевыми звуковыми повторами, но позднее стал обозначать только факты любой сквозной рифмы (в том числе гомеотелевтона, рифмы грамматической), когда для описания исторически более ранней лессы, еще объединяющей стихи не рифмой, но сквозным концевым повтором ударного гласного, был принят термин *laisse assonancée*.

В 1955 г. в исследовании жанра жест Ж. Ришнер, рассуждая об их «строфической структуре»¹⁷, выделил пять общих типов связи между лессами и подробно, на примерах ранних жест, рассмотрел каждый из них отдельно: *enchaînement* (лессы с приемом сцепления называют *laises enchaînées*), *reprise bifurquée*, *débuts similaires*, *laises parallèles* и *laises similaires*. Дж. Дагган, указавший, что в «Роланде» широко представлены образцы всех упомянутых пяти типов связи (31, 6, 8, 48 и 26 соответственно, т. е. в сумме 119 лесс «Песни», или 54%), дал им следующие краткие определения: «1) *enchaînement* – повтор в начале лессы того, что было сказано в конце предыдущей; 2) *reprise bifurquée*, или ветвящийся повтор, – при котором повторяющийся элемент обнаруживается не в конце предыдущей лессы, а ближе к середине; 3) второй тип ветвления (мы назовем их типы Один и Два), при котором оба соотносящихся выражения находятся в началах соответствующих лесс; 4) параллельные лессы, в которых перечислены действия пусть не идентичные, но однотипные (как, например, серии боев, описания которых близки, но в которых задействованы разные пары протагонистов); и 5) сходные лессы, в

¹⁶ Monteverdi, A. La Laisse Epique // La Technique Litteraire Des Chansons de Geste: Actes du Colloque de Liège (septembre 1957). Paris, 1959. P. 135–136.

¹⁷ Rychner J. La Chanson de Geste: Essai sur l'Art épique des Jongleurs. Geneve, 1999. P. 68–125.

которых одно и то же событие описывается в двух, а иногда трех последовательных лессах, и всякий раз воспроизведено немного по-иному»¹⁸. Такая классификация удобна лишь отчасти, потому что начальные три типа связи лесс выделены по композиционному признаку, а оставшиеся – по содержательному. Вариацией этой классификации является та, которую недавно представили С. Эджингтон и К. Свитенхэм: «Простейшей из этих техник является *enchaînement*, при котором в начале *laisse* эхом отдается конец предшествующей *laisse* <...>. *Laissees similaires* повторяют действие в двух или трех *laissees*, изображая один момент под различными углами и посредством этого выделяя его значительную роль в тексте: обычно они начинаются со сходной фразы и имеют сходную композицию. *Laissees bifurquées* имеют общее начало, но двигают повествование в различных направлениях. Имеющие некоторую важность части текста могут быть маркированы длинными рядами *laissees parallèles*, имеющих похожую композицию и описывающих одно и то же событие с точек зрения разных участников или разными способами»¹⁹. Такая классификация выглядит еще более запутанной: непонятно, чем последний тип лесс отличается, с одной стороны, от *laissees similaires*, а с другой – от *laissees bifurquées*.

Попробуем упростить предложенное членение типов связи в лессах – и вместе с тем внести чуть больше последовательности в их классификацию. Сократим данные типы до трех: *смежный повтор* – это повтор по краям смежных лесс, при котором финальная строка (строки) каждой предшествующей лессе может только раз получить отзвук в начале следующей за ней, т. е. это простейший одиночный повтор (конечно, в гипотетическом случае финальный стих лессе I может послужить начальным не только для лессе II, но и для лессе III и т. д., но это уже не будет *целением*); *серийный повтор* – это повтор позиции, которую занимал стих в некоей лессе, в одной или нескольких следующих за ней, и такой позицией могут быть и начало, и конец, и условный центр лессе (к этому же типу отнесем случаи, при которых в трех и более лессах присутствует такой позиционный повтор строк, при котором в одной из лесс позиция повторяемого элемента немного сместилась, – а также случаи, при которых в нескольких лессах свои относительные позиции сохраняют не

¹⁸ Duggan J. J. *The Song of Roland: Formulaic Style and Poetic Craft*. Berkeley; Los Angeles; London, 1973. P. 98–99.

¹⁹ Edgington S. B., Sweetenham C. *The Chanson d'Antioche, An Old French Account of the First Crusade*. Farnham, 2011. P. 66.

один, а сразу несколько элементов, по каковой причине повтор указанно-го типа оказывается усложненным); и, наконец, *ветвящийся повтор* – сложный повтор, при котором простые, чисто композиционные приемы, воплощенные в повторах предыдущих типов, приводят к изменению качества (содержания) сюжета, обуславливают временные перемены в общей повествовательной стратегии: исходный повтор стиха как бы получает оправдание в силу того, что им скрепляются лессы, в которых говорится о разных взглядах на одно и то же действие героя, неодинаковых трактовках одного и того же события, противоположной реакции на него со стороны сюжетных антагонистов, и т. п. Трех типов, кажется, достаточно: от чисто языкового повторения мы движемся к повторам, при которых язык вмешивается в сюжет и начинает отчасти им манипулировать.

Проиллюстрирую сказанное примерами различных повторов в структуре «Песни о Роланде» (опираясь на раннюю рукопись – Oxford, Bodleian Library, Digby 23, Pt. 2, на классическое издание текста, предпринятое Ж. Бедье, и на добротный русскоязычный перевод Ю. Корнеева).

Смежный повтор – конец лессы IX и его отзвук в начале лессы X (fol. 3r):

IX	IX
...	...
Воздел наш император руки ввысь, Чело в раздумье долу опустил. Аой!	Li empereres tent ses mains vers Deu Baisset sun chef, si cumencet a penser. AOI.
X	X
В раздумье Карл не поднимал чела.	Li empereres en tint sun chef enclin.

Серийный повтор – в лессах LXXI–LXXVI (fol. 16v–17v), где соотносятся, во-первых, начальные стихи (каждая лесса открывается представлением очередного воина, желающего выступить на стороне Марсилия против Роланда), а во-вторых – находящиеся между началом и финалом каждой лессы стихи с прямой речью персонажа, содержащей упоминание Ронсевалья (в последней из приводимых строф это прямая речь самого Марсилия):

LXXI	LXXI
Вторым подъехал Корсали туда. <...>	Reis Corsalis, il est de l'altre part. <...>
«Отправиться готов я в Ронсеваль...»	«Jo condirai mun cors en Rencesvals...»
...	...
LXXII	LXXII
Вот адмирал из Балагета мчит. <...>	Uns amurafles i ad de Balaguez... <...>
«Прощу вас в Ронсеваль меня пустить...»	«En Rencesvals irai mun cors juer!...»

...	...
LXXIII	LXXIII
Вот скачет алмасор из Моряны...	Uns almaçurs i ad de Moriane...
<...>	<...>
«Дружину поведу я к Ронсевалю...»	«En Rencesvals guierai ma cumpaigne...»
...	...
LXXIV	LXXIV
Вот скачет граф Торжис из Тортелозы.	D'altre part Turgiz de Turteluse...
<...>	<...>
«С Роландом в Ронсевале мы сойдемся...»	«En Rencesvals a Rollant irai juindre...»
...	...
LXXV	LXXV
Вот скачет Эскреми вдогонку прежним...	D'altre part est Escremiz de Valterne.
<...>	<...>
«Я в Ронсеваль смирить французов еду!...»	«En Rencesvals irai l'orgoill desfaire...»
...	...
LXXVI	LXXVI
Вот Эсторган-язычник подскакал, За ним Эстрамарен, его собрат...	D'altre part est un paiens, Esturganz; Estramariz i est, un soens cumpainz...
<...>	<...>
«Спешите по ущельям в Ронсеваль...»	«En Rencesvals irez as porz passant...»

Ветвящийся повтор – это, например, группа лесс LXXX–LXXXII (fol. 19r–19v). Здесь события, рассказанные в лессе LXXX, как бы обнуляются с началом следующей – и в лессах LXXXI–LXXXII действия Оливье описываются наново, по той же схеме, что и в начальной лессе: куда посмотрел – что увидел – что сказал – что ему ответили. Как было указано выше, ветвящийся повтор основывается на повторах более простых типов. Так, здесь начало первой лессы из трех точно соотносится с началом отвечающих от нее двух оставшихся лесс: «Oliver est desur un pui <muntet>» – «Oliver est desur un pui muntet». Мало того, даже такая деталь, как блеск щитов и шлемов вражеского войска, замеченный Оливье в первой лессе, наново приводится повествователем во второй, а потом еще вставлена в обращенную к франкам речь героя в третьей лессе – словно в первой лессе ее и не было (исследователи правомерно связывают такие выпячивания повторов в любых произведениях древности как факты подчеркивания перед лицом читателя значимости сюжетной сцены).

LXXX	LXXX
Граф Оливье взшел на холм крутой, Взглянул направо на зеленый дол И видит: войско сарацин идет. Зовет он побратима своего: Шум слышен в стороне испанских гор. Горят щиты и шишаки огнем.	Oliver est desur un pui muntet. «Tanz blancs osbercs, tanz elmes flambüs!»

Французов ждет сегодня тяжкий бой.
 Всему виной предатель Ганелон:
 Он нас назначил прикрывать отход.
 Роланд ему в ответ: «Он – отчим мой.
 Я не позволю вам бранить его».

LXXXI

Граф Оливье глядит на дол с холма.
 Вдали видны испанская страна
 И сарацин несметная толпа.
 Везде сверкают золото и сталь,
 Блеск лат, щитов и шлемов бьет в глаза.
 Лес копий и значков над долом встал.
 Языческих полков не сосчитать:

Куда ни кинешь взор – повсюду враг.
 Пришел в тревогу и смущенье граф,
 Спустился поскорей с холма назад,
 Пошел к французам, все им рассказал.

LXXXII

Промолвил Оливье: «Идут враги.
 Я в жизни не видал такой толпы.
 Сто тысяч мавров там: при каждом щит,
 Горят их брони, блещут шишаки,
 Остры их копыя, прочны их мечи.
 Бой небывалый нынче предстоит.
 Французы, пусть господь вас укрепит.
 Встречайте грудью натиск сарацин».
 Французы молвят: «Трус, кто побежит!
 Умрем, но вас в бою не предадим».

LXXXI

Oliver est desur un pui muntet.

Luisent cil elme...

...e cil osbercs safrez.

LXXXII

Helmes laciez e blancs osbercs vestuz.

Вернемся к определениям тирады-лессы. Если эта форма использовалась в литературных памятниках на французском и англо-нормандском, справедливо ожидать справочных статей о ней в «Grand Larousse Encyclopédique» и в «Encyclopaedia Britannica», однако такие статьи отсутствуют. Только в «Словаре музыки», выпущенном издательством Ларусса в 2005 г., наконец присутствует информация о лессе: она определена как «эквивалент строфы в лэ или в жесте», отмечено, что однозвучие стиховых окончаний лесс, построенных на моноримах, нарушается, когда в конце лессы появляется стих *orphelin*, а также, с точки зрения композиции стихов как музыкальных фраз, указано, что их «метр – чаще всего десятисложник», деление которого на полустишия бывает представлено двумя типами – «ре-же (4 + 6), чаще (6 + 4)»¹. В США стараниями известного специалиста по старофранцузской литературе XII в. Урбана Т. Холмса-младшего намного раньше, в 1965-м, появилась весьма содержательная словарная статья с характеристикой лесс как «групп стихов неопределенной длины» («в *Chanson*

¹ Vignal M. (dir.) Dictionnaire de la Musique. Paris, 2005. P. 551.

de Roland они варьируются от 5 до 35 строк»), которые «формально <...> не являются строфами, поскольку нет „переклички“ форм между какой-либо лессой и следующей за ней; длина каждой зависит от того, насколько автор хочет акцентировать ее содержание»; также автор справедливо указал, что ближайшим аналогом лессы как единицы членения текста, пусть и нерифмованным, является «стихотворный абзац»².

Что касается вопроса о длине лессы, о ее (как группы стихов) границах, то «Песнь о Роланде» не вполне показательна. Уже в «Ronsasvals» эта длина колеблется от 15 до 106 стихов: 106–70–65–23–37–28–25–74–32–15–62–35–48–19–29–81–20–21–30 (лакуна) 6. Полагаю, минимальный объем лессы – 4 стиха, такие короткие группы редки, но мы встречаем их, например, в «Gormont et Isembart» (ст. 5–9, 37–40, 61–64, 134–137, 160–163 – это практически одно и то же четверостишие с рифмами *uassal – cheual – estandard – tuenart*, которые, хотя и связаны ассонансом на *-a*, выглядят парными, что вкупе с фактом оформления этого раннего памятника 8-сложниками наводит на мысль, что в лессе на правах рефрена вклинивается форма, знакомая нам, например, по жанру *лэ*), в «Aye d’Avignon» (ст. 2302–2305) и в «Charroi de Nymes» (лесса XIX). А в «Aiol» поставлены рекорды: строки с 1 по 4560 написаны 10-сложником, а следующие далее и до конца 12-сложные стихи обуславливают восприятие текста жесты как двухчастного; ближе к концу первой части появляется гигантская лесса CVII в 206 стихов, но и это не предел – во второй части нас поджидает уникальная лесса CLXVIII с труднообразимым количеством стихов, общим числом в 540. Такие величины особенно заметны на фоне других лесс той же жесты: лессы L и CCXV – 6 стихов, лесса CCXLV – 5 (очевидно, длина лесс иногда оказывалась определена легкостью подбора слов с конкретным созвучием, распространенностью ассонанса или рифмы). Медиевистов интересовала и условная «средняя» величина лесс, особенно в связи с желанием интерпретировать факты изменений такой величины в жестах разных веков и национально языковых традиций³ (кроме того, недалекое отстояние такого среднего показателя от показателей, выражающих минимальную и максимальную величины лесс в одном и том же тексте, могло бы дать повод к размышлениям

² Holmes U. T. Jr., Brogan T. V. F. *Laisse* // The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. 4th ed. Princeton; Woodstock, 2012. P. 780.

³ См., например, попытку интерпретировать часть коротких лесс в «Bovee de Haumtone» как факт влияния на англо-нормандского автора коротких английских строф: Ailes M. The Anglo-Norman Bovee de Haumtone as a chanson de geste // Sir Bevis of Hampton in Literary Tradition. Cambridge, 2008. P. 14.

о существовании переходных форм от свободной лессы к строгой строфе). Так, Ришнер указал, что средняя длина лессы в «Chanson de Roland» – 14 стихов, в «Pèlerinage de Charlemagne» – 16, в «Raoul de Cambrai» – 22 (при этом учитывая, что в большей 1-й части – 20–21, а во 2-й – 27–28), в «Charroi de Nymes» – 25, в «Prise d'Orange» – 30, в «Couronnement de Louis» – 43, а в «Moniage Guillaume» – 63⁴.

Пространный список из 73 жест, содержащий указания на несколько важных для каждого текста параметров: общее количество стихов, количество лесс, соотношение этих двух показателей (т.е. «средний» объем лессы) и тип связи строк (рифма или ассонанс), – представил Р.Хартмен⁵. С помощью данного списка он, в частности, опроверг распространенное мнение о том, что лессы более поздних жест проявляли тенденцию разрастаться относительно лесс в жестах ранних. Также было продемонстрировано, что нет и зависимости длины лессы от того, с помощью сплошной рифмы или с помощью ассонанса она скрепила стихи. Помимо этого, Хартмен обратился в статье к неожиданной теме соотношения количества лесс жесты с количеством открывающих каждую инициалов (буквиц). Обычно сами писцы выделяли в рукописи начало каждой следующей лессы в том случае, если менялись скрепляющие стихи рифма или ассонанс, например ударный *-i* менялся на *-é* и т.п. Но в жестах «Aiol» и «Romans de Parise la Duchesse» Хартмен обнаружил несколько случаев того, что по окончании некоторой лессы рифма или ассонанс не исчезали, а продолжались в следующей, – и предположил, что на смену организующему формальному признаку (единозвучие концов у стихов одной лессы) пришел организующий содержательный (тематическая обособленность каждой лессы, при которой перемена в предмете повествования / описания ведет к началу создания писцом новой лессы). Действительно, рукопись, содержащая «Aiol» (MS. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 25516), это наглядно демонстрирует; например, fol. 115r: стихи 2757–2778 скреплены ассонансом на *-i*, но инициал, открывающий стих 2779, свидетельствует о новой лессе, хотя ассонанс на *-i* сохраняется и в следующих стихах. Дело в том, что стих «Aiolz vint à le porte devers Berri...» (2779) зафиксировал «смену кадра»: от героя, двигавшегося по улицам Орлеана, отстали местные нахальные юнцы, а он заметил, что дошел до городских ворот; один эпизод завершен – другой

⁴ Rychner J. Op. cit. P. 68.

⁵ Hartman R. Initials and laisse division in two later epics: Aiol and Parise la Duchesse // Olifant. Vol. 12. № 1. 1987. P. 25–26.

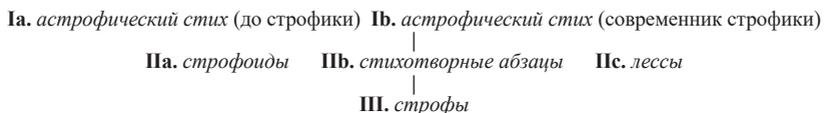
начинается. Такого рода наблюдения полезны, однако, пожалуй, подобные случаи – исключение из общего правила. Все же главным признаком организации стихов в группы, будь они лессы или строфы, был и является какой-либо материально выраженный речевой признак (количество стихов, композиция рифм и проч.). И весь массив литературы в жанре «песнь о деяниях» это подтверждает. Разумно поступили Норман и Рено, готовившие издание «Aiol», презрев отступление писцом от правила и оформив стихи 2757–2816 как единую лессу LXXII⁶.

Что касается замечания Холмса о близости лессы к «стихотворному абзацу», то оно попало в одну из «болевых точек» стиховедения: общей классификации типов организации ритмических рядов (стихов) в единицы большого масштаба (в частном случае – в строфы) до сих пор нет. Есть только национальные варианты той части данной классификации, которая охватывает исключительно строфы. Однако лессу как явление невозможно оставить вне соотнесения, с одной стороны, со строфой, а с другой – с тем самым «стихотворным абзацем». Поэтому следует обратиться к типологии макроформ организации стиха, охватывающей весь текст. По-видимому, в ее основу должны быть положены известные свойства строфы, которым должен быть придан статус релевантных: 1) графическая обособленность ее как группы стихов от других подобных групп, 2) повторяемость постоянного числа стихов, узнаваемая читателем / слушателем по рифмовке или, при отсутствии рифм, композиции клаузул, 3) скрепление концов стихов объединяющим звуковым повтором (рифма или ассонанс) как дополнительное средство. Эти признаки, становясь различительными в рамках целой типологии, позволяют выделить следующие виды возможной композиции: *астрофическая* (I) – *квазистрофическая* (II) – *строфическая* (III). Первый вид показывает тотальное отсутствие указанных признаков, последний – их наличие, а второй, *квазистрофическая* композиция, – неполное присутствие, т.е. наличие только отдельных из этих трех признаков.

К *астрофической* отнесу два подвида: 1) ту естественную форму стихотворного, но не поделенного на строфы текста, автор которой, подобно Гомеру или любому древнейшему певцу, просто не знал о том, что позднее явится понятие о строфе, стало быть, астрофический вид его текста не был следствием его эстетических мотивированных намерений (Ia), – а также 2) ту искусственную форму внешне не сегментированного на большие группы речевого потока (и при этом не наделяющего читателя /

⁶ Aiol, chanson de geste. Paris, 1877. P. 81–82.

слушателя ощущением единообразного повторения внутри него какой-либо рифмовки), который явлен в тексте автора, имеющего ясное представление о строфике, в том числе о тематической обособленности строфы как ее отличительном признаке, и сознательно отказывающегося от строфической организации произведения, с тем чтобы подчеркнуть тематическое единство последнего, неотклоняемость повествования / рассуждения от магистральной темы, образцом чего в русской поэзии является, например, астрофическая композиция стихотворений А. С. Пушкина «Он между нами жил...» и «Сват Иван, как пить мы станем...» (Ib). К *квази-строфической* композиции, полагаю, следовало бы отнести три подвиды: 1) *строфоиды* (IIa), т. е. не обязательно предусмотренные самим автором, но волюнтаристски выделяемые читателем / слушателем некие простейшие «строфы» в едином речевом потоке, который, согласно авторской воле, на письме не был оформлен как строфически организованный текст, и в этом случае налицо отсутствие первого из трех указанных выше признаков, – такое можно встретить, например, в стихотворениях М. Ю. Лермонтова «К Нэере» и «Люблю я цепи синих гор...»; 2) *стихотворные абзацы* (IIb), т. е. все случаи, при которых основанием для выделения группы стихов является ее тематическая обособленность, свойственный только ей предмет описания, случаи, при которых в тексте находит выражение первый из трех признаков, но отсутствует второй, а третий может как присутствовать, так и отсутствовать, поскольку если даже каждый абзац и имеет на концах входящих в него стихов звуковые повторы, то общая их композиция не повторяет композицию звуковых повторов любого другого абзаца того же текста, иными словами, нет той «переключки форм», о которой упомянул Холмс, – этим, например, отличается первая глава поэмы А. А. Блока «Двенадцать»; 3) *лессы* (IIc), которые, разумеется, так же, как стихотворные абзацы, обладают первым признаком и не обладают вторым, и основное их отличие от стихотворных абзацев в том, что третий признак в них проявляется обязательно, а группирующий стихи и особенный для каждой лессы звуковой повтор оказывается в ней сплошным. Все остальные случаи относятся, на мой взгляд, к области строфической организации текста (III). Таким образом, типология приобретает следующий вид:



Конечно, можно найти маргинальные примеры, подобные стихотворению А.С.Пушкина «К морю» (где 15 групп стихов, большей частью имеющих вид четверостиший, но три группы – 5-я, 6-я и 13-я – являются пятистишиями), но, очевидно, имеет смысл относиться к подобным примерам как к исключениям – и в соответствии с этим сложную композицию каждого из них рассматривать обособленно. Впрочем, было бы полезно и подобные примеры включить в представленную выше типологию:

|
IV. полистрофическая композиция

О.И.Федотова заботила проблема неучтенности в таких типологиях, как ныне представленная, явления *одиночной строфы*⁷. Но, кажется, вопрос о неучтенности легко снять с повестки дня. Феномен «переклички форм» имеет отношение к области восприятия текста. В строфическом тексте каждая следующая строфа, с ее стиховым составом и композицией рифм, оценивается на фоне предыдущей – и эстетический эффект возникает, когда читатель чувствует эту «перекличку», гармонию совпадений. Но точно так же читатель одиночной строфы, будь она одностроком, элегическим дистихом, лимериком или сонетом (недаром последний определяют не только как жанр, но и как вид строфы), воспринимает ее как строфу, потому что воспринимает на фоне прежних – т.е. строф, написанных, возможно, другими авторами, в другие эпохи. Меняется лишь тип контекста: от имманентно прочитываемого текста – к целой литературной традиции. То же относится и к лессам. Полагаю уместным и актуальным говорить не только об одиночных строфах, но и об *одиночных лессах*. Пример: в начале XIII в., в период расцвета связанных с использованием лесс больших повествовательных жанров старофранцузской поэзии, трувер Готье де Куэнси сочинил песню «*Doux Diez, qui sanz fin ies et sans inition...*», представляющую собой 25-стишие, завершаемое восклицанием «*Amen*» (это текст, которым заканчивается служащая источником публикации его поэтического наследия рукопись – Paris, Bibliothèque nationale de France, n.a.fr. 24541); 24 стиха на французском языке объединены моноримом (точнее гомеотелевтоном) *-ion*, а 25-й – латинский стих «*Ubi erit fletus et stridor dentium*» – подобран таким образом, чтобы создавать «рифму для глаз» с предшествующим моноримом. И это не единственный случай *одиночной* лессы. Следовательно, можно предположить, что от лессы Высокого Средневековья протягивается нить к разнообразным одиночным лессам в стихотворениях этого време-

⁷ Федотов О.И. Указ. соч. С. 4.

ни и следующих эпох, авторы которых пробовали играть со сплошной рифмой. Так что и тексты малых жанровых форм с моноримом, подобные шуточному стихотворению А. Н. Апухтина «Когда будете, дети, студентами...», по-видимому, через французскую традицию восходят к средневековым лессам.

Список литературы

- Duggan J. J.* The Song of Roland: Formulaic Style and Poetic Craft. Berkeley; Los Angeles; London, 1973.
- Monteverdi A.* La Laisse Epique // La Technique Litteraire Des Chansons de Geste: Actes du Colloque de Liège (septembre 1957). Paris, 1959. P. 127–140.
- Rychner J.* La Chanson de Geste: Essai sur l'Art épique des Jongleurs. Geneve, 1999.
- Sepet M.* De la laisse monorime des chansons de geste // Bibliothèque de l'École des chartes. T. 40. Paris, 1879. P. 563–569.

Сведения об авторе: Семенов Вадим Борисович, кандидат филол. наук, доцент кафедры теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: vadsemionov@mail.ru.

Г.А.Аманова, С.И.Кормилов

ПРОБЛЕМА ВОСТОЧНОГО «РЕАЛИЗМА» В СОВЕТСКОМ, РОССИЙСКОМ И КОРЕЙСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Советское литературоведение долгое время считало главным критерием художественности реализм, который понимался слишком широко и неисторично. Специалисты по корейской литературе продолжали искать в ней «реализм» и тогда, когда теоретики литературы стали предпочитать его конкретно-историческое понимание. Многие критики в Северной Корее также считали «реалистическими» нереалистические произведения разных эпох. Настоящая статья призвана способствовать усилению теоретических основ изучения литератур Востока.

Ключевые слова: реализм, советское литературоведение, корейская литература, нереалистические произведения.

For the long time, Soviet literary criticism considered realism as the main criterion for artistry. It was understood in a too wide and unhistorical way. The specialists continued to search „realism“ in Korean literature even when literary theorists preferred concrete historical understanding. Many critics in North Korea also considered unrealistic works of different periods as „realistic“. This article is written with the purpose to make theoretical foundations of the study of the Eastern literatures stronger.

Key words: realism, Soviet literary criticism, Korean literature, unrealistic works.

Среди русских литераторов второй половины XIX – начала XX в. авторитет реализма был чрезвычайно высок, ведь в основном русская классика была реалистической. Но официальная культурная политика подерживала по преимуществу дореалистическую литературу. Причины тому были не эстетические, а идеологические. Подданных Российской империи воспитывали, обходя близкие к современности проблемы. В 1925 г. А.В.Луначарский констатировал, имея в виду время до Первой мировой войны: «В довоенных гимназиях, как огня, боялись современности.

В мое время доходили только до Гоголя и чуть-чуть касались Тургенева и Гончарова, потом включен был Толстой и, кажется, Достоевский; иногда прикасались к Короленко», но основное внимание «уделялось писателям XVIII века и первых десятилетий XIX <...>» [Луначарский, 1971: 215].

На рубеже XIX–XX вв. модернизм, который сейчас воспринимается как классика Серебряного века, вовсе не пользовался сколько-нибудь широкой читательской поддержкой [Гаспаров, 1993: 6]. В Советской России он еще продолжал существовать и эволюционировать первые полтора десятилетия после революции, но в 1932 г. литературные группировки постановлением ЦК ВКП(б) были ликвидированы, а основным методом советской литературы был объявлен социалистический реализм, который фактически довольно скоро стал считаться единственно допустимым. Чтобы отличать от него реализм XIX в., М. Горький в докладе на Первом съезде советских писателей дал ему определение «критический», что позволило «реабилитировать» большинство классиков «старой» литературы как реалистов и «народных» писателей, т. е. сочувствующих простому народу. Реализм стал, по сути, критерием как идеологической приемлемости, так и художественности. Явно нереалистические произведения прошлого (главным образом зарубежной литературы) либо отвергались, либо искусственно «подтягивались» к реализму. После «дискуссии» 1936 г. о «формализме» в литературе и искусстве, когда шельмовались самые разные нешаблонно мыслившие писатели и художники, проявлявшие себя в других видах искусства, журнал «Литературный критик» (1936. №5) в редакционной статье «Проблемы реализма и народности. К итогам дискуссии» провозгласил: «Реализм – это не прием, а мышление художника, и только реалистическое художественное мышление делает талантливого художника великим, так как только художник-реалист способен дать глубокое отражение жизни» [Русская советская литературная критика, 1983: 59].

Это положение стало, по сути, обязательным и для филологов – теоретиков и историков литературы. Например, в вузовском учебнике Л. И. Тимофеева «Основы теории литературы» (1936), переиздававшемся с изменениями до 1976 г., в мировой литературе признавались два неисторично трактуемых «типа творчества»: «Особенностью романтического типа творчества <...> является прежде всего тяготение не к типическому изображению действительности, т. е. обобщению действительности в присутствующих ей жизнеподобных формах, а к исключительному, обобщающему те или иные тенденции развития действительности, как бы пересоздавая эту действительность за счет условности, гиперболы, фантастики и т. д.» [Тимофеев, 1976: 106]. Правда, гротескная «История одного города» Щедрина все же признавалась реалистической, так как она условными формами «раскрывает наиболее существенные черты изображаемого ею круга явлений <...>» [Тимофеев, 1976: 104].

Не только официальное литературоведение понимало реализм неисторично. Даже М. М. Бахтин в 1940 г. представил в ИМЛИ диссертацию под названием «Рабле в истории реализма».

Востоковеды тоже стали искать «реализм» в весьма отдаленных временах. Они подошли к этому вопросу еще в начале 1930-х гг. Первые статьи по данной проблематике были опубликованы в сборнике Института востоковедения АН СССР «Проблемы литературы Востока» (сб. I. Л., 1932). Н. И. Конрад в 1935 г. делал вывод о существовании реализма не только в XVII столетии, но и в раннем средневековье: «<...> Восток – в данном случае Япония – создал то, чего в сфере повествовательной прозы западный феодализм не имеет: полноценный художественный реалистический роман» [Конрад, 1935: 9]. Имелась в виду «Повесть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари», X–XI вв.) Мурасаки Сикибу. «Может быть, трудно найти на Востоке второго Раблэ, но зато есть Сайкаку, создавший в XVII веке в Японии подлинный реалистический роман третьего сословия, дав полноценную галерею живых людей своего времени в обобщенных образах, вроде „Дон-Жуана нашего времени“ („Косёку итидай отоко“)» [Конрад, 1935: 10].

Тогдашние корейские литераторы «пролетарской» ориентации, члены КАПП («Корейской ассоциации пролетарских писателей»), ориентировались не только на советскую критику и литературоведение 1930-х гг., но и на рапповские теории, несмотря на упразднение РАПП в 1932 г. и решительное осуждение его положения о «диалектическом материализме» как методе пролетарской литературы в ходе дискуссии о соотношении метода и мировоззрения писателя [Поспелов, 1967: 51–80; История русской литературной критики, 2011: 266–269]. Советский литературовед В. Н. Ли сообщал, будучи уверен, что «социалистический реализм» мог существовать в Корее еще до возникновения понятия о нем в Советском Союзе: «Опубликованные на рубеже 20–30-х годов произведения членов КАПП по своим идейно-художественным достоинствам существенно отличаются от произведений предыдущих лет. Писатели по-новому подходят к явлениям действительности, к изображению положительного героя – выразителя интересов народа. С этого времени корейская проза (правда, не без отклонений, вызванных, во-первых, еще недостаточно высоким уровнем мировоззрения и мастерства писателей, и, во-вторых, жестокими репрессиями колониальных властей) развивается в русле социалистического реализма. Теоретической платформой этих перемен послужила новая программа Ассоциации (1927), в которой констатирова-

лось, что основной творческой методологией писателей является марксистская эстетическая теория» [Ли, 1964: 275–276]. Но это рапповцы пытались создавать художественные произведения по теории, считая, что философский метод диалектического материализма может быть творческим методом писателя.

Вместе с тем учитывался и опыт Первого Всесоюзного съезда советских писателей, хотя на нем было положено начало фактическому вытеснению в СССР критерия классовости критерием народности [Кормилов, 2009: 23]. Благодаря переводам, сделанным левыми писателями, корейские читатели познакомились с докладом М. Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, «сыгравшем большую роль в развитии корейской публицистики 30-х годов» [Ли, 1964: 269]. В.Н. Ли пишет: «Именно под влиянием Горького встал на путь реализма и крупнейший пролетарский писатель Кореи Чо Мен Хи (1894–1942)» [Ли, 1964: 269]. Впрочем, Горький влиял на писателей гораздо больше художественными произведениями, чем тем или иным докладом либо статьей. Что касается В.Н. Ли, то он в 1971 г. в Ташкенте выпустил книгу «Социалистический реализм в корейской литературе (Влияние М. Шолохова на творчество корейских писателей)».

Конечно, далеко не все корейские писатели и поэты 1920–1930-х гг. были солидарны с «пролетарскими». Ким Дон Ин, Ли Гван Су, Чхве Нам Сон, Чжу Ё Хан, Лян Чжу Дон, Ём Сан Соп, Чжон Но Пхун и др. заявляли, что в пределах одной нации не может отдельно от интересов всего народа существовать социалистический идеал пролетариата, а потому не может существовать и пролетарская литература. Эта «надклассово-шовинистическая» теория, как выражался советский кореевед, сочеталась «с эпигонством в эстетике. Сторонники ее проповедовали мистику, идеализацию старины, выступали против всего нового, прогрессивного» [Ли, 1964: 276].

Корейские литераторы «пролетарской» ориентации заимствовали у ближайших советских предшественников очень многое. Писательская работа неизменно сопровождалась идеологизированными рассуждениями о художественном творчестве. «В критических выступлениях корейских пролетарских писателей 30-х годов значительное место занимают статьи теоретического характера. Одной из центральных проблем дискуссии была проблема творческого метода – сначала «диалектико-материалистического», а потом метода социалистического реализма и связанный с этим вопрос о соотношении мировоззрения с творчеством писателя»

[Ли, 1964: 278]. Разумеется, положения советских критиков «адаптировались».

Корейские авторы писали о последних событиях в советской литературе. В 1931 г. в «Ежемесячнике литературы и искусства» 文藝月刊 вышла статья Хам Тэ Хуна 함대훈 «Реальное положение дел в литературных кругах советской России» 싸베—트 露西亞文壇의 現實 咸大勳 [Большой словарь корейской литературы, 1973: 1120]. В журнале «Литературное строительство» 文學建設 (1932) была опубликована статья Син Ын Сика 신응식 «Новые задачи советской литературы» 싸베—트文學의 새로운 課題 [Большой словарь корейской литературы, 1973: 1121], а в журнале «Образ» 形象 (1934) появилась статья Ан Хам Гвана 안함광 «Поддержать и защитить наш реализм в современной литературе» 時事文學의 擁護와 打습 나이 브리아리즘, где произведения советских писателей также брались за образец [Большой словарь корейской литературы, 1973: 1124]. В сборнике статей «Обзор новой литературы Кореи 1920–1930» (1957) были опубликованы статьи Ан Мака 안막 «За творческий метод социалистического реализма» 사회주의적 사실주의 창작 방법을 위하여 (1933) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 262–277], Ли Ги Ена 리기영 «К вопросу о творческом методе» 창작 방법문제에 관하여 (1934) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 209–218], Пак Сын Гыка 박승극 «О реализме» 사실주의 소론 (1935) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 278–287], «За утверждение творческого метода» 창작 방법의 확립을 위하여 (1935) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 292–307], Ким У Чхора «Долг критика-марксиста» 맑스주의 평론가의 임무 [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 317–322], Квон Хвана «Уроки, извлеченные деятелями корейского пролетарского искусства из харьковской конференции» 하리꼬브 대회 성과에서 조선 프롤레타리아 예술가가 얻은 교훈 (1931) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 312–316], Хан Сика «Необходимость переосмысления исторической литературы» 역사문학 재인식의 필요 (1937) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 335–344] и «О национальном и интернациональном в культуре» 문화의 민족성과 제성 (1931) [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 323–334] и др. Наряду с этими работами корейских литературоведов В.Н. Ли упоминает статью Хан Сика «Новое знакомство с социалистическим реализмом» (1936) [Ли, 1964: 276].

Некоторое время еще продолжало сохраняться влияние «пролеткультовцев и рапповцев. В Корею также находились люди, которые говорили о „диалектико-материалистическом методе“ (Ан Хам Гван), о „револю-

ционном реализме“ (Ким Ду Ён), рассматривая этот метод как сумму каких-то догматических правил (Хан Хё)» [Ли, 1964: 279].

Определенно сказалось влияние II Международной конференции революционных писателей (Харьков, ноябрь 1930 г.), которая «признала, что „творческим методом пролетарской лит-ры может быть только метод диалектического материализма“» [Матейка, 1934: 86]. В Международной организации революционных писателей были японская секция и группа китайских революционных и пролетарских писателей [Матейка, 1934: 90–91], которые могли оказывать непосредственное воздействие на писателей в Корее. Квон Хван об этом писал так: «В 20–30-х годах японская пролетарская литература была достаточно высоко развита. И прогрессивные литераторы Кореи многому учились у Японской ассоциации пролетарских писателей» [Обзор новой литературы Кореи, 1957: 313].

Ликвидация в Советском Союзе Пролеткульта и РАППа и провозглашение социалистического реализма основным методом советской литературы вызвали среди корейских литераторов горячую полемику. «Некоторые из них, неправильно восприняв политику коммунистической партии в области литературы и искусства, – сообщал позднее советский литературовед, ссылаясь на статью Ли Ги Ена, – стали утверждать, будто в Советском Союзе ликвидирована пролетарская литература и началось развитие какой-то иной литературы» [Ли, 1964: 280].

Не очень разобрались в том, что происходило на «родине социализма», и позднейшие историки корейской литературы XX в. С одной стороны, тоталитаризм «консолидировал» советское общество, унифицировал его. Ведь для великого вождя все равно, пролетарий ты или бывший граф, – это фигуры одинаково незначительные по сравнению с ним. С другой стороны, чисто классовый подход к реальности и к идеологии разъединял общество, что было уже неприемлемо. И рапповский «диалектический материализм» не мог стать литературоведческим, эстетическим понятием, а не просто отличался схематизмом. «Социалистический реализм» был хоть и идеологизированным, но литературоведческим понятием, которое противопоставлялось распространенному тогда термину «буржуазный реализм» («критический» все-таки оказался тоже предпочтительнее). Корейские же литераторы не слишком хорошо различали «метод» и «мировоззрение», и «диалектический материализм», как им казалось, был просто более схематичным методом, чем социалистический реализм. Дискуссия о творческом методе в Советском Союзе, писал Ан Мак, «была вызвана тем, что „диалектико-материалистический твор-

ческий метод“ оказался схематичным, превратился в канон, ограничивающий творческие возможности писателя. Попытавшись подменить опору на действительность опорой на категории диалектического материализма, он стал мешать многим писателям сблизиться с пролетарским мировоззрением» [Ли, 1964: 280]. Советский идеолог позже растолковывал: дело было не в том, что «диалектико-материалистический метод» мешал разным писателям «сблизиться с пролетарским мировоззрением», а в том, что он вульгализировал марксизм, игнорировал специфику художественного творчества, требовал от произведения лишь соответствия законам философской диалектической логики. «Тем самым отменялась необходимость изучения жизненной практики и снимался главный вопрос – о правдивом отражении в произведениях художника реальной действительности» [Иванов, 1953: 197].

Ан Мак дальше говорил о том, что «диалектико-материалистический метод» представляет собой упрощенчество, и игнорирование всей сложности и специфики художественного творчества называл большим недостатком этого «метода» [Ли, 1964: 281]. Однако в целом к тезису рапповцев Ан Мак относится сравнительно мягко. «Если тезис «диалектический материализм в творческом методе» рассматривать как теоретическую предпосылку для творческого метода и как один из элементов, входящих в систему мировоззрения, то он в принципе был правильным», – писал он, все же оговаривая, что сторонники этого тезиса «не видели сложных взаимоотношений между мировоззрением и творческим методом и смешивали одно с другим» [Ли, 1964: 281].

Считая, что любым пролетарским писателям априорно свойствен «пролетарский реализм», он и некоторые писатели утверждали, что «отныне весь вопрос сводится лишь к отысканию новых форм» [Ли, 1964: 281–282]. Кроме того, с 1931 г. в Корею получил распространение рапповский лозунг «живого человека», увлекавший писателей, по словам Ан Мака, в болото «мелкобуржуазного реализма» и уведивший их от острополитических тем [Ли, 1964: 282].

Литераторы 1930-х гг. проявляли и самокритичность. В работе «По вопросу о творческом методе» (1936) Ли Ги Ён писал, что до сих пор пролетарская литература была «чрезмерно идеологичной» и идеология понималась как «сама жизнь художественного произведения». «Все, что не относилось к идеологии, – излагал его позицию В. Н. Ли, – отбрасывалось. Ввиду этого художественная литература не отличалась от агитационной литературы и плакатов» [Ли, 1964: 282–283]. В этот период писате-

ли, увлеченные идеологической борьбой, по словам Ли Ги Ёна, главным образом обращали внимание на идейную сторону произведения в ущерб ее форме [Ли, 1964: 283].

Глубокое осмысление реалистической литературы прошлого, по мнению Хан Сика, высказанному в статье «Новое знакомство с социалистическим реализмом» (1936), поможет корейским пролетарским писателям лучше понять социалистический реализм как высший этап в развитии реализма, он сложился на основе богатых традиций всей предшествующей литературы [Ли, 1964: 284]. Реализм прошлого, и в этом величайшее его завоевание, полно показал одну сторону связей человека с действительностью – зависимость его от окружающих условий. А социалистический реализм осветил другую, почти неизвестную сторону – способность человека воздействовать на общественное развитие, раскрыл историческую роль простых людей – подлинных хозяев жизни, как в духе времени выражался Хан Сик.

В.Н.Ли в статье «О периодизации истории современной корейской литературы» писал: «В Северной Корее революционный переворот, стремительный рывок из царства феодальных отношений в социализм преобразил все: людей и мышление, быт и искусство. Бурным, с точки зрения обновления литературы, был период 1945–1950 гг., когда продолжение собственных революционных традиций сочеталось с жадным усвоением марксистской эстетики и опыта советской литературы» [Ли, 1968: 340]. 25 марта 1946 г. была создана Ассоциация литературы и искусства, которая функционировала под лозунгом «Искусство и литература должны служить народу!» Главной задачей литературы этого периода провозглашалось правдивое отражение ростков нового и прежде всего процесса рождения нового человека [Ли, 1968: 340].

Естественно, что корейские писатели обратились к опыту советской литературы, с которой они познакомились еще в 1920–1930-х гг. Однако активное, настоящее знакомство с советской литературой начинается лишь после освобождения страны. Пак Чон Сик в статье «Влияние советской литературы на корейскую литературу» перечисляет имена советских писателей разного масштаба – М. Горького, В. Маяковского, Н. Островского, А. Фадеева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, А. Твардовского, К. Симонова, М. Бубеннова, Б. Полевого, М. Луконина, В. Ажаева, В. Попова, К. Тренева, В. Лациса, Э. Казакевича, Б. Горбатова, В. Кочетова, В. Василевской, А. Чаковского, Н. Вирты, М. Исаковского и Н. Тихонова, – которые будто бы все становятся популярными [Пак Чон Сик, 1955: 437–438].

По словам корейского исследователя, если бы «советская литература, имеющая в своем активе классические образцы, не служила живым примером, нашим писателям пришлось бы пройти очень долгий и извилистый путь», чтобы овладеть новым методом, который определялся как *госанхан сасильчжуй* – «возвышенный реализм» *고상한 사실주의* [Пак Чон Сик, 1955: 436].

До 1960-х гг. корейские литературоведы выпустили лишь несколько работ, которые свидетельствовали о первых шагах в изучении теоретических проблем. Количество таких работ, однако, из года в год увеличивалось. О влиянии тенденций советского востоковедения говорит тематика теоретических изысканий корейских литературоведов, которые сфокусировались на проблемах реализма в национальной литературе. Это, в частности, статьи Ким Хамёна 김하명 «О формировании реализма в корейской литературе» (조선 문학여서의 사실주의의 발생여 관하여) (1957), Ко Чжонока 고정옥 «Реалистические традиции в корейской литературе» (조선 문학의 사실주의적 전통) (1958), Ю Чхан Сона 류창선 «Вопрос о возникновении реализма и критического реализма» (사실주의와 비판적 사실주의 발생 문제) (1959), опубликованные в журнале «Корейский язык и литература». Итоговой обобщающей работой по данной проблематике стал «Сборник статей о реализме» (사실주의여 관한 논문집), изданный в Пхеньяне в 1959 г.

Специальных работ о жанрах и направлениях в корейской литературе до 1957 г. в Корее появилось немного: это «История корейской повествовательной прозы» (조선 소설사) Ким Тхэчжуна 김대준, вышедшая в Сеуле в 1939 г., статья Ким Мин Хёка 김민혁 «Критический реализм» (비판적 레알리즘), опубликованная в пятом номере журнала «Молодежная литература» за 1956 г., и статья Ко Чжонока «О жанрах корейской литературы. В основном о формировании и развитии жанров в корейской литературе до XIX в.» (조선 문학의 장르에 관하여. 주로 十九세기 이전 조선 문학의 장르들의 발생과 발전 과정에 관한 소리), напечатанная в шестом номере журнала «Корейский язык и литература» также в 1956 г.

В 1960 г. корейские литературоведы активизировали свою исследовательскую деятельность по этому вопросу. В третьем номере журнала «Корейский язык и литература» была опубликована статья Ли Ынсу 리응수 «Вопросы о зарождении реализма в корейской литературе» (조선문학에서의 사실주의 발생 시기 문제), в четвертом номере этого же издания – статья Ко Чжонока «Этапы развития реализма в корейской классической литературе» (조선 고전문학에서의 사실주의 발전 단계들), а в следующую

щем, пятом номере – Хан Ёнока 한룡옥 «Еще раз к вопросу о формировании реализма в корейской литературе» (조선문학에서 사실주의 형성 시기문제와 다시 한번 논함).

В 1962 г. в третьем номере журнала «Изучение литературы» вышла статья Юн Доки 윤독이 «Критический реализм в корейской литературе» (우리나라 문학에서의 비판적서사실주의). В том же году в третьем и четвертом номерах этого журнала была опубликована статья Хан Чунмо «О зарождении и развитии реализма в корейской литературе» (조선문학에 서사실주의 발생과 발전에 대하여).

Хён Чонхо 현전허 в «Литературной газете» 24 августа 1962 г. поместил статью «Вопросы реализма и критического реализма в корейской литературе» (조선문학에 서사실주의와비판적 사실주의 문제», а 29 марта 1963 г. там же – «Вопрос о зарождении реализма в корейской литературе» (조선문학에 서사실주의 발생문제).

Работы корейских литературоведов по проблемам реализма вошли в сборник статей «Зарождение и развитие реализма в литературе нашей страны», изданный в Пхеньяне в 1963 г. (우리나라 문학에서 사실주의 발생과 발전).

В 1964 г. Хан Чунмо во втором номере журнала «Изучение литературы» опубликовал статью «Народность корейской реалистической поэзии XII–XIV вв.» (XII–XIV세기조선 서사실주의 시문학의 인민성.), Ким Хамён в «Рабочей газете» 19 февраля 1964 г. – статью «Бессмертные шедевры реализма. По поводу «Повести о Чхунхян», «Повести о Симчхон», «Повести о Хынбу» и других» (서사실주의 불후의 명작. 춘향전, 심청전, 흥부전등을 중심으로).

Корейская литература (шире – культура) до середины XX в. изучалась в пределах той или иной династии, в русле традиционной периодизации, или по векам. В южнокорейском литературоведении эта периодизация господствует по настоящее время. Но с образованием КНДР возросло влияние советской культуры на северокорейское литературоведение. Идеологи нового, коммунистического мировоззрения требовали, чтобы национальная культура, литература изучались с точки зрения марксистского учения об историко-культурных формациях, в соотношении с такими движениями западноевропейской культуры, как античность, Возрождение (Ренессанс), классицизм, Просвещение. И ученые КНДР при написании академической «Общей истории корейской литературы», первый том которой вышел в Пхеньяне в 1959 г., отказались от господствовавшего до 1945 г. в корейском литературоведении династийного принципа литературной пе-

риодизации. Для корейской культуры это был глобальный культурный поворот, поскольку вводилась новая система отсчета, новая шкала художественных ценностей, разрушавшая многовековые представления о культуре.

Северокорейские писатели и литературоведы в эти годы усиленно занимаются не только созданием литературы, пронизанной классовыми идеями, но и введением в научный оборот современной терминологии. Хотя корейцы начали знакомиться с западноевропейской литературной терминологией по мере появления первых переводов зарубежной литературы, в основном с японского языка, в конце XIX – первые десятилетия XX в., но в целом в национальном литературоведении она только складывалась. Если на первоначальном этапе корейцы больше уделяли внимание собственно характеристике тех или иных заимствованных терминов и понятий, то теперь пытались найти соответствующие понятия и определения в корейском языке. Это был сложный процесс. Ко Чжонок считал, что обозначением «направления» в широком значении могут выступать *панхян* 방향, *сачжо* 사조 (ошибочно напечатано *сичжо*), *кёнхян* 경향, а термин *чжорю* 조류 潮流 обозначает «течение» и термин *рюхва* 류파 流派 – «школу». В работе Ли Ын Су «Течения в корейской литературе 1–9 вв.» (1963) термин *сачжо* 사조 понимается как «течение». Корейские литературоведы начинают вводить в широкое употребление понятия «жанр» *чжанры* 장르 (장르) и «метод» *панбо* 방법, позднее переводят включающий их словарь [Тимофеев, Венгров, 1958: 60, 69]. Рассуждая об этапах национальной литературы, они используют термины «древний реализм» *госашилжу*의 古寫實主義, «средневековый реализм» *чунсе*의 사실주의 中世의 寫實主義, «критический реализм» *бипан* 적 사실주의 (비판적 레알리즘) [там же:80]. Если термины «просветительство» *кхва ундон* 개화 운동, «народность» *инминсон* 인민성 (국민성, 민족상) заимствуются из национальной культуры, то понятия «романтизм» *наньманчжусый* 낭만주의 (랑만주의) 浪漫主義, «эпоха Возрождения» *рынесансы сьдэ* 르네상스 시대 и др. оставлены в том виде, в каком были заимствованы. Т.е. некоторые термины формировались по принципу семантической аналогии; например, «реализм» производили от корейского слова «факт», «действительность» *сасил* 사실, «критический реализм» – от корейского слова «критика» *пипхан* 비판, другие же термины передавались в транскрипции и сохранили свое первоначальное звучание; кроме только что названных это, например, «реализм» *ре-аличжим* 레알리즘, «жанр» *чжанры* 장르 (장르), «эпос» *эбосы* 에뽀쓰 [Тимофеев, Венгров, 1958: 92].

Большинство корейских исследователей реализм в «широком смысле» понимали как творческий метод, существовавший задолго до XIX в. По мнению некоторых критиков, например Хён Чонхо, реализм вообще нельзя отождествлять с критическим реализмом XIX в. Тон Гынхун также рассматривает реализм в «широком смысле» без эпитета «критический», как всю реалистическую литературу, которая предшествовала литературе критического реализма. Он считает, что реализм в широком смысле затем развился в реализм, который принято называть «критическим» [Тэн, 1980: 69].

Ко Чжонк в статье «Традиции реализма в корейской литературе» писал: «Это тот творческий метод, который сложился и развился в процессе художественного отражения разнообразных явлений в их закономерности, объективной обусловленности, в причинно-следственной связи, выявления их сущности. Однако в зависимости от эпохи и писателя глубина и степень вскрытия сущности явлений не может быть одинаковой. Иногда они могут проявиться недостаточно и непоследовательно. Но достаточно наличия такой попытки, тенденции, пусть даже порой неосознанной, стихийной, чтобы искусство развивалось по пути реализма» [Тэн, 1980: 69].

При этом правдивость деталей считается обязательным признаком реализма. Юн Гидок утверждает: «<...> если исключить одну из двух сторон формулы Энгельса, не может быть подлинного реализма» [Тэн, 1980: 70]. Юн Гидок имеет в виду первую часть этой формулы – требование правдивости деталей, когда налицо типический характер или типическое обстоятельство или же характер, воплощающий в себе опыт, накопленный в типических жизненных обстоятельствах. Более того, если произведение содержит типическое даже в минимальной степени, его можно, по мнению Юн Гидока, квалифицировать как реалистическое. Действительно, многие произведения лирики приобретают известность в качестве реалистических произведений при наличии лишь единственного критерия – типических жизненных испытаний. «Это именно так в отношении лирических стихотворений любой эпохи» [Тэн, 1980: 70]. Т.е. у Юн Гидока жизнеподобные формы изображения, бытописание уже трактуется как реализм.

Другую позицию по этому вопросу занял в 1960-е годы литературовед Ли Ынсу 리응수, для которого реализм в «узком» смысле является творческим методом, порожденным литературным развитием эпохи капитализма. В корейской литературе, согласно его взглядам, до XX в. не было

реалистического метода; в творчестве просветителей, в частности Пак Чивона, он появляется лишь в виде первых ростков. Полнокровного и полноценного реализма, по его мнению, не может быть без капиталистического развития [Тэн, 1980: 68]. И еще некоторые корейские литературоведы выступали за узкое понимание реализма, считая, что этот термин относится только к критическому реализму XIX в., к литературе новейшего времени. Но они оставались в меньшинстве.

Абсолютизация «реализма» и в Северной Корее и в СССР относилась не только к литературе, но практически ко всем видам искусства. Например, режиссер кукольного театра С.В.Образцов, побывавший в 1952 г. в Китае, так отзывался о традиционном изобразительном искусстве китайцев:

«Китайский народный художник глубоко реалистичен. Именно реалистическая точность и верность изображения ставила меня в тупик, когда я осматривал музеи, пробовал определить, в каком веке сделана какая-либо ваза, статуэтка или вышивка.

В европейском искусстве, вне зависимости от того, художнику какой страны принадлежит данное произведение и являетесь ли вы знатоком или нет, вам, по существу, невозможно спутать картину или скульптуру средневековья со скульптурой или картиной эпохи Возрождения, так же как не представляет никакого труда отличить шестнадцатый или семнадцатый век от девятнадцатого или двадцатого.

Но надо быть очень большим знатоком изобразительного искусства Китая, чтобы не ошибиться в определении возраста отдельных произведений. <...> И в вышивках, и в многометровых акварелях-панно, и в резных или инкрустированных ширмах, и в многофигурных скульптурных композициях, и в рисунках на вазах или чашках китайский народный художник, изображая тот или иной предмет, живую или мертвую натуру, всегда стремится к документальной подлинности изображения» [Образцов, 1957: 46–49].

В этом рассуждении если не «реализм», то «реалистичность» (хотя вряд ли Образцов различал эти понятия; нет их четкого разграничения и у современных теоретиков литературы) тождественна «документальной подлинности изображения», т.е. внешнему жизнеподобию. Оно, кстати, преувеличено. Известно, что фигуры в китайской живописи вытянуты по вертикали; это объясняется влиянием иероглифической графики, выстраивающей строку сверху вниз. Образцов же в другом месте и театральную усложненность, исключаящую внешнее жизнеподобие, пред-

ставляет как вовсе не препятствующую реализму: «Да, китайский театр условен, как и всякий театр, но разве из этого неизбежен вывод, что он не реалистичен? Разве условность и реалистичность обязательные антагонисты? Разве может быть „безусловное“ изображение какого-либо явления? <...> Художественное произведение может быть реалистическим или нереалистическим не от степени условности, а от наличия или отсутствия внутренней правды» [Образцов, 1957: 192].

Действительно, всякое искусство условно, реалистическое в том числе. Но «внутренняя правда» – понятие слишком расплывчатое, чтобы быть достаточным для характеристики реалистического творческого метода. «Внутренняя правда», в каждом случае особенная, есть в классицизме и романтизме, искусстве античности и средневековья, даже в сказке, которая, согласно русской поговорке, в отличие от песни – «складка», т. е. выдумка, а не быль. В древнерусской литературе не было осознанного вымысла при наличии весьма разнообразной фантастики [Лихачев, 1970: 108]. Е. М. Черноиваненко писал, цитируя одного из предшественников: «По мнению Н. А. Игнатенко, мы, говоря о жизнеподобии искусства Средневековья в (так. – Г. А., С. К.) жизнеподобии искусства Нового времени и подходя к ним с „требованиями и мерками современного нам новоевропейского мышления“, забываем о том, что „у первого объектом заинтересованности была действительность ирреальная, мистическая, а у второго – действительность реальная... Тем не менее каждое со своей стороны изображает *наибольшую* реальность. <...> Средневековье, более того, считало объект своего изображения даже не то чтобы реальностью, а реальностью реальностей, сверхреальностью. Это мы со своей точки зрения, с точки зрения XX века, отказываем ему в реалистичности мышления, само же оно, не мудрствуя лукаво, считало, что мыслит предельно реалистично – более реалистично, чем античность, и более реалистично, чем оно, никогда не сможет думать род людской» [Игнатенко, 1986: 158–159]. <...> Жизнеподобие – тоже исторически изменчивая категория, – добавляет Е. М. Черноиваненко. – Каждая эпоха по-своему понимает ее, ибо каждая эпоха по-своему понимает самую жизнь» [Черноиваненко, 1997: 61]. Одновременно В. П. Руднев, развивая подобные соображения, в статье «Реальность» своего «Словаря культуры XX века» вообще упразднил это понятие, а вместе с ним и «реализм» [Руднев, 1997: 255–257, 252–255]. Вместе с тем взамен ранее раздутого реализма он непомерно раздул романтизм: «<...> с начала XIX века и до середины XX века существует в каком-то смысле одно направление, назовем его Романтизмом с боль-

шой буквы, – направление, по своему 150-летнему периоду сопоставимое с Ренессансом, барокко и классицизмом. Можно назвать Р<еализм> <...>, например, поздним романтизмом, а модернизм – постромантизмом» [Руднев, 1997: 254]. Вскоре с отрицанием самого явления реализма выступил также Д.В. Затонский. С ним спорил В.Е. Хализев:

«Само это слово порой объявляется „дурным“ на том основании, что его природа (будто бы!) состоит лишь в „социальном анализе“ и „жизнеподобии“ [Затонский, 1998: 28–29]. При этом литературный период между романтизмом и символизмом, привычно именуемый эпохой расцвета реализма, искусственно включается в сферу романтизма либо уклончиво аттестуется как „эпоха романа“.

Изгонять из литературоведения слово „реализм“, снижая и дискредитируя его смысл, нет никаких оснований, – подытоживает В. Е. Хализев. – Насушно иное: очищение этого „полутермина“ от примитивных и вульгаризаторских напластований» [Хализев, 2009: 391–392].

Таким «напластованием» и было распространение реализма чуть ли не на все эпохи – или по крайней мере начиная с эпохи Возрождения – и практически на все литературы.

Дискуссия о реализме в мировой литературе, состоявшаяся в ИМЛИ в 1957 г., положила начало конкретно-историческому переосмыслению этого метода. Правда, большинство литературоведов пока продолжало считать, что реализм возник еще в эпоху Возрождения. Столь выдающийся ученый, как В.М. Жирмунский, даже продолжал наряду с классическим («критическим») реализмом XIX в. признавать «более широкое понятие реализма», «историко-типологическое», говоря «о постепенном накоплении в литературе элементов реалистического изображения действительности и о развитии литературы в сторону все более глубокого познания действительности, объективной истины» [Жирмунский, 1959: 449–450]. Исследователь ссылаясь на выступление Д.С. Лихачева, напечатанное под названием «У предыстоков реализма русской литературы» (хотя там шла речь даже не об «истоках», а лишь о «предыстоках» реализма в Древней Руси), и высказывался в совершенно прежнем духе: «С этой точки зрения я считаю, что можно с полным правом говорить о монументальном эпическом реализме Гомера или узбекского эпоса „Алпамыш“, о наивном реализме средневековых фавлю и шванков, о реализме готической скульптуры Наумбургского собора XII–XIV веков и т. п.» [Жирмунский, 1959: 450]. В отличие от него участник этой дискуссии Н.И. Конрад в докладе «Проблема реализма и литературы Востока»

решительно отказался от своего прежнего внеисторического подхода, в том числе от причисления к реалистическим произведениям «Повести о Гэндзи»: «Термин „реализм“ прилагается и к литературе XVIII века во Франции, Германии, Англии и к литературе западноевропейского Возрождения. Можно встретить слово „реализм“ и в суждениях о „Витязе в тигровой шкуре“, о „Повести о Гэндзи“, даже о... Гомере. Пожалуй, легче сказать, к чему не применяется словечко „реализм“, чем перечислять те произведения, появившиеся у разных народов в разные времена, к которым его прилагают» [Конрад, 1978: 78]. Реализм в этом докладе рассматривался только как возникший в европейских литературах XIX в.: «К своей реалистической литературе страны Востока подходили обычно позже, чем передовые страны Запада. Даже в Японии, которая в 70-х годах XIX в. ступила на путь самостоятельного капиталистического развития и очень быстро по нему продвигалась, даже в ней реалистическая литература типа, характерного для Европы второй и третьей четверти XIX в., начала формироваться лишь в самом конце XIX в. <...>» [Конрад, 1978: 75].

Н. И. Конрад не был последователен и в 1960-е. Эпоху Возрождения он продолжал понимать очень широко и в ряде статей утверждал, что на Востоке она началась намного раньше, чем на Западе. В работе 1968 г. «„Витязь в тигровой шкуре“ и вопрос о ренессансном романтизме» он условный «романтизм» находил в пределах той же эпохи, не отрицая теперь и условного старинного «реализма». Поэмы Фирдоуси, Низами, Руставели, Навои, Ариосто и Тассо (фактически средневековые и ренессансные), по его мнению, давали «право заговорить о наличии в литературе Ренессанса особой романтической линии – о *ренессансном романтизме*. <...> Надо говорить о романтизме „своем“, „ренессансном“ и к самому слову „романтизм“ отнести как к условному обозначению некоторой суммы признаков, отличающих все перечисленные поэмы от других видов литературы той же эпохи; к обозначению столь же условному, каким является и „реализм“ в приложении к некоторым из других видов этой литературы, в первую очередь – к новелле» [Конрад, 1978: 106]. Это гораздо большее раздувание «романтизма», чем будет позднее у В. П. Руднева или Д. В. Затонского.

Постепенно советское литературоведение перестало искать реализм в литературах античности и средневековья, а «реализм эпохи Возрождения» и «реализм эпохи Просвещения» все чаще если и признавались, то с большими оговорками.

В 1970-е гг. конкретно-исторически мыслящие ученые уже стараются не применять термин «реализм» к каким-либо эпохам до XIX в. Думается, русский язык позволяет точно употреблять по отношению к этим эпохам только понятие «реалистичность», означающее внешнее жизнеподобие, но не творческое воплощение *закономерностей*, определяющих судьбы людей как исторически и социально обусловленные.

Для позднего советского литературоведения характерна теория творческих методов и художественных систем, разработанная И. Ф. Волковым. Она в полной мере конкретно-исторична, демонстрирует принципиальные различия художественных систем, которые раньше считались стадиями развития реализма. К античности и средневековью И. Ф. Волков применял свой термин «универсализм» с определениями «мифологический» и «христианский» [Волков, 1978: 75] – о литературах Востока речь не шла. Ренессансная литература представляла как «универсальная» по ряду параметров. «Искусство Возрождения „универсально“, так как воспроизводило современные ему характеры как проявление всеобщей, извечно существующей природы человека. Оно „универсально“ и в том смысле, что создавало на этой основе всесторонние характеры героев. Оно „универсально“ также потому, что синтезирует художественную правду о своих современниках и о человеческой жизни вообще с иллюзорным представлением об общественном характере жизни как заданном естественной природой человека. И, наконец, искусство Возрождения «универсально» и в том смысле, что заимствовало уже готовые образы и сюжеты из предшествовавшей образной культуры» [Волков, 1978: 89]. Просветители, согласно разъяснению И. Ф. Волкова, «воспроизводили типические, исторически сложившиеся характеры своих современников, но воспроизводили их вслед за искусством Возрождения не как исторически сложившиеся, а как изначально заданные в своей подлинной сущности естественной природой человека или как противоречащие ей случайные напластования на человеке» [Волков, 1978: 100]. Романтизм при всей самоценности этой художественной системы оказывается вместе с тем необходимой ступенью на пути искусства к реализму. «В романтизме конкретно-исторический характер героя и окружающие его конкретно-исторические обстоятельства находятся лишь во внешней взаимосвязи, по существу же они оказываются здесь вполне самостоятельными и независимыми друг от друга. В реализме XIX – XX веков между конкретно-историческими характерами и обстоятельствами идет сложное диалектическое взаимодействие, определяющее сущность

того и другого. При этом необходимо учитывать, что в художественной практике существуют и переходные формы, в которых диалектическое взаимодействие между характерами и обстоятельствами только намечается. И тогда бывает особенно трудно точно определить принадлежность художественного произведения к той или иной художественной системе – например, „Дон Жуана“ Байрона, „Шуанов“ Бальзака, „Дубровского“ Пушкина, „Героя нашего времени“ Лермонтова» [Волков, 1978: 153]. Тема «прогресса в искусстве», характерная для советского литературоведения, даже не затрагивается, разные художественные системы в силу их исторической неповторимости выглядят как эстетически равноправные (хотя на практике они отнюдь не обязательно равноценны).

Востоковеды, занимавшиеся литературами, менее всего тяготевшими к реализму или хотя бы непосредственной ясности смысла произведений, без сложных символов и аллегорий (так, поэзию китайского классика III в. н.э. Тао Юань-мина «современники, да и несколько последующих поколений не заметили именно из-за ее сравнительной простоты, склонности к прямому выражению смысла» [Смирнов, 2014: 39]), оказались, однако, наиболее упорными защитниками предельно расширительного понимания реализма. Среди них выделяются корееведы.

Впрочем, они в данном вопросе проявляли себя по-разному. Например, в сборнике 1959 г. «Корейская литература» А. Н. Тэн, защитившая кандидатскую диссертацию на тему «Очерки современной корейской литературы (демократические национальные традиции и социалистический реализм в корейской литературе)» (1954), впоследствии ярая сторонница самого широкого понимания корейского «реализма» («Мы считаем, что именно реализм составляет основной путь развития корейской литературы в прошлом. Он неуклонно развивался в борьбе с догматическим „классицизмом“» [Тэн, 1971: 26]), в статье «Корейская классическая проза XVII–XVIII вв.» избегала говорить о нем; вероятно, будучи жительницей Караганды, боялась показаться среди авторов столичного сборника экстремисткой. Но А. Ф. Троцевич поместила в том же сборнике статью, соответствовавшую заглавию «Особенности языка и стиля „Повести о Чхун Хян“», и тем не менее вскользь упомянула, что в произведении рубежа XVIII–XIX вв. действительность показана «реалистически» [Троцевич, 1959: 64]. Хотя Л. Е. Еременко «элементы реализма» усматривал в поэзии начиная с XV в. («В поэзии элементы реализма появились прежде всего в произведениях, написанных в форме сичжо и кася – классической форме исконно корейских поэтических произведе-

ний, распространенной в корейской литературе с XV по XIX в.» [Еременко, 1959: 41]), все-таки «реализм» и «романтизм» он отнес к неприемлемо позднему для А. Н. Тэн времени – второй половине XVIII в.: «Реалист Пак Чи Вон создал галерею жизненных, типических образов: мудрого Мин Она, ни к чему неспособного янбана, трудолюбивого Ом Хэн Су, но в „Сказании о Хо Сэне“ писатель выступил романтиком. <...> Автор стремится убедить читателя в том, что изображенное им утопическое государство будет существовать и в действительности» [Еременко, 1959: 58]. Нет никакой попытки доказать, что утопия – это именно романтизм. Вообще же данный автор якобы «заложил основы критического реализма в корейской литературе» [Еременко, 1959: 59]. К нему присоединен неизвестный автор знаменитой повести, возникшей на фольклорной основе: «<...> реализм в корейской литературе сформировался в XVIII в., когда героями произведений стали простые люди, действующие в реальных обстоятельствах, совершающие реальные поступки. Таковы герои „Повести о Чхун Хян“ и герои Пак Чи Вона» [Еременко, 1959: 60]. Аргументация в пользу такого «критического реализма» слишком слабая. «Повесть о Чхун Хян» – вполне традиционалистское произведение с обязательным торжеством добродетели. Она бы не была столь популярна, если бы ее идеология и поэтика не уходили корнями в глубокую древность.

Статьи о литературе XX в. тоже не отличаются глубоким пониманием реализма. Д. М. Усатов просто констатировал, что «школа нового направления» отражала действительность „реалистически“ [Усатов, 1959: 118], но тут же процитировал совершенно неестественную, книжную и высокопарную речь бедствующего рабочего, одного из «грубых невежественных людей», в рассказе Сон Ёна «Растущая толпа» (1925): «Пусть небольшая стая волков устраивает маскарад на изысканной сцене. Нам нет там места, но не стоит об этом жалеть. Лучше пойти к залитому солнцем мосту. Там взойдет для нас новое утро» [Усатов, 1959: 119]. Исследователь признает, что в рассказе Хан Сер Я «Перелом» «проявилась недостаточная идейная зрелость автора. Правдиво изображая упадок корейской деревни и разорение крестьян японскими колонизаторами, писатель в то же время склонен к идеализации патриархального прошлого <...>» [Усатов, 1959: 127]. В романе «Сумерки» (1936) Хан Сер Я определенно проводит принцип классовости со слишком заметным нажимом и колебания персонажей показывает в духе рапповской механистической теории «живого человека», но Д. М. Усатов никакой натянутости в этом не видит: «В „свободомыслящем либерале“ Кён Чэ после продолжительных колеба-

ний и исканий победило его классовое происхождение, он стал на сторону директора Ана, а Рё Сун, девушка из бедной крестьянской семьи, прикнула к рабочим» [Усатов, 1959: 135]. Главный герой романа, «сознательный борец против угнетателей» Чун Сик, «хорошо разбирался в людях. Заметив колебания Рё Сун, он помог ей стать на правильный путь. Он предвидел, что Кён Чэ не пойдет одной дорогой с рабочими, и говорил Рё Сун, что Кён Чэ, которого она любит, чужой для нее и никогда она не поймет его, а он – рабочих» [Усатов, 1959: 137, 138]. Классовая сознательность, таким образом, превозмогла любовь к недостойному либералу. Закljučая разбор, Усатов неосознанно повторяет рапповский «термин» «живой человек»: «Герои романа „Сумерки“ – живые люди Кореи 30-х годов» [Усатов, 1959: 143]. Л. К. Ким ничтоже сумняшеся представляет поэтическое творчество Чо Ги Чхона как «дальнейшее развитие метода социалистического реализма в Корее, ростки которого появились в поэзии в 20–30-х годах» [Ким, 1959: 171]. Но главная поэма Чо Ги Чхона «Пектусан», созданная под влиянием советской литературы и отличающаяся безусловным тематическим, жанровым и стилистическим новаторством, вместе с тем сохраняет чрезвычайно давние, вплоть до мифологических, национальные традиции [Аманова, 2012: 153–155].

В 1968 г. А. Н. Тэн опубликовала статью «Традиции реализма в корейской литературе» (Вопросы литературы. №12), где заявила о зарождении реализма в наиболее ранних памятниках корейской словесности. Историю Ренессанса в Корее она вела от творчества Цой Чи Вона (Цой Чхивона), жившего в IX в. Д. Д. Елисеев, М. И. Никитина и А. Ф. Троцевич выступили по этому поводу с совместным заявлением. Они указали, что самые ранние памятники корейской письменности довольно малочисленны и не только не изучены, но и не прочитаны как следует, «о периоде корейской литературы до XIV века пока можно сказать лишь то, что он еще в корееведении не исследован; не прочтены и не осмыслены основные памятники, представляющие эту эпоху. А они не читаются с листа» [Елисеев, Никитина, Троцевич, 1969: 188]. Однако времени появления реализма трое корееведов не назвали. Годом ранее двое из них высказались в пользу гораздо более позднего времени, чем А. Н. Тэн, но и более раннего, чем сторонники конкретно-исторического понимания реализма, а третий сочувственно их процитировал в своей монографии 1977 г. Наметившаяся в XV и затем в XVII–XVIII вв. «демократизация» литературы в XIX в. «продолжает усиливаться во всех аспектах, уже заметнее становится поворот от романтического метода изображения к ре-

алистическому» [Елисеев, 1977: 206]. «Герои и события, – цитирует Д.Д. Елисеев, – нередко даются в реалистическом плане: поведение персонажей <...> в значительной мере обусловлено жизненными обстоятельствами; усилена психологическая мотивировка поступков людей; появляется реалистический пейзаж, лишенный элементов условности. Идеальный герой уходит из литературы» [Никитина, Троцевич, 1968: 151–152].

В 1971 г. А.Н.Тэн свою концепцию положила в основу докторской диссертации, представленной в МГПИ имени В.И.Ленина. Ее теоретическая база была примитивна. Вот определение главного для соискательницы понятия: «В корейской литературе в прошлом, задолго до реализма XIX в., были созданы многочисленные произведения в стихах и прозе, в которых верно, правдиво, точно и глубоко отражены природа, социальная действительность той или иной эпохи, богатый внутренний мир человека, мир его интеллекта, его личный и общественный опыт. Это и есть реализм» [Тэн, 1971: 27]. Сказано, собственно, не о методе, а о предметах изображения, которыми занимается любая литература, и выдан ряд комплиментарных, в сущности тавтологических («верно, правдиво» и т.д.), эпитетов «реализма» в литературе Кореи. Далее относительно самой популярной стихотворной формы, часто называемой жанром, предложено не менее расплывчатое определение «реализма»: «Сичжо реалистично, если можно назвать реализмом классическую ясность и простоту, правдивость и содержательность» [Тэн, 1971: 35]. На самом деле корейская поэзия вслед за китайской тяготела к иносказательности, в частности, внешне любовная лирика должна была означать выражение вассальной преданности государю. А.Н.Тэн призывала, вопреки большинству литературоведов КНДР, не «рассматривать народные повести XVIII в. в общем потоке с просветительской литературой века», поскольку даже обработанное анонимными авторами «бессознательное, стихийное творчество народных масс» (сомнительный комплимент собственному этносу) «в основе своей остается творением фольклорным и несет в себе черты фольклорного реализма, отличного от реализма просветительского» [Тэн, 1971: 47]. Чем именно «фольклорный реализм» отличен от «просветительского», для читателей автореферата оставалось загадкой. А историзм – определяющее качество подлинного реализма – диссертант понимал как результат трансформации мифологии в историю подобно происходившему в китайской словесности, т.е. речь шла не о концепции развития общества, а об опоре на факты действительности с двояким ху-

дожественным результатом: «<...> своеобразный средневековый историзм <...> одновременно и способствовал развитию реализма, и сковывал его возможности, подчиняя художественный вымысел факту» [Тэн, 1971: 41]. Не исключено, что автор-«марксист» усматривал в таком своем рассуждении «диалектику», так же как древнее учение «о пяти первоэлементах природы и двух противоположных началах в ней» считал проявлением «материалистическо-философской мысли» [Тэн, 1971: 15].

В предельно расширительном толковании «реализма» А. Н. Тэн шла не за большинством современных ей советских, а за корейскими литературоведами, которыми была «проделана значительная работа по изучению проблемы реализма в отечественной литературе. Что же касается советского востоковедения, то оно по существу еще не занималось этой проблемой» [Тэн, 1971: 4]. Не занималось, так как проблемы не было. Ее вслед за советским литературоведением 1930-х – первой половины 1950-х гг. выдумали оставшиеся на прежних позициях, т. е. считавшие «реализм» главным критерием идейности и художественности во все эпохи, литературоведы КНДР и А. Н. Тэн. Фактически в ответ трем своим критикам она заявляла, что «литературной наукой КНДР корейская литература I–X вв. изучена не менее, чем литература последующих исторических эпох» и что «об этой ранней поре корейскими литературоведами написано даже больше специальных монографических исследований, чем о литературе более поздних времен» [Тэн, 1971: 6–7]. Подобным образом в свое время В. К. Третьяковский пытался доказать древнейшее происхождение славян («Наименование „этруски“ означает всего->навсего „хитрушки“. Иберы – это славянские племена, при расселении на запад упершие<ся> в море – „уперы“ и т. д.» [Формозов, 2012: 33]. Но не все корейцы возводили свой «реализм» к самой глубокой старине. Одни его находили уже в IX в. (и Тэн на их стороне), другие – к XII–XIV, третьи – к XVIII–XIX. Этот последний период соискательница считает просветительским и вместе с тем сообщает, что, «согласно точке зрения Ким Ха Мёна, писатели-просветители Пак Ен Ам и Чон Да Сан – не только реалисты, но и критические реалисты» [Тэн, 1971: 23]. Относительно «Просвещения» она с корейскими коллегами, которые в данном вопросе более историчны, не согласна. У них «термином „просветительское движение“ („кемон ундон“) обозначается лишь буржуазное культурно-просветительское движение конца XIX – начала XX вв. Согласно нашей точке зрения, движение это нельзя квалифицировать как Просвещение с заглавной буквы, т. е. как „эпоху Просвещения“» [Тэн, 1971: 21]. Все же отмечен-

но, что «сторонников концепции восточного Просвещения значительно больше, чем приверженцев концепции восточного Ренессанса» [Тэн, 1971: 19], тем более такого раннего. Ближе к концу автореферата оказывается, что «корейские просветители, ведшие непримиримую борьбу с формализмом, догматизмом и начетничеством эпигонского классицизма», не продуцировали принципиально новые идеи (что было главным для европейских просветителей), а «сплошь и рядом обращались, ссылались на примеры, взятые из истории и идеологии древнего Китая» [Тэн, 1971: 53]. Такое просветительство логичнее считать просто активизацией традиционного образования.

Диссертация в Москве не была защищена. Но через девять лет А. Н. Тэн смогла издать в Алма-Ате монографию, ответственным редактором которой согласился стать, что показательно, член-корреспондент АН СССР Л. И. Тимофеев. В ней отдельные формулировки смягчены. Так, оговорена условность термина «Ренессанс»: «Но из-за отсутствия другого термина мы вынуждены в пределах данной работы постоянно прибегать к нему» [Тэн, 1980: 18]. Однако основные положения прежних публикаций сохраняются. А. Н. Тэн солидаризируется с самым радикальным провозвестником чуть ли не отождествления всей корейской словесности с реализмом. По ее мнению, «нельзя не согласиться со следующим тезисом Ко Чжонока: „В нашей литературе, кроме реализма, не было других так четко оформленных течений“» [Тэн, 1980: 82]. На самом деле «течений», охватывающих тысячелетия, не бывает. Между тем у Ко Чжонока именно так. «Он считает, что начало реализму в корейской литературе положили мифологический и древний реализм. Цой Чивон и его предшественники периода Силла – поэты VII–IX вв. – начинают средневековый реализм. Цой Чивон являет собой первый этап в развитии реализма» [Тэн, 1980: 67]. А. Н. Тэн даже менее радикальна, чем Ко Чжонок, его единомышленники «Квон Тхэкму, Тон Гынхун и некоторые другие» [Тэн, 1980: 67]. Она хоть о «мифологическом» и «древнем реализме» практически не рассуждает, «реализм» же Цой Чивона, как и раньше, считает не средневековым, а ренессансным. Что такое для нее реализм, она и здесь не прояснила. В главе «Литература эпохи Просвещения» затрагивается, в частности, творчество Ким Манчжуна (1637–1692), чьи романы серьезный кореевед убедительно рассматривает как даже не «ренессансные», а средневековые; в главном из них, «Облачный сон девяти», выделяются архаические по происхождению смысловые оппозиции «начало – конец», «множественное – единичное», «я – не-я», «вещность – не-вещность»

[Троцевич, 1986: 47–95]. Правда, Тэн особенно выделяет другой роман – «Скитания госпожи Са по югу»: «Этот роман – важная веха в развитии реалистических традиций в корейской литературе. Однако реализму Ким Манчжуна присущ элемент стихийности. Автор намеревался отобразить жизнь, быт, нравы дворянской среды. Но в результате творческого освоения писателем действительности объективный смысл и содержание его вышли за рамки задуманного; он создал широкую картину жизни корейского общества своего времени» [Тэн, 1980: 238–239]. Как конкретно проявился вклад автора в «развитие реалистических традиций», читатель монографии должен гадать сам; чем плох «элемент стихийности», если он позволил создать «широкую картину», – тоже. Заключение книги состоит менее чем из двух страниц. На них весь XIX в. представлен двумя именами – поэта Ким Сакката и драматурга Син Чжехё. «Стихийный материализм был присущ его мировоззрению, стихийный реализм лег в основу его поэзии» [Тэн, 1980: 289] – главное, что сказано про первого. Про «реализм» второго не сказано и того: «Его творчество, как и поэзия Ким Сакката, явилось шагом вперед в направлении сближения литературы с жизнью» [Тэн, 1980: 289]. Без «прогресса в искусстве», конечно, не обошлось.

Упорство А. Н. Тэн увенчалось успехом. Казахстанские коллеги присудили ей степень доктора филологических наук [Тэн, 1984]. Это была последняя докторская защита по корейской литературе в СССР.

Вывод Тэн применительно к XIX в. – «Ким Саккат и Син Чжехё представляют литературу переходного периода от классики феодальной эпохи к литературе нового времени» [Тэн, 1980: 289] – никак с реализмом не связан, раз таковой возник давным-давно, и отражает общее место корееведения: никто не сомневается в том, что новая корейская литература началась на рубеже XIX–XX вв. Тэн категорически отвергала увязывание сдвигов, происходивших в литературе XIX в., с появлением реализма в статье М. И. Никитиной и А. Ф. Троцевич: «Сотни лет корейская литература рассказывала о „дожде прошлой ночью“, но только в XIX в. от дождя впервые человека действительно промок, и это повлияло на его дальнейшую судьбу <...>. Таким образом, в XIX в. длительный процесс развития корейской литературы подводит ее к отказу от идеализации, к реалистическому изображению действительности» [Никитина, Троцевич, 1968: 152–153; Тэн, 1971: 23].

Спустя девять лет их соавтор, говоря о новелле XIX в., уже не столь категорически констатировал «поворот от романтического метода изо-

бражения к реалистическому» [Елисеев, 1977: 206]; подробно разбирая рассказ Ким Джегука «Чхве Гён, или Сутяга», он лишь говорит о второстепенном персонаже сори (мелком судейском чиновнике), что «автор много внимания уделяет его образу, старается показать его в динамике, реалистически мотивировать его поступки» [Елисеев, 1977: 233]. Но «стараться» еще не значит достигать цели (если вообще цель была). Из разбора не видно, что писатель придерживался хотя бы установки на реализм, он и термина такого безусловно не знал. В сюжете ростовщик Ким Ги подал в суд на четырнадцатилетнего сына своего друга, который умер, не вернув ему долг. Чтобы спасти семью от разорения, сообразительный юноша подкупил сори, чтобы тот стер в долговой расписке сумму долга и снова ее вписал, но так, чтобы подчистка была заметна. Бедный сори никогда не получал таких взяток и принял сторону юного Чхве Гёна. Им двигали не только жадность и оказываемые ему знаки уважения. «По трауру сори мог видеть, что юноша потерял родителя, и, поскольку в стране был распространен культ предков, это не могло не вызвать к нему большого сочувствия» [Елисеев, 1977: 232]. Судья счел мошенником Ким Ги и приказал бить его палками, требуя признания. «Тот сначала, конечно, отрицает свою вину, однако, не выдержав пыток, решает сказать, что это действительно он исправил иероглиф. Умоляет простить его, обещает не требовать денег с Чхве Гёна» [Елисеев, 1977: 220–221]. И действительно *исправляется*, не негодует на обманщика, посещает бедняков и неожиданно наделяет каждого деньгами. «В сущности, новелла ради этого и написана, в этом ее идейно-дидактическая задача – показать необходимость нравственного совершенствования человека» [Елисеев, 1977: 221]. Такое идейное содержание – совершенно в духе традиционной («универсалистской», по И. Ф. Волкову) литературы. Причем автору мало одного примера исправления человека. Чхве Гён тоже раскаялся в своем вынужденном плутовстве. Продав дом и купив другой, меньший, он на вырученные деньги открыл торговлю и через десять лет разбогател. Так вдруг выясняется, что он не только плут, но и способный к коммерции человек, да еще и честный. Он вернул Ким Ги долг и написал ему письмо с признанием о плутовстве и просьбой о прощении. Раскаявшийся ростовщик не только не использовал этот документ для восстановления своей пострадавшей чести, но растрогался, опять взял вину на себя и наконец усыновил Чхве Гёна. В повестях XIX в. герои тоже абсолютно в духе традиционалистской китайской и корейской литературы «совершают деяния, которые приводят к установлению гармонии, социальной,

либо личной, внутренней» [Троцевич, 2004: 223]. Д. Д. Елисеев подчеркивал новаторство новеллистов XIX в., прежде всего усложнение характеров их персонажей. Но очевидно, что до реализма тут еще чрезвычайно далеко.

У того же Ким Джегука есть микронovelлы, ничем не отличающиеся от средневековых литературных анекдотов, например «Охотник» (правда, непонятно, кто автор – он или близкий к нему Пак Чонсик [Елисеев, 1977: 217]), где рассказано, как один из охотников, умевший немного говорить по-китайски, чтобы не спугнуть замеченного им оленя, закричал товарищам не на родном языке, а на китайском: «Тут под скалой спит олень! Несите скорее ваши луки!» Олень проснулся и убежал, а охотник «воскликнул: „Вот скотина! Оказывается, он такой умный, что понимает китайский язык!“» Юмор типично средневекового типа. Но и простой анекдотец автору нужно морализаторски разжевать. «Не смейтесь, услышавшие эту историю! – поучает он. – Ибо невежество – поистине большое несчастье! Охотник был уверен, что олень знал китайский язык, все понял и поэтому убежал. Ему и в голову не пришло, что он просто испугал оленя своим криком. „Вот глупец-то!“ – воскликнут достойные люди, услышав этот рассказ» [Троцевич, 2004: 316]. Так писали в Корее в XIX в. Мог ли в ней раньше – гораздо раньше – появиться реализм?

Корееведы в XXI в. даже применительно к XIX столетию либо совсем не говорят о нем, как А. Ф. Троцевич [Троцевич, 2004: 207–239], либо вскользь упоминают «реалистичность» описаний: «В повестях 19 в. стереотипность описания внешности героев, обстановки, пейзажа заменяется реалистичностью» [Концевич, 2001: 407].

М. В. Солдатова, принявшая положение о том, что Просвещение в Корее существовало еще с XVII в., отмечает, однако, вслед за В. И. Ивановой: и на рубеже XIX–XX столетий «„новая проза“ развивалась в русле тенденций, заложенных еще просветительской прозой XVII – начала XIX веков. Она освоила реалистическое изображение места действия, но описание окружающего мира носило в ней еще абстрактно-условный или отвлеченно-аллегорический характер [Иванова, 1987: 153]. Конфликты, порожденные столкновением Добра и Зла, роднили ее с традиционной литературой. Добро являлось в повестях в облике Просвещенности, а Зло – Консерватизма» [Солдатова, 2004: 35–36]. Но после переходной «новой прозы» возникла, по мнению автора книги о «становлении национальной прозы в Корее» (судя по названию, раньше своей прозы в этой стране не было), и реалистическая литература, например роман Ли Гван-

су «Бессердечие» (вторая половина 1910-х гг.). Сначала М.В.Солдатова весьма нелогично противопоставляет «реалистический» и «политический» романы («После реформ года Кабо корейские переводчики, обходя вниманием господствовавший в то время в Японии реалистический роман, увлеклись переводом политического романа, который был популярен в Японии в 80-е годы XIX века» [Солдатова, 2004: 32]), потом пробует разобраться в том, что такое реализм: «Образы Хёнсика и Ёнче в романе „Бессердечие“ разработаны в духе реализма. Именно реализму присуще стремление рассматривать действительность в развитии, устанавливать двусторонние взаимоотношения характера и обстоятельств. Реализм, выявляя влияние среды на формирование характера, предоставляет человеку возможность подняться над обстоятельствами» [Солдатова, 2004: 59]. Вместе с тем в начале раздела «Развитие критического реализма. Проза Хён Джигона, Пак Чонхва и На Дохяна» признается, что тогда «западная литература шокировала интеллигенцию Кореи социально-политической проблематикой, совершенно не характерной для традиционной литературы Востока» [Солдатова, 2004: 116]. А в промежутке между этими высказываниями М.В.Солдатова не мудрствуя лукаво утверждает, что, «в отличие от романтизма, реализм не основывается на чувстве Добра и Зла, либо чувстве красоты, а просто изображает человека, как он есть, и окружающую его среду, берет на вооружение научные методы практики и наблюдения, предполагает, что писатель ведет себя по отношению к объекту беспристрастно» [Солдатова, 2004: 101]. Уж такой беспристрастный был главный русский реалист Толстой, уж так научно описывал исторические события и деятелей истории, уж так «просто» изображал человека, «как он есть»! О творческой природе искусства и его условности литературовед не имеет понятия, хотя, например, кукуловод Образцов прекрасно понимал, что «абсолютное и безусловное совпадение дает тождество, а коли так, то «безусловное» изображенный лев должен просто съесть автора» [Образцов, 1957: 192].

Разбор же романа Ли Гвансу не соответствует у М.В.Солдатовой никаким ее «теоретическим» выкладкам. «Основной смысл романа „Бессердечие“ заключается в духовном перерождении Ёнче и осознании как Ёнче, так и Хёнсиком значения истинной любви, преданности по собственной воле, а не ради соблюдения конфуцианских заповедей» [Солдатова, 2004: 60]. Перерождение происходит, можно сказать, в новом направлении, но по образцу перерождений (в лучшую сторону, конечно) героев традиционной литературы. Есть у Ли Гвансу и идеальные герои,

введенные в повествование без всякого социального детерминизма и непохожие на людей, «как они есть», отнюдь не беспристрастно описанные. «Во-первых, это патриот и носитель просветительских идеалов магистр Пак, содержащий на свои деньги школу и давший образование Хёнсику, а во-вторых, мечтавшая об учебе в Японии Пёнук, наставившая на путь истинный Ёнче. Появляется в романе и идеальный злодей – директор Пэ, нужный не столько для развития действия, сколько для того, чтобы обеспечить Ёнче страданиями» [Солдатова, 2004: 61–62]. Наверно, в качестве социально-исторического обстоятельства? Вопрос в том, насколько все это соответствует принципам реализма, М. В. Солдатова не поднимает.

В разделе о «критическом реализме» упоминается рассказ Хён Джигона «Родная сторона» (1926), который «включает в себя нескольких (так. – Г. А., С. К.) вложенных историй в стиле арабских сказок. Каждая из историй становится дополнительным свидетельством бесправного положения корейцев в стране, находящейся под властью оккупантов» [Солдатова, 2004: 125]. Но «критиковать» оккупантов можно и не будучи реалистом. «Корейские исследователи, – сказано далее, – как правило, относят творчество На Дохяна к критическому реализму, однако всем произведениям писателя свойственна романтическая окраска, что едва ли объясняется простым заимствованием отдельных приемов у европейских романтиков. На Дохяна вдохновляло на творчество стремление к познанию законов функционирования общества в сочетании с романтическим протестом, с жаждой свободы и справедливости. Не случайно социальные противоречия раскрываются у него главным образом в столкновении бедности и богатства, в конфликтах простолюдинов с представителями высших слоев общества» [Солдатова, 2004: 140]. Опять странная логика. Разве жажда свободы и справедливости, конфликты богатых и бедных, знатных и незнатных присущи только или хотя бы преимущественно романтизму? Многим корейским писателям 1920-х гг. «была свойственна убежденность в том, что дурные условия жизни уродуют изначально добрую „человеческую природу“» [Солдатова, 2004: 143]. Но в Европе такое представление было характерно для «универсалистов»-просветителей. Поэтому сомнительно утверждение: «Несмотря на то, что на творчество корейских писателей оказывали не меньшее влияние романтизм и натурализм, можно уверенно говорить о господстве реализма в корейской литературе 20-х годов <...>» [Солдатова, 2004: 144]. Многовековые традиции в странах Дальнего Востока столь сильны, что о

«чистом» реализме западного типа даже применительно к XX столетию следует говорить лишь с величайшей осторожностью.

О «пролетарской» литературе М.В. Солдатова высказывается и вовсе на рапповский манер и в духе самых нерелефлирующих советских критиков 1930-х гг.: это «литература социалистического реализма, несущая марксистские идеи» [Солдатова, 2004: 145]. Тогда было еще простительно выдавать желаемое за действительное, но в XXI в. странно читать: «Творческий метод социалистического реализма <...> допускал сочетание разнообразных форм воплощения действительности, он призван был интегрировать художественные завоевания предыдущих методов». И следом опять вопреки логике (хотя теперь и верно): «Причем в пролетарских литературах разных стран наблюдалось излишнее единообразие. Стремление следовать образцам, в первую очередь русским, подавляло творческую изобретательность поэтов и писателей» [Солдатова, 2004: 146]. О первом русском социалистическом реалисте, никогда себя так не называвшем, у Солдатовой представление весьма отвлеченное – будто бы в творчестве Горького в разное время «доминировали символистское, романтическое и реалистическое начала» и будто бы он наряду с Шолоховым отобразил «в своих произведениях не просто социалистическую действительность, но жизнь людей, захваченных вихрем грандиозных перемен» [Солдатова, 2004: 158, 163]. «Романтизм» Горького совершенно особенный, в крайнем случае «неоромантизм»; символистом он не был, а изображая действительность, дальше 1917 г. не заглядывал, советские герои появились у него лишь в нескольких беллетризованных очерках.

Только в последних строчках книги М.В. Солдатова выражается с необходимой осторожностью: освоенные «корейскими писателями в то время приемы художественного письма, которые традиционно считаются реалистическими, до сих пор продолжают успешно функционировать как в массовой литературе страны, так и в той, которая числит себя элитарной» [Солдатова, 2004: 169]. Вот именно – «традиционно считаются».

Северокорейские писатели и критики говорили о реализме новейшего времени главным образом применительно к зарубежной литературе. «Корейские писатели приводили примеры чаще всего из произведений писателей европейских стран (Франции, Германии, Англии) и России (дореволюционной и советской). Национальный классический материал они использовали очень редко, что обусловлено отчасти слабым развитием реалистической литературы в Корее» [Ли, 1964: 279]. Южнокорейское

литературоведение обращалось к проблеме реализма нечасто и не утверждало его наличия в традиционной (классической) литературе. Так, исследовательница Чу Сон Вон в статье «Вовлеченные в поиски реализма: Мнимое равенство в „Повести о Чхунхян“» [Cho Sung-Won, 2004: 102–122] спорит о реалистичности (правдоподобии) социального преобразования героини в пхансори (национальной опере) конца XIX в. по знаменитой повести, известной преимущественно в вариантах XVIII–XIX вв. В обработке Син Чжэ Хо это пхансори сохраняет сюжет повести, но он пытается изменить традиционное представление и взглянуть на кисэн (певичку и танцовщицу) с точки зрения современной социальной и этической ситуации, объективно и логически обосновать характеры героев. Тем самым Син Чжэ Хо как бы приближает повесть к реалистическому повествованию. Однако Ли Сун Вон в заключение возражает против принципа классовости как эволюционного, говоря, что превращение Чхунхян из кисэн в тайную дочь янбана (дворянина) не указывает на выдвижение класса, а, наоборот, подтверждает классовую иерархию.

Но иногда проблема реализма поднимается в отношении литературы XX в. Теоретический уровень ее рассмотрения весьма невысок. Например, Ли Сон Ён в статье «Реализм и корейский роман: попытка нового исследовательского метода» [Lee Seon-Young, 1993: 34–46] не только заимствовал появившийся в советской (и притом рапповской) критике термин «метод», но и пользовался идеологизированным понятием «прогрессивный реализм», только призывал не схематизировать его, одновременно предостерегая коллег от усложненных интерпретаций. Ли Сон Ён признавал: «В действительности метод „прогрессивного реалиста“ способен преодолеть ограничения, присущие другим методам. Он не просто в состоянии критически принять вещи, обнаруженные другими методами, но и способен рассматривать их в историческом контексте, выявить, через какие умственные операции они были обнаружены» [Lee Seon-Young, 1993: 34]. Признавалось и диалектическое взаимодействие реализма с «противоположными» и даже «антагонистическими» методами, что может историзировать объект интерпретации. Литературовед имеет право брать независимо друг от друга или изменять и использовать такие разные методы интерпретации, как психоанализ, мифопоэтика, этическая критика, структурализм, постструктурализм. Кроме того, он способен обнаружить исторический контекст разных художественных методов, интерпретировать их связи и устанавливать, продуктом какого класса или способа производства они являются. Так неожиданно в конце

XX в. на зарубежном Дальнем Востоке «аукается» советский вульгарный социологизм 1920-х гг.

Со Гёнсок написал почти 450-страничное исследование «История реалистической литературы в Корее (XXв.)» (Сеул, 1998), где обобщил материалы критики 1920–1930-х гг., посвященные проблемам метода и мировоззрения [Со Гёнсок, 1998: 39–106]. Во второй части своей книги он анализирует состояние национального литературоведения в «период демократии, который настал во время ввода американской армии» (название главы [Со Гёнсок, 1998: 295–358]). Отдельные главы посвящены прозе северокорейского писателя Хан Сер Я [Со Гёнсок, 1998: 107–243], формированию концепции личности, форме и содержанию прозы Северной Кореи 1950–1980-х гг., жанру репортажа и методу соцреализма [Со Гёнсок, 1998: 359–424]. Автор, в частности, уделил внимание работам Д. Лукача 1930-х гг. В СССР они были официально осуждены еще в 1940 г., ибо этот философ и эстетик считал возможным создание писателями не самого прогрессивного мировоззрения (а наиболее прогрессивным считалось революционное) высокохудожественных произведений и не только не принимал современный западный модернизм, но и советскую литературу того времени видел находящейся в состоянии упадка (она действительно уже стала тогда в основном нормативной или иллюстративной).

Чо Вон Сик уже названием своей статьи «Взаимосвязь между „реализмом“ и „модернизмом“: Возвращение к литературному произведению» [Choi Won-shik, 2007: 8–27] отверг противопоставление реализма и модернизма, долгое время господствовавшее в советском литературоведении и искусствоведении. Правда, он утверждал, что корейская литература XX в. была отмечена противостоянием реализма и модернизма, усилившимся после освобождения страны от японской оккупации и Корейской войны. Распад Кореи на два государства сравнивался с распадом Югославии в 1990-е гг. Политическое противостояние усугубило противостояние в литературе. Но, по мнению Чо Вон Сика, лучшие произведения реализма и модернизма уже достигли состояния перемирия. Дальнейшее ставится в связь с тем, выживет современный капитализм или все кончится катастрофой. Взаимосвязь между реализмом и модернизмом является первой отправной точкой для многих усилий, направленных на решение исторической задачи. Так что и в XXI в. даже южнокорейское литературоведение напрямую соотносит эстетику и политику.

В российском литературоведении ряд советских догм преодолен. Корейское литературоведение, как и литература, более традиционно и, значит, консервативно. Ничего нового в данном отношении не предлагается. Поэтому необходимо было остановиться на проблеме реализма в восточных литературах и конкретно в корейской. Эта проблема еще далека от разрешения. Ее обсуждение, споры о ней необходимо продолжать.

Список литературы

- Аманова Г. А.* Восточный последователь Маяковского – основоположник корейской эпической поэмы // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2012. № 4. С. 148–162.
- Большой словарь корейской литературы. Сеул, 1973. 1500 с. (朝國文學大事典. 서울. 1973. 1309페이지.)
- Волков И. Ф.* Творческие методы и художественные системы. М., 1978. 264 с.
- Гаспаров М. Л.* Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия серебряного века. 1890–1917: Антология. М., 1993. С. 5–44.
- Елисеев Д. Д.* Новелла корейского средневековья (эволюция жанра). М., 1977. 256 с.
- Еременко Л. Е.* Из истории корейской литературы второй половины XVIII в. // Корейская литература: Сб. статей. М., 1959. С. 40–61.
- Жанры и стили литератур Китая и Кореи. М., 1969. 256 с.
- Жирмунский В.* Становление реализма в мировой литературе и классический реализм XIX века // Проблемы реализма (Материалы дискуссии о реализме в мировой литературе 12–18 апреля 1957). М., 1959. С. 447–452.
- Зарождение и развитие реализма в корейской литературе: Сб. статей. Пхеньян, 1963. 355 с. (우리나라 문학에서 사실주의의 발생 발전. 룬집. 평양, 과학친. 1963.355페이지.)
- Затонский Д.* Какой не должна быть «История литературы»? // Вопросы литературы. 1998. Январь–февраль. С. 3–30.
- Иванов В.* Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы. М., 1953. 256 с.
- Иванова В. И.* Новая проза Кореи. М., 1987. 180 с.
- Игнатенко М. А.* Генезис сучасного художнього мислення. Київ, 1986. 285 с.
- История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М., 2011. 792 с.

- Ким Л.К. Поэзия Чо Ги Чхона // Корейская литература: Сб. статей. М., 1959. С. 145–171.
- Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. М., 1978. 463 с.
- Конрад Н.И. Феодалная литература Китая и Японии // Восток. Сб. 1. Литература Китая и Японии. М., 1935. С. 7–12.
- Концевич Л.Р. Корейская поэтика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. Стлб. 397–409.
- Кормилов С.И. Основные вехи эволюции русской литературной критики с 1917 по 1991 год // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2009. №1. С.18–37.
- Ли В.Н. Взгляды прогрессивных писателей Кореи на литературу и искусство (20–30-е годы) // Проблемы теории литературы и эстетики в странах Востока. М., 1964. С. 265–284.
- Ли В.Н. О периодизации истории современной корейской литературы // Проблемы периодизации истории литератур народов Востока. М., 1968. С. 154–165.
- Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. 180 с.
- Луначарский А.В. Статьи о советской литературе. 2-е изд., испр. и доп. М., 1971. 568 с.
- Матейка Ян. Международное объединение революционных писателей // Литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1934. Стлб. 82–92.
- Никитина М.И., Троцевич А.Ф. Очерк истории корейской литературы до XIV в. М., 1969. 238 с.
- Обзор новой литературы Кореи 1920–1930: Сб. статей. Пхеньян, 1957. 347 с. (현대조선문학평론집 1920-1930. 평양, 1957. 347페이지.)
- Образцов С. Театр китайского народа. М., 1957. 380 с.
- Пак Чон Сик. Влияние советской литературы на корейскую литературу // Корейская литература в течение 10 лет после освобождения: Сб. статей. Пхеньян, 1955. С.420–461. (박종식. 조선무학에 있어서의 쏘베트 문학의 영향 // 해방후 10 년간의 조선문학. 평양, 조선작가 동맹출판사. 1955. 420-461페이지.)
- Поспелов Г.Н. Методологическое развитие советского литературоведения // Советское литературоведение за пятьдесят лет: Сб. статей / Под ред. В.И.Кулешова. М., 1967. С. 7–125.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 1997. 384 с.
- Русская советская литературная критика (1935–1955). Хрестоматия / Сост. проф. П.А.Бугаенко. М., 1983. 272 с.

- Смирнов И. С.* Китайская поэзия в исследованиях, заметках, переводах, толкованиях. (Российский государственный гуманитарный университет. *Orientalia et Classica*. Труды Института восточных культур и антропологии. Вып. LV.) М., 2014. 634 с.
- Со Гёнсок.* История реалистической литературы Кореи (XX в.). Сеул, 1998. 448 с. (서경석. 한국근대 리얼리즘 문학사연구. 서울, 대학사, 1998, 448페이지.)
- Солдатова М. В.* Становление национальной прозы в Корее в первой четверти XX века. Владивосток, 2004. 188 с.
- Тимофеев Л., Венгров Н.* Краткий словарь литературоведческих терминов / Пер. Цой Чхоль Юн. Пхеньян, 1958. 183 с. (저모페예브, 열, 웬그르브. 엔. 운예소설진. 최철윤역. 평양, 조조출판사, 1958.183페이지.) 리얼리즘 문학사연구. 서울, 대학사, 1998, 448페이지.)
- Тимофеев Л. И.* Основы теории литературы. 5-е изд., испр. и доп. М., 1976. 448 с.
- Троцевич А. Ф.* История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 2004. 324 с.
- Троцевич А. Ф.* Корейский средневековый роман. «Облачный сон девяти» Ким Манджуна. М., 1986. 200 с.
- Тэн А. Н.* Корейская классическая литература и проблема реализма: Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. М., 1971. 61 с.
- Тэн А. Н.* Традиции реализма в корейской классической литературе. Алма-Ата, 1980. 304 с.
- Тэн А. Н.* Традиции реализма в корейской классической литературе: Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. Алма-Ата, 1984. 58 с.
- Усатов Д. М.* Образ рабочего в раннем творчестве Хан Сер Я // Корейская литература: Сб. статей. М., 1959. С. 117–144.
- Формозов А. А.* Классики русской литературы и историческая наука. М., 2012. 272 с.
- Хализев В. Е.* Теория литературы. 5-е изд., испр. и доп. М., 2009. 472 с.
- Черношваненко Е. М.* Литературный процесс в историко-культурном контексте. Развитие и смена типов литературы и художественно-литературного сознания в русской словесности XI–XX веков. Одесса, 1997. 712 с.
- Cho Sung-Won.* Trapped in the Quest for Realism: Mistaken Equality in Namchang Chunhyangga // *Korea Journal*. V.44. №2. Summer 2004. P. 102–122.
- Choi Won-shik.* Intercommunication between «Realism» and «Modernism»: A

Return to the Literary Work // Korea Journal. V.47. №1. Spring 2007. P. 8–27.

Lee Seon-Young. Realism and Korean Novel: An Attempt at a New Research Method // Korea Journal. V.33. №1. Spring 1993. P. 34–46.

Сведения об авторах:

Аманова Гулистан Абдиразаковна, кандидат филол. наук, преподаватель Лингвистического центра «Призма». E-mail: mangul9797@mail.ru

Кормилов Сергей Иванович, доктор филол. наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: profkogmilov@mail.ru

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О.В.Золотько

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» ГЕТЕ И «СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» ДОСТОЕВСКОГО

Автор предполагает возможное влияние романа Гете «Страдания юного Вертера» на проблематику рассказа Достоевского «Сон смешного человека» и доказывает эту связь через сопоставление обоих произведений с привлечением культурного контекста. Также рассмотрены особенности восприятия романа Гете Достоевским в разделе «О молитве великого Гете» «Дневника писателя».

Ключевые слова: Достоевский, Гете, «Дневник писателя», «Сон смешного человека», «Страдания юного Вертера», компаративистика

Author supposes the probable influence of Goethe's novel "The Sorrows of Young Werther" on problematics of Dostoevsky's story "The Dream of a Ridiculous Man", and proves this connection, comparing both works and appealing to the cultural context. The features of Dostoevsky's perception of Goethe's novel in the chapter of "Writer's Diary" "On The Great Goethe's Prayer" are also considered.

Key words: Dostoevsky, Goethe, The Diary of Writer, "The Dream of a Ridiculous Man", "The Sorrows of Young Werther", comparative studies

Рассказ «Сон смешного человека» Достоевского, образ главного героя и его философские искания неизменно привлекают внимание исследователей; глубина проблематики и оригинальные мотивы произведения позволяют предположить возможные связи с произведениями мировой литературы¹.

¹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 166–173; Комарович В. Л. «Мировая гармония» Достоевского // Атеней: Историко-литературный временник. 1924. № 1–2. С. 112–142; Хмелевская Н. А. Об идейных источниках рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека» // Вестник Ленингр. ун-та. 1963. Вып. 2. Сер. литературы, истории, языка. № 8. С. 137–140; Касаткина Т. А. Краткая полная история человечества («Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского) // Достоевский и мировая культура. № 1. СПб., 1993; Фойер Миллер Р. «Сон смешного человека» Достоевского: Попытка определения жанра // Достоевский и мировая культура. № 20. СПб.; М., 2004. С. 148–169; Катасонов В. Н. Загадки «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского // Достоевский – писатель, мыслитель, провидец. М., 2012; Пухачев С. Б. Достоевский и Леонардо да Винчи («Сон смешного человека») // Достоевский и современность: Материалы XVIII Международных старорусских чтений 2003 года. Великий Новгород, 2004

Как нам кажется, образ главного героя-солиписиста, решившего покончить жизнь самоубийством, не может не вызвать в памяти образ Вертера из романа Гете и не натолкнуть на мысль о сопоставлении двух произведений. Эта возможная параллель еще не отмечалась исследователями², хотя она, очевидно, имеет место.

В предисловии к январскому выпуску «Дневника писателя» за 1876 г. (за год до апрельского выпуска 1877 г., где был опубликован рассказ «Сон смешного человека») Достоевский, говоря о самоубийствах, вспоминает эпизод из романа «Страдания юного Вертера» Гете: герой, уже решивший убить себя, тоскует о том, что больше не увидит Большую Медведицу³. Достоевский интерпретирует состояние Вертера: герой прощается с созвездием, так как оно символизирует его глубокую связь с миром: «вся эта бездна таинственных чудес божиих не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия...», он осознает, «что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? – он обязан лишь *своему лику человеческого*» (22, 6)⁴.

Достоевский акцентирует внимание на периферийном в романе Гете эпизоде – прощании Вертера с созвездием Большой Медведицы перед смертью – и развивает этот мотив в собственном произведении. В рассказе «Сон смешного человека» герой, возвращаясь домой, взглянул на «ужасно темное» небо и среди «разорванных облаков» и «бездонных черных пятен» (25, 105) разглядел «звездочку» (далее мы узнаем, что это Сириус), и именно «эта звездочка дала <...> мысль»: герой «положил в эту ночь убить себя» (25, 106). Таким образом, в рассказе появляется уже отмеченный нами выше комплекс мотивов. Образ звезды в такой ассоци-

² На традицию психологического анализа усиленно рефлектирующего героя в русской литературе, идущую из сентиментализма, указывает В. Е. Хализев, отмечая как критическую рецепцию образа Вертера героя «Записок из подполья» Достоевского; заметим, что к образу Подпольного в своей основе близок и Смешной человек (Хализев В. Е. Теория литературы. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 215).

³ При этом Достоевский обращается к периферийному мотиву романа, не столь распространенному в русской вертериане, однако имевшему прочные ассоциации с романом. См.: Лобачева Д. В. Роман И. В. Гете «Страдания юного Вертера»: рецепция в России (XVIII–XIX вв.): Дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 2005. С. 19.

⁴ Здесь и далее произведения Ф. М. Достоевского цитируются по изд.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. В скобках указываются номер тома и страница. Курсив Достоевского.

ации – с мыслью о самоубийстве – появляется в творчестве Достоевского единственный раз, только в этом рассказе, что дает нам основание видеть здесь автореминисценцию на фрагмент из «Дневника писателя» за 1876 г. и, следовательно, отсылку к роману Гете «Страдания юного Вертера».

При этом параллель на уровне конкретного образа указывает и на связь в проблематике: как и Вертер в трактовке Достоевского, Смешной человек пытается обрести исходную достоверную идею о мире и человеке, размышляет о том, что есть «лик человеческий» (22, 6).

Это доказывает нам, что Достоевский имел в виду произведение Гете, работая над рассказом⁵. Оба автора подводят своих героев к мысли о самоубийстве, но один персонаж осуществляет свой замысел, другой избегает его и обретает новый смысл существования. Нам интересны причины такого решения и психологическое состояние героев в изображении Гете и Достоевского.

То, что Достоевский выводит своего героя к положительным целям, связано с тем, как он трактует образ Вертера в предисловии к «Дневнику писателя»: он пронизательно, но по-своему проблематизирует сочинение Гете. Оба писателя обращаются к теме утраты и поисков личностью связей с миром, ищут основания и пути самопознания для современного человека. Общность проблематики позволяет проследить потенциальный диалог двух мыслителей.

Если говорить обобщенно, Смешного человека и Вертера к решению самоубийства приводит чувство потери реальных связей с окружающими и миром. Но они герои разных времен и культур, и угол зрения у Гете и Достоевского на эту проблему – различен.

I. Контекст

Гете жил в эпоху, когда все более утрачивалась фундаментальная вера в религиозную истину как в основание для познания мира и человека, и тогда оставалась одна опора – Декартово «*cogito ergo sum*». Но Декарт еще признавал, что законы бытия и мышления тождественны. Кант лишил современников и последней опоры: мы не знаем, соответствуют ли друг другу эти законы. Данную проблему теперь вынужден решать для себя каждый человек. Не только в познании окружающего мира, но и в

⁵ На интерес Достоевского к творчеству Гете в это время косвенно указывает и наличие в его библиотеке собрания сочинений немецкого писателя в издании Гербеля 1878–1880 гг. (*Буданова Н. Ф.* Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции: Научное описание. СПб., 2005. С. 35–36).

познании человеческой души открылась сложность – человек противоречив, он может поступать против велений разума, следуя своим чувствам и страстям. С утратой религиозной веры постепенно уходит и уверенность, что сущность человека, его характер и судьба предопределены заранее, что ему остается только прикладывать силы, чтобы соответствовать заданному личному плану; теперь его жизненный путь, его личность – дело его собственных рук. Самоопределение индивидуальности осложнялось социально тем, что еще было крепко сословное деление и заданы социальные роли. С совокупностью именно этих проблем сталкивается герой Гете Вертер.

Герой Достоевского живет уже в другую эпоху и в другой культуре, но и он теряет чувство осмысленности существования. Он описывает это чувство так: «в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству <...> – это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде *все равно*. <...> Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет» (25, 105). К этой безысходности он приходит, замыкаясь на мысли о своем «ужасном качестве» – о своем «смешном виде во всех отношениях» (25, 104) – в науке и в отношениях с людьми. Некоторое косноязычие Смешного человека (которым Достоевский наделяет, кстати, и других своих героев-самоубийц) оставляет не совсем ясным, что он имеет в виду под «смешным видом» – это вид, вызывающий жалость? Или это несоизмеримость амбиций и их осуществления? Или несоответствие своему времени, неспособность разделить убеждения и ценности своего поколения? В этот сложное определение автор вкладывает много смыслов. Обратим внимание и на такой возможный аспект – Смешной человек говорит: «Для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон» (25, 104). То есть наука вместо того, чтобы укрепить позиции героя в познании мира, отнимала эту опору. Оказавшись в мире «детей солнца», в золотом веке, он признает с восхищением, что они обладают знанием «глубже и высшим, чем у нашей науки» – «ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить» (25,

112). Это чувство жизни, которое выше сознательного ее понимания, – то, чего не хватает современному человеку, поэтому так дорого оно Смешному человеку в «детях солнца» и поэтому он так огорчен, когда они потеряли его, повторив путь человечества. Именно из-за утраты этого чувства герой в начале повествования и приходит к мысли, что «ничего при мне не было» (25, 104), уйдя в солипсизм. Эта крайность – опора на рассудок в познании мира, уверенность в существовании только субъективного сознания, а затем сомнения и в этом последнем рубеже – проявилась в полной мере в эпоху Гете и оставалась проблемой и во время Достоевского.

II. Социальные связи. Служба

Неуверенность в объективном познании мира отражается и на ощущении своих связей с другими людьми. Этому аспекту в романе Гете отведено важное значение. Прежде всего, заостряется внимание на неспособности Вертера занимать какую-либо должность. По совету друга он поступает на службу к графу, но уже вскоре просит отставки. Он пишет документы набело, допуская элизии и инверсии, он не понимает, что его индивидуальный слог несовместим с его должностью. Отстаивая свою правоту, он защищает гораздо большее – свою индивидуальность, которую, как ему кажется, ущемляет заданная социальная роль. Вертер отвергает существующую социальную систему, если она действует в ущерб развитию его личности.

III. Отношения с окружающими. Смешной вид и безумие

Вопрос о службе Смешного человека не ставится так принципиально, мы не знаем, где и кем он служит, он также не говорит о неудовлетворенности своим социальным положением⁶, но, как и у Вертера, отношения с людьми очень болезненны для него – «надо мной смеялись все и всегда»

⁶ Тем не менее нельзя не отметить, что в ранних рассказах Достоевского влияние сентиментального направления отразилось отчетливо в симпатии к социально приниженным, в утверждении самоценности человеческой личности независимо от занимаемой должности.

О влиянии сентиментализма на раннего Достоевского см.: *Жилякова Э. М.* Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–1849). Томск, 1989. С. 5; *Жилякова Э. М.* Две страницы из русской «вертерианы» // Проблемы литературных жанров. Томск, 1996. С. 30–32; *Жилякова Э. М.* «Страдания юного Вертера» Гёте в контексте творчества Ф. М. Достоевского 1840-х годов // Проблемы метода и жанра. Томск, 1997. Вып. 19. С. 84–97.

(25, 104). Социальный аспект его «ужасного качества» – «смешного вида» – трудно определить. Здесь можно увидеть расхождение ценностей и убеждений героя с установками его поколения, вдобавок, жалкий и слабый на взгляд постороннего вид. Как нам кажется, герой после сна осознает, что его «смешной вид» в глазах других являлся следствием того, что у него есть правда, отличная от правды окружающих его людей, и, более того, она и является истиной; то, что так уязвляло его гордость, оказывается основой его личности. Характерна его оговорка: «А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. **Не казался, а был**» (25, 104; выделено мною), он совершенно *принимает* это внешнее определение, соглашается с ним: «если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я» (25, 104).

Вертера тоже находят смешным, когда он неуместно заявляет о своей индивидуальности, находясь на службе; но, если говорить о более личных отношениях (с Лоттой, с Альбертом), его объявляют **безумным**, и Вертер принимает это определение. Альберт, говоря о его любви к Лотте, увещевает Вертера не потворствовать своим минутным настроениям, желаниям, страстям, но следовать разумным и взвешенным решениям. Вертер отвергает такую душевную дисциплину, одобряя безрассудство, находя в нем источник силы: именно поэтому «всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду непостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными» (6, 40)⁷. Герой отказывается от разумной нормы, следуя своему сердцу, и, главное, видит в этом основу своей индивидуальности. Здесь можно вспомнить, что и Смешной человек, доверившись своему сердцу, поверив в свой сон, получает «повышение в чине» – «они меня называют теперь **сумасшедшим**» (25, 104). Однако мы увидим кардинальное различие их «безумия», рассмотрев, как герои сами размышляет по поводу своей душевной жизни, и обратившись, в частности, к образу сердца как сосредоточию жизни души в обоих произведениях.

IV. Сердце

Отвергая требования следовать разуму, Вертер говорит о своем сердце как драгоценности: «я <...> лелею свое сердечко, как больное дитя, ему ни в чем нет отказа» (в письме от 13 мая 1771 г.) (6, 11). В этом его заявлении есть полемика с важнейшим принципом просветительского мышле-

⁷ Здесь и далее произведения И. В. Гете цитируются по изд.: *Гете И. В.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1978. В ссылке указываются номер тома и страница.

ния – разум рассматривался как всеобщее начало, к которому причастен каждый человек, его законы универсальны для всех людей, он сверхиндивидуален. Как высшая способность человека, он считался исходной точкой и одновременно достойным объектом познания. Поэтому, чтобы найти свою индивидуальность, свое отличие от других, Вертер обращается к эмоциональной сфере: «Он [князь] и во мне больше ценит ум и дарования, чем сердце, хотя оно – единственная моя гордость <...>. Ведь то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня» (6, 62). Надо сказать, что провозглашение самодостаточной ценности чувств человека как главный пафос сентиментального направления повлияло и на раннее творчество Достоевского.

Смешной человек в начале повествования подчеркивает **отсутствие каких-либо эмоций, симпатий или антипатий** по отношению к окружающим: видя разгорячившихся в споре товарищей, он замечает им: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. <...> Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело» (25, 105). Говоря об ужасном беспорядке за перегородкой, в комнате отставного капитана, Смешной человек настаивает: «капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады» (25, 107). И только встреча с девочкой, просившей его помощи, вызвала необычайное раздражение и заставила усиленно задуматься, отчего так остро его чувство стыда, когда разумом он уже отказал миру в смысле и спокойно, сознательно принял, что всегда было все равно. Именно это сильное чувство дает новое течение его душевной жизни: он «конечно бы застрелился, если б не та девочка» (25, 107). В сюжете самоубийства заметна символическая роль образа сердца: намереваясь убить себя, герой «положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок» (25, 109). Но во сне он выстрелил «прямо в сердце» (25, 109), в тот неподозреваемый источник его новой жизни, который он отвергал ранее. А вот Вертер, лелеявший свое сердце и отказавший разуму в праве господствовать над его личностью, словно исполняет намерение Смешного человека – его выстрел пришелся в голову, над правым глазом.

V. Сотворение мира

Вертер, пытаясь определить свою индивидуальность, говорит прежде всего о чувствах, в пику идеям Просвещения, которое относило чувства к низшей форме познавательных способностей человека. Но для Вертера именно **переживания** и определяют смысл его жизни. В романе есть

ставший известным фрагмент из письма от 10 мая 1771 г., который при первом чтении кажется изображением идеальной гармонии человека и мироздания, иллюстрацией пантеистического мирозерцания: «Когда от милой моей долины поднимается пар и полдненное солнце стоит над непроницаемой чащей моего темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинки, когда я чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, эти неисчислимые, непостижимые разновидности червячков и мошек⁸, и чувствую близость Всемоущего, создавшего нас по своему подобию, веяние Вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, – тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: «Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, дать отражение моей души, как душа моя – отражение предвечного Бога!» (6, 10). Но позже (письмо от 22 мая 1771 г.) мы узнаем, что является основой мироощущения Вертера: «Я ухожу в себя и открываю целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых, полнокровных образах. И все тогда мутится перед моим взором, и я живу, точно во сне улыбаясь миру» (6, 13). Как пишет исследователь творчества Гете, **Вертер строит свою личную и прочувствованную модель мира, в которую он встраивает и проект своего Я**; но он исходит прежде всего из своего мироощущения, «речь идет не об эмоциональной окрашенности мировосприятия, а именно о «сотворении» мира, о его конституировании из глубины переполненного сердца». В этом творческом процессе Вертер, как ему кажется, как бы подражает Богу, Тому, «кто все созидает в себе и из себя» (письмо от 18 августа 1771 г.) (6, 44). Но он сам «насла-

⁸ Этот мотив близости к природе, слияние с ее микрокосмом преломляется и у Достоевского. Ср., например, слова Ипполита из романа «Идиот» в его исповеди: «даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш, и только по малодушию» (8, 343). О «пире», «великом празднике» природы тоскует Мышкин. В своей книге А. Лингстад предполагает, что этот мотив восходит к Шиллеру, указывая на цитируемую в «Братьях Карамазовых» оду «К радости» (*Lyngstad A. H. Dostoevskij and Schiller / Slavistic Printings and Reprintings 303. The Hague, 1975*). Здесь нам хотелось бы отметить, что этот мотив, вероятно, общий для эпохи Шиллера и Гете и связан с концептом «цепи бытия» (*Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М., 2001*).

ждается не творением Божьим, а своим собственным, и своей собственной творческой способностью» [Кемпер: 94, 95].

И «когда мироощущение, оправдывающее такую модель мира и такую модель Я, меняется, когда меняется состояние души, то между тем и другим может возникнуть глубокая трещина, мир и Я могут вступить в глубокое противоречие» [Кемпер: 92]. И эта **перемена** происходит: в письме от 18 августа 1771 г. он пишет: «Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий демон, преследует меня на всех путях» (6, 43). Он восклицает: «А я, увы, слишком ясно понимаю <...> во мне самом источник всяческих мучений, как прежде был источник всяческого блаженства. <...> я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни, исчезла животворящая сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры» (письмо от 3 ноября 1772 г.) (6, 70–71). Радостное сознание слияния с миром оборачивается отчаянием, когда Вертер понимает, что источник этой гармонии – только его изменчивое сердце.

Если с таким толкованием ситуации Вертера мы подойдем к случаю Смешного человека, то, как нам кажется, их имеет смысл сравнить. Именно сердце Смешного человека творит столь желанный им идеальный мир, в котором люди и природа живут в гармонии. В этой модели мира есть и своего рода собственный «личностный проект» – герой призван вернуть на землю «золотой век». В своей вере, что это состояние можно вернуть, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» (25, 118), как может показаться читателю, он основывается лишь на своем чувстве. Но самому герою видится это в ином свете, он уверен, что это не его отчаявшийся разум или сердце создали эту мечту, перед рассказом о грехопадении он говорит: «Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды!» (25, 115). Вера в свою мечту дает герою смысл существования именно потому, что он верит в ее истинность, в действительное, объективное ее существование и готов проповедовать ее. Более сложный вопрос: как оценивал его мечту сам Достоевский, был ли его герой бесплодным мечтателем? Если следовать высказыванию писателя: «там, где кончается религия, начинаются лишь мечтания» (24, 191), – куда

отнести Смешного человека? Ведь и о Смешном человеке мы можем сказать, перефразируя Вертера, что он уходит в себя и открывает целый мир, что он «все созидает в себе и из себя». Но если взглянуть на этих героев с точки зрения истории идей, то Смешной человек начинает там, где остановился Вертер, – с мысли, что «ничего при мне не было <...> и прежде ничего тоже не было <...> и никогда ничего не будет» (25, 105), с солипсизма. Но он все-таки обретает реальную связь с миром, смысл новой жизни.

VI. Любовь

Можно обратить внимание, что источник «животворящей силы, которая созидает миры», для обоих героев, казалось бы, один – в любви. Смешной человек не может преодолеть раздражения, вспоминая о девочке, – из-за мучительного чувства непроявленной любви, девочку он прежде всего разыскивает после сна, он поражен взаимопониманием и совершенной любовью «детей солнца» и именно любовь объявляет главным условием жизни: «люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» (25, 119). По сюжету романа Гете тоже следует, на первый взгляд, что именно любовь (к Лотте) питала мысли Вертера о мире, и неразделенная, несчастная любовь является причиной его отчаяния и самоубийства. Но посмотрим, как сам герой говорит о любви Лотты: «Любит меня! Как это возвышает меня в собственных глазах! <...> Как я благоговею перед самим собой с тех пор, что она любит меня!» (письмо от 13 июля 1771 г.). То есть любовь для Вертера выступает «не столько в качестве причины, сколько в качестве катализатора личностного развития, ибо эйфория любви служит Вертеру средством самопознания, и в конечном счете любит он только <...> свою собственную личность» [Кемпер: 79]. Смешной человек, напротив, открывает в любви **неиссякаемый источник жизни** и ее цель. Вертер же развивает свою личность в творческом осмыслении мира и в свободном следовании своим чувствам, но созидаящих связей с миром он не строит, его мир замыкается на нем самом, его сознании, он не знает деятельной любви, его любовь направлена лишь на него самого. В письме Шёнбергу от 1 июня / 4 июля 1774 г. Гете писал о своем герое: «В „Страданиях молодого Вертера“ я изображаю молодого человека, наделенного даром глубоко и чисто чувствовать и истинной пронизательностью, который забывается в мечтательных сновидениях, губит себя бесплодными размышлениями до тех пор, пока зарождающиеся в нем

несчастные страсти, в особенности бесконечная любовь, не расшатывает его сознание и он не пускает себе пулю в лоб» [Кемпер: 98].

VII. Индивидуализм и самоубийство

Однако мы можем заметить, что любовь ко всему миру Смешного человека и романтическая любовь Вертера к Лотте – все-таки в корне разные чувства. В романе Гете любовь – только одна из безумных страстей героя. Для Смешного человека это и ответственность перед миром, чувство долга перед ближним, которое буквально принуждает его идти проповедовать свою мечту, его чувство причастности судьбе человечества.

Во сне Смешному человеку открывается, что самоубийством он не просто прекращает свою жизнь, но и отказывается от жизни вообще, бытия всего мира. Р. Лаут, размышляя о самоубийстве в творчестве Достоевского, пишет: «Самоубийство есть самый великий грех человеческий, ибо это удар по самому сокровенному центру человеческого бытия. Ведь воля к жизни в своей основе не изолирована, она существует в связи со всеобщим бытием и с Богом. Самоубийство – **преступление против самого бытия**»⁹. Осознав это, почувствовав свою волю к жизни, герой отказывается от своего прежнего решения и выбирает другую судьбу.

Интересно взглянуть на это решение с точки зрения философа уже XX в., как бы подытожившего нравственные последствия солипсизма и индивидуализма. В экзистенциализме Сартра, не признающем иной исходной точки для размышлений о мире, кроме картезианской истины *cogito ergo sum*, и в этом смысле наследующем эпохе Просвещения, тем не менее категорический императив Канта приобретает вид настоящего практического требования – он призывает в ситуации выбора поступать так, чтобы этот поступок мог стать примером для других людей, так как каждый несет ответственность за судьбу мира: «Я ответствен <...> за себя самого и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю; выбирая себя, я выбираю человека вообще» (в статье «Экзистенциализм это гуманизм»¹⁰). Вертер, переживающий своеобразное опьянение от индивидуальной свободы, еще не может прийти к этой мысли, приобретенной горьким опытом человечества. Но с ней может согласиться Смешной человек.

⁹ Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М., 1996. С. 266.

¹⁰ Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1990. С. 324.

VIII. Образ Христа

Однако нельзя не отметить, что Вертер тоже своеобразно проецирует свою судьбу на судьбу человечества, так как сравнивает себя со Христом.

Русская исследовательница творчества Гете И. Лагутина отмечает: «Жизнь Вертера как индивидуума неразрывно связана с жизнью «сердца» («сердце у каждого свое», – пишет Гете), т.е. с его индивидуальными «страстями», страданиями. И тогда «страдания» юного сердца приобретают онтологическое значение, являются необходимым условием Жизни как таковой. И немецкое название романа более емко, чем его привычный русский эквивалент, подчеркивает эту бытийственность: «*Leiden des jungen Werthers*» – это страдания (*Leiden*) юного Вертера, которые являются своеобразным **светским (сентименталистским) аналогом страстей (*Leiden*) Христа**, где Бог раскрывает себя как Любовь» [Лагутина: 77–78]. В работах немецких исследователей, по сообщению Лагутиной, с разных точек зрения также отмечаются параллели евангельского сюжета с историей Вертера: Шеффлер считает, «что понять этот текст можно только на основе гетевского представления о религии (имея в виду его колебания между пиетизмом и пантеизмом, между Библией и Оссианом) и интерпретирует роман как „*passio Wertheri adolescentis*“, т.е. как „Весть о страданиях и смерти“ (*Leidens- und Strebensbericht*), как *Passion*; указывает на созвучие окончания „Вертера“ и „Евангелия от Иоанна“, а затем приходит к выводу, что Вертер, концентрируя в последних письмах аллюзии на Евангелие от Иоанна, „сам понимает свою гибель как жертвенную смерть“; называет этот роман „**немецким евангелием с пантеистической идеей Бога**“¹¹. Р.Циммерман, который, в сущности оспаривает тезис Шеффлера, утверждая, что „гетевский интерес к Вертеру как к Христу имеет психологическое, а не теологическое значение“, тем не менее также приводит целый ряд параллельных мест из текста романа и из Евангелия от Иоанна¹² [Лагутина: 78].

Вот пример одного из таких монологов Вертера: «Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна – таков удел человека. И если Господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все суще-

¹¹ Schäffler H. Die Leiden des jungen Werther. Ihr geistesgeschichtlicher Hintergrund // Schäffler H. Deutscher Geist im 18. Jahrhundert: Essays zur Geistes- und Religionsgeschichte. Göttingen, 1956.

¹² Zimmerman R. C. Das Weltbild des jungen Goethe. Bd. 2. München, 1969.

ство мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обессилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: „Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?“ И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток?» (письмо от 15 ноября 1772 г.) (6, 72).

Итак, для Вертера Христос – страдающий герой со своей идеей Бога и мира, и в таком толковании он проецирует евангельскую историю на свою собственную судьбу. При этом для него безразлично, имела ли какое-то значение жертва Христа для других людей, была ли его смерть (с последующим воскресением) поворотом в истории человечества, – ведь для него самого со смертью исчезнет и мир вокруг, «мир рушится вместе со мной».

Смешной человек тоже в своем сердце находит идею Бога и мира и тоже в какой-то момент хочет «подражать» Христу, но в ином смысле: после грехопадения «детей солнца» «я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простираю к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что всё это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест» (25, 112). Герой во сне убежден, что его искупительная жертва поможет вернуть утраченный рай, очевидно повторяя путь Христа, но он не называет его имени. И, может быть, то, что он убежден в равноценности его жертвы жертве Христа (а значит, для него он больше человек, чем богочеловек), даже скорее сближает его с Вертером, чем разделяет.

IX. Толкование Достоевского. Образы звезды и солнца

Рассмотрев в сравнении случаи Вертера и Смешного человека, вернемся к фрагменту из «Дневника писателя» «О молитве великого Гете», которая и послужила поводом для сопоставления. Мы постарались наметить потенциальную полемику Гете и Достоевского, теперь важно понять, как Достоевский сам толкует историю Вертера, как ее проблематизирует. По Достоевскому, Вертер перед самоубийством, тоскуя о том, что больше никогда не увидите созвездие Большой Медведицы, осознает, что

«вся эта бездна таинственных чудес божиих не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? – он обязан лишь своему лику человеческому» (22, 6).

Напомним, что в оригинале Вертер в последнюю ночь записывает в дневнике: «Все тихо вокруг меня, и душа моя покойна. Благодарю тебя, Господи, что ты даровал мне в эти последние мгновения столько тепла и силы. Я подхожу к окну, смотрю и вижу сквозь грозные, стремительно несущиеся тучи одиночные светила вечных небес! Вы не упадете, о нет! Предвечный хранит в своем лоне и вас и меня. Я увидел звезды Большой Медведицы, самого милого из всех созвездий. Когда я по вечерам уходил от тебя, оно сияло прямо над твоими воротами. В каком упоении смотрел я, бывало, на него! Часто я простирал к нему руки, видя в нем знамение и священный смысл своего блаженства!» (6, 100). И это созвездие напоминает герою прежде всего о возлюбленной, но Достоевский, расширяя смысл этого прощания, не искажает оригинал, а обобщает и, как нам кажется, в своей интерпретации опирается на тот известный – и неоднозначный – фрагмент медитаций Вертера в долине, когда он, наслаждаясь солнечным пейзажем, еще радостно ощущает «близость Всесовершенного, создавшего нас по своему образу и подобию, <...> когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе», когда он чувствует свою душу как «отражение предвечного Бога». Однако о том, какое значение Вертер сам придавал «своему лику человеческому», красноречиво свидетельствует одно его высказывание: говоря о тщеславных иллюзиях, жажде славы и долголетия людей, Вертер заявляет: «кто в смирении своем понимает, какая всему этому цена, кто видит, как <...> все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца, – кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе и счастлив уже тем, что он человек. И еще тем, что при всей своей беспомощности в душе он хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает» (письмо от 22 мая 1771 г.) (6, 13–14). Итак, для Вертера быть человеком значит быть способным отказаться от жизни, если она покажется «темницей». Соответствует ли тот образ Вертера, которому было дорого созвездие Большой Медведицы в отрывке Достоевского, оригинальному образу, если здесь он считает своим гордым правом отказаться и от света солнца?

Во сне «Смешного человека» эта любовь героя к светилу еще усилена: когда Смешного человека неведомое существо несет через Вселенную, он видит солнце и радостно и благодарно восклицает: «Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы» (25, 111). Эту любовь он находит и в людях золотого века, которых называет «детьми солнца» (25, 112), любовью было проникнуто и их отношение к звездам: «они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем» (25, 113). А та звездочка, которая подала герою мысль убить себя (Сириус), – оказывается нашей планетой, Землей, и так Достоевский, связывая эти образы звезды, солнца и Земли, помогает герою открыть в себе чувство единения и гармонии с миром¹³.

В черновике статьи мы находим опущенный в опубликованном варианте комментарий: после слов «„Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне“». Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его», – следовало: «и вот в чем было страдание Вертера, вынужденного невыносимую страстию разбить этот „данный ему лик человеческий“» (22, 172). Эту оценку страданий Вертера, одержимого мучительной страстью, Достоевский опускает в оконча-

¹³ Интересно, что мотив отказа от солнца как источника жизни Достоевский использовал ранее в романе «Идиот» в исповеди другого самоубийцы, Ипполита, и, что характерно, с отсылкой к Гете. В разговоре с Лебедевым он вспоминает образ из пролога «Фауста»: «Как только солнце покажется и „зазвучит“ на небе (кто это сказал в стихах: „на небе солнце зазвучало“? бессмысленно, но хорошо!) <...> Солнце ведь источник жизни?» (8, 309), в исповеди пишет: «Когда я дойду до этих строк, то, наверно, уж взойдет солнце и „зазвучит на небе“, и польется громадная, неисчислимая сила по всей подсолнечной. Пусть! Я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни!» (8, 344).

Говоря об Ипполите, стоит также отметить, как он сходится в мыслях с Вертером, восставая против законов мироздания, где «ежедневно надобится в жертву жизнь множества существ, без смерти которых остальной мир не может стоять» (8, 344) (ср. с записью Вертера: «я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и все перемалывающего чудовища» (от 18 августа 1771 г.) (6, 44–45), Ипполиту во сне как средоточие абсурдного мироздания является тоже чудовище – «вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее» (8, 323).

тельном варианте, акцентируя внимание на его положительных размышлениях о мире. Но он видел душевную глубину героя, комментируя его решение о самоубийстве как «вынужденный», внутренне принужденный поступок, насилие над собственной человеческой природой, «ликочеловеческим», идеалом красоты. Как мы помним, сам Гете о своем герое отозвался как о личности, «наделенной даром глубоко и чисто чувствовать и истинной пронизательностью». И его творческую, «животворящую силу, которая созидает миры», мы, следовательно, тоже не можем оценивать однозначно. Гете показывает отрицательный путь, когда эти прекрасные задатки были омрачены «сумасбродными мечтаниями», но это не значит, что невозможен положительный ход развития личности. Как нам представляется, на эту прекрасную возможность и указывает Достоевский в потенциальном диалоге с Гете. Поэтому в его цитировании оказывается, что та самая причина самоубийства Вертера у Гете – то, что он творит красоту окружающего мира изнутри, из собственного сознания, – у Достоевского, в другой системе ценностей, наоборот, спасительный ход мысли, который может удержать героя от крайнего шага. И вот почему заканчивает самоубийством Вертер и останавливается перед этим шагом Смешной человек, и вот почему их ситуации, в которых мы пытались показать возможные аспекты для сопоставления, писатели решают различным образом.

Список литературы

- Буданова Н. Ф.* Библиотека Ф.М.Достоевского: Опыт реконструкции: Научное описание. СПб., 2005.
- Гете И. В.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1978.
- Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.
- Кемпер Д.* Гете и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна. М., 2009.
- Комарович В. Л.* «Мировая гармония» Достоевского // Агений: Историко-литературный временник. 1924. № 1–2. С. 112–142.
- Лагутина И.* Символическая реальность Гете. М., 2000.
- Лаут Р.* Философия Достоевского в систематическом изложении. М., 1996.
- Лобачева Д. В.* Роман И.В. Гете «Страдания юного Вертера»: рецепция в России (XVIII–XIX вв.): Дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 2005.
- Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм это гуманизм // Сумерки богов. М., 1990.

Хмелевская Н. А. Об идейных источниках рассказа Ф.М.Достоевского «Сон смешного человека» // Вестник Ленингр. ун-та. 1963. Вып. 2. Сер. литературы, истории, языка. № 8. С. 137–140.

Сведения об авторе: Золотко Ольга Вячеславовна, аспирант кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: zolga13@yandex.ru.

Э.Л.Котова

ИСТОРИЯ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ПУБЛИКАЦИИ: АДРИАН МАКЕДОНОВ ОБ ОСИПЕ МАНДЕЛЬШТАМЕ¹

Статья посвящена истории несостоявшейся публикации предисловия А.В.Македонова для сборника стихов О.Э.Мандельштама в серии «Библиотека поэта». В течение нескольких лет он трудился над ним, ощущая поддержку Н.Я.Мандельштам, которая высоко оценила проделанную им работу. Несмотря на готовность критика идти на уступки требованиям редколлегии и положительный отзыв В.М.Жирмунского, статья была отвергнута, издание сборника задержано на десять с лишним лет. В настоящей работе используются архивные материалы РГАЛИ (Москва), ЦГАЛИ (Санкт-Петербург), ГАСО (Смоленск) и др.

Ключевые слова: Мандельштам, Македонов, «Библиотека поэта», критика.

The paper describes the history of the failed publication of A.V. Makedonov's introduction for the collection of poems by O.E. Mandelstam in the series «Library of a poet». He worked on it for several years, having the support of N.Y. Mandelstam, who praised his work. Despite his readiness to make some concessions according to the requirements of the editorial board, and despite V.M. Zhirmunsky's positive review, the article was declined. The publication was delayed for more than ten years. Some archival materials of RGALI (Moscow), TsGALI (St. Petersburg), GASO (Smolensk), and others are used in this paper.

Key words: Mandelstam, Makedonov, «Library of a poet», criticism.

В период оттепели имя Осипа Мандельштама, официально реабилитированного, оставалось в СССР неизвестным широкому читателю. Скупые публикации отдельных текстов не меняли ситуацию². В русском зарубежье дело обстояло несколько иначе. Событием стало первое научное издание в 1955 г. в США «Собрания сочинений» Мандельштама под редакцией профессоров Г. П. Струве и Б. А. Филиппова.

Редколлегия серии «Библиотека поэта», понимая, что далее игнорировать творчество Мандельштама нельзя, решает издать томик его стихов.

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-14-67005.

² Подробнее см.: *Лекманов О.* Осип Мандельштам: Жизнь поэта: [Электронный ресурс] // URL: <http://e-libra.ru/read/215795-osip-mandelshtam-zhizn-poyeta.html> (дата обращения: 28.10.2015).

Он был включен в издательский план на 1959 г., и Н. И. Харджиев успел вовремя подготовить основную часть сборника. Однако издание задерживалось. Только зимой 1962 г. редколлегия во главе с В. Н. Орловым стала задумываться над выбором автора вступительной статьи.

Выбор пал на Адриана Владимировича Македонова – литературного критика, более восьми лет отсидевшего в лагере за «контрреволюционную деятельность». Главным образом эта «деятельность» заключалась в защите «кулацкого подголоска» А. Т. Твардовского, друга Македонова³. В 1958 г. Македонов получил возможность вернуться к литературной деятельности, хотя в это время он уже работал над докторской диссертацией по геологии и в 1960 г. был приглашен из Воркуты в Ленинград для работы в должности старшего научного сотрудника лаборатории геологии угля АН СССР.

Редколлегия «Библиотеки поэта» остановилась на его кандидатуре не случайно. Македонов привлек к себе внимание выступлениями на собраниях ленинградских писателей в защиту Мандельштама, который и после реабилитации продолжал подвергаться идеологической критике. «Для меня это было, – позже признавался Македонов, – не только результатом многолетней любви к его творчеству, но и особым долгом по отношению к человеку, погибшему в сталинских лагерях»⁴. Еще в молодости Македонов признавался, что Мандельштам его любимый поэт: вступая в РАПП, он заявил об этом в анкете⁵. Понимая, что настало время, когда возвращение из небытия поэзии Мандельштама возможно, Македонов попытался опубликовать хотя бы некоторые из его произведений. Известно, что он послал Твардовскому копии нескольких стихотворений поэта с предложением поместить их в «Новом мире». Твардовский отклонил это предложение несмотря на то, что с большим уважением относился к поэзии Мандельштама. Свое решение он объяснил Македонову тем, что лучше дожидаться выхода в свет книги Мандельштама, поскольку прохождение его текстов через цензуру вызовет большие трудности.

Работая над вступительной статьей, Македонов обратился в первую очередь к архивным материалам Института мировой литературы АН СССР. Благодаря Александру Гитовичу, другу детства, он познакомился с Ан-

³ Подробнее см.: *Котова Э. Л.* «Я имею одно печальное преимущество...»: Перипетии судьбы А. В. Македонова (1909–1994) // *Известия Смоленского гос. ун-та.* 2010. № 1 (9). С. 40–58.

⁴ *Македонов А. В.* О письмах Надежды Мандельштам и по поводу // *Всемирное слово* (СПб.). 1992. № 2. С. 66.

⁵ *Македонов А. В.* Автобиография // ГАСО. Ф. 2436. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1–2.

ной Андреевной Ахматовой, которая в свою очередь представила его Надежде Яковлевне Мандельштам. Вдова поэта оказала ему неоценимую помощь, познакомив с неизвестными тогда материалами о жизни Мандельштама, с его рукописями. В результате в своей работе Македонов анализировал даже те стихотворения, которые не были отобраны редколлегией для публикации. За сведениями и советами он обращался также к В. Ф. Асмусу, Н. Я. Берковскому, М. А. Лифшицу, Э. Л. Миндлину, Н. Л. Степанову, А. Т. Твардовскому, Г. М. Фридендеру, Е. Г. Эткинду и др.

Законченную работу Македонов сначала показал Анне Андреевне и Надежде Яковлевне. «Она им обеим понравилась, – вспоминал исследователь. – Вероятно, некоторое доверие ко мне объяснялось и моей биографией, биографией человека, также пострадавшего от сталинщины и к тому же занимавшего более или менее независимую позицию в литературных собраниях и дискуссиях»⁶.

В соответствии с договором летом 1962 г. готовая рукопись статьи «О поэзии Мандельштама» объемом в 4,5 авторских листа была представлена в редколлегию. В первую очередь редакторы потребовали от автора сократить ее вдвое, что удалось Македонову с большим трудом.

Внутренние рецензенты П. П. Громов и Б. Я. Бухштаб как достоинство работы Македонова отмечали «знание материала, тонкость и убедительность интерпретации ряда стихотворений, увлеченность автора своей темой», подчеркивали, что статья «является первым опытом исключительно трудной задачи, поскольку в советском литературоведении до сих пор нет работ, посвященных творчеству Мандельштама»⁷. Среди недостатков Б. Я. Бухштаб главным назвал «приподнимание» Мандельштама. «Автор статьи, – писал он, – последовательно преувеличивает близость поэта к революционному мировоззрению, к основному потоку жизни советского общества, к ведущему направлению советской поэзии»⁸. Рецензент пришел к выводу, что противоречия сложного развития поэта Македонов пытался объяснить, постулируя «резкую диспропорцию между общими творческими намерениями Мандельштама и реальным их осуществлением в его стихах»⁹. Бухштаба не устроило также прямолиней-

⁶ Македонов А. В. О письмах Надежды Мандельштам и по поводу // Всемирное слово (СПб.). 1992. № 2. С. 66.

⁷ Решение членов редколлегии «Библиотеки поэта» по поводу вступительной статьи А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Мандельштама [1966] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 4.

⁸ Там же. Л. 5.

⁹ Там же.

ное использование образов, заимствованных из стихотворений и статей Мандельштама для характеристики мировоззрения и творчества поэта.

В результате статья была возвращена Македонову для доработки в соответствии с замечаниями Бухштаба, а издание книги было исключено из плана выпуска в 1963 г.

Македонова поддержала Надежда Яковлевна. В процессе работы между ними завязалась дружеская переписка. Надежда Яковлевна продолжала интересоваться судьбой статьи: «Напишите мне, что нового с вашей статьей – трудно вам приходится с редакторским аппаратом? Много отгрызают? Не пали ли вы духом? Не падайте» (17 июня 1962 г.); «Вы совершенно правы, что приспосабливаете свою статью об О. М. к требованиям редакции. Самое главное, чтобы вышла книга. Вы помните, я даже беспокоилась, что вам трудно будет найти тот жесткий тон, который потребуется для выхода книги. Ради Бога, найдите его. Но не выбрасывайте своих 6 листов; я уверена, что они вам еще пригодятся для будущей работы. Пришлите мне все, что сможете. Мне очень интересно прочесть» (3 июля <1962 г.>¹⁰). Страшась, что издание сборника будет затянато, Надежда Яковлевна выразила желание, чтобы Македонов подчеркнул лояльность Мандельштама по отношению к советской власти, «в своем наброске своеобразного жизненного списка Мандельштама сама вставила сообщение о том, что Мандельштам считал себя „вольным другом большевиков“»¹¹. В то же время вдова поэта советовала Македонову воздержаться от чрезмерных похвал поэту, пойти на некоторые уступки требованиям увеличить в статье критические замечания о нем: «Вы даже можете немного ругнуть его, лишь бы книга и предисловие скорее прошли в печать»¹². Последним советом Македонов не воспользовался.

Переработанный вариант статьи Надежда Яковлевна, известная своей принципиальностью и требовательностью в отношении всего, что касалось памяти Мандельштама, оценила достаточно высоко: «Несомненно, это самое серьезное и глубокое из всего, что пока написано об О. М., включая, разумеется, и все, что пишут не у нас. У меня нет никаких возражений» (21 июня 1963 г.)¹³.

¹⁰ *Мандельштам Н. Я.* Письма к А. В. Македонову // *Всемирное слово* (СПб.). 1992. № 2. С. 62.

¹¹ *Македонов А. В.* О письмах Надежды Мандельштам и по поводу // *Всемирное слово* (СПб). 1992. № 2. С. 66.

¹² Там же.

¹³ *Баевский В. С.* Кулацкий подголосок и враг народа: Двойной портрет // *Вопросы литературы*. 2001. Сентябрь-октябрь. С. 37.

Надежда Яковлевна осознавала, что издание стихов Мандельштама намеренно затягивается, и даже начинала жалеть, что не может забрать рукопись и передать ее в другое издательство. В одном из писем осенью 1963 г. она предсказывает: «<...> книга О.М. опять „отложена“ лет на десять, я думаю. Почему книга отложена, мне вполне понятно. <...> Статья (Македонова. – Э. К.) здесь не при чем. Если когда-нибудь книга выйдет, то именно с этой статьей. Дело, поймите, не в ней, а в Орлове, Люсечевском (так он?) и т. д. <...>»¹⁴. В другом письме Надежда Яковлевна продолжает эту тему: «Зачем им печатать Мандельштама? Они так старались, а он нет. Где же теперь справедливость, что его сейчас будут печатать и читать, а их нет... <...> Люди, которые сейчас у литературного корыта, не хотят и не могут иметь соперников»¹⁵.

Только в 1965 г. «Библиотека поэта» решила возобновить подготовку сборника Мандельштама и предложила Македонову вернуться к работе над статьей. Она была направлена на отзыв ленинградским членам редколлегии: члену-корреспонденту АН СССР В.М. Жирмунскому, члену-корреспонденту АН СССР В.Г. Базанову, докторам филологических наук Б.И. Бурсову и И.Г. Ямпольскому, заместителю главного редактора «Библиотеки поэта» Б.Ф. Егорову. Новый вариант предисловия во всех отзывах был оценен как значительный труд, содержащий интересные и ценные наблюдения. В них говорилось, что Македонов прекрасно владеет материалом, тонко анализирует идейно-сюжетную основу, ритмико-стилистическую фактуру отдельных стихотворений Мандельштама. Вступительная статья «в основном вполне удовлетворяет своему назначению, – пишет В.М. Жирмунский. – А.В.Македонову удалось, как мне кажется, хорошо справиться со сложной интерпретацией содержания и формы поэзии Мандельштама, основных этапов ее развития, ее места в русской поэтической литературе своего времени. С этой точки зрения обращают на себя внимание в особенности страницы, посвященные второму и третьему этапу творчества поэта <...>, и очень содержательное заключение <...>. Интересным и правильным представляется мне определение зрелой поэзии Мандельштама как „философской лирики“ <...>, „разговора-раздумья“ <...>, „разговора с веком“ <...>, вырастающего из „своеобразных сюжетно-новеллистических очерков или портретов“ <...> его ранних стихов. Четко определено отношение Мандельштама к поэти-

¹⁴ Мандельштам Н. Я. Письма к А. В. Македонову // Всемирное слово (СПб.). 1992. № 2. С. 63.

¹⁵ Там же.

ческому слову, „предметному и вместе метафорическому“, „насыщенному максимально многозначительными связями, смыслами“ <...>. Вместе с тем, давая высокую оценку художественному мастерству Мандельштама, А. В. Македонов отнюдь не скрывает глубоких противоречий и срывов его творчества, связанных с его модернистской основой. Ср., например, стр. 62: „Этот лаконизм сближений, эта емкость многозначных ассоциаций часто переходит и в некий лаконизм темноты, не только благодаря опусканию «подъемных мостов» между ассоциациями, как в лирике 20-х годов, но и благодаря разрывам сознания, трагическим кошмарам, взрывам смятенного (подчас утравившегося) чувства- мысли“¹⁶.

Однако другие рецензенты, Б. И. Бурсов и Б. Ф. Егоров, указали на недостатки статьи, о которых писал еще Бухштаб. Главным из них называлось стремление объяснить трагические мотивы творчества Мандельштама предчувствиями «грядущих казней», прежде всего «выяснить меру проникновения поэзии Мандельштама в нашу действительность»¹⁷, наконец, изобразить его если не «красным», то слишком «розовым».

Для Македонова, безусловно, было важно подчеркнуть необходимость поэзии Мандельштама для современного общества, многое в трагедии «поэта „порога“», который хотел «своею кровью склеить двух столетий позвонки», исследователь объяснял исторической эпохой, в которую жил поэт. Тем не менее сохранившаяся в РГАЛИ рукопись вступительной статьи Македонова позволяет сделать вывод о том, что первоочередным для исследователя было раскрытие секретов мастерства поэта. На разных уровнях художественного текста он показывает особенности «синтетического стиха» Мандельштама. «Особенно характерно для Мандельштама, – пишет Македонов, – стремление соединить различные пласты времени, „склеить «столетий позвонки»“, совместить их в едином поэтическом образе. С этим связана и особая роль реминисценций античности (в частности, тема „домашнего эллинизма“), а также и других историко-культурных пластов. Однако, в этом склеивании времен проявляются и иллюзорные попытки стать над временем, над „скучными ошибками веков“. Это приводит к, так сказать, перегрузке поэзии Мандельштама прошедшим временем, к одностороннему пафосу „узнавания“ и ослаблению чувства

¹⁶ Отзыв В. М. Жирмунского [о вступительной статье А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Э. Мандельштама] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 1–2.

¹⁷ Решение членов редколлегии «Библиотеки поэта» по поводу вступительной статьи А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Мандельштама [1966] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 4–11. Л. 7.

созидательного, поступательного хода времени. Исходя из тех же стремлений, Мандельштам ищет синтетические интонации стиха, смело сплавляет разнообразнейшие речевые „лады“ <...>, широко включает в лирическое стихотворение элементы реалистической прозы»¹⁸. Из исследований Македонова о творчестве поэтов XX в. (от Твардовского и Заболоцкого до Евтушенко и Высоцкого) видно, что тенденцию художественного синтетизма, отмеченную им в поэзии Мандельштама, он считал общей для развития всей поэзии советского времени, то есть творческие поиски Мандельштама оказались вписанными в литературный контекст эпохи.

В ряде случаев В. М. Жирмунский, подобно другим рецензентам, выразил несогласие с толкованием стихов Мандельштама, «в особенности там, где он (Македонов. – Э. К.) пытается, иногда, как мне кажется, чрезмерно приблизить поэта и его творчество к нашей общественной современности». Однако автор отзыва посчитал невозможным «своими частными несогласиями нарушать цельность образа поэта, созданного или воссозданного его критиком»¹⁹.

Редколлегия, учитывая огромную работу, проделанную Македоновым, предложила ему во второй раз коренным образом переделать статью, непременно руководствуясь замечаниями рецензентов, освободить ее «от элементов тенденциозности, необъективных, антиисторических оценок, попыток нарочито „выпрямить“ сложный и противоречивый творческий путь Мандельштама»²⁰. Македонов во время беседы с членами редколлегии в мае 1966 г. постарался отстоять свою концепцию творчества Мандельштама и сразу не дал согласия на переработку статьи. «<...> я не хотел изобразить его (Мандельштама. – Э. К.), – позже комментировал Македонов сложившуюся ситуацию, – „антисоветчиком“ против его собственных взглядов и не хотел также ограничиться только формальным разбором стихов и оценкой их мастерства. Мне хотелось сопоставить путь Мандельштама с путями истории и всей нашей литературы»²¹.

¹⁸ Македонов А. В. О поэзии Мандельштама: [Не опубликовано] // РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 6521. Л. 68–69.

¹⁹ Отзыв В. М. Жирмунского [о вступительной статье А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Э. Мандельштама] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 2–3.

²⁰ Решение членов редколлегии «Библиотеки поэта» по поводу вступительной статьи А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Мандельштама [1966] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 9.

²¹ Македонов А. В. О письмах Мандельштама и по поводу // Всемирное слово (СПб.). 1992. № 2. С. 66.

Тем не менее, взяв за основу отзыв В. Г. Базанова, в котором статья была подвергнута наиболее подробному и обстоятельному разбору, Македонов в короткий срок представил новый, третий по счету вариант текста. Из переписки с Надеждой Яковлевной видно, что в процессе его создания он продолжал собирать сведения о Мандельштаме. Критика волновал вопрос, на воспоминания каких современников поэта можно опираться в своих исследованиях. Резко охарактеризовав некоторых мемуаристов, вдова поэта выделила М. Зенкевича, В. Жирмунского и П. Лукицкого²².

В очередной раз статья Македонова была отвергнута редколлегией, поскольку ее пафос остался прежним. Исследователь постарался увеличить «доказательную базу» своей версии: характеризуя творчество Мандельштама, он «почти каждое положение сопровождает многочисленными оговорками, запутывающими и без того сложную картину творческого развития поэта»²³. Было принято решение поручить написание статьи Лидии Яковлевне Гинзбург.

Македонов был очень огорчен, но не жалел о потраченном времени. Позже в одном из интервью он признался: «<...> работая над статьей, <...> я получил так много информации, так много материала для размышлений, что одной статьей уже никак не мог ограничиться»²⁴. При встречах и в переписке они с Надеждой Яковлевной продолжали обсуждать творчество Мандельштама, судьбу его многострадальной книги. Будучи «осторожным оптимистом», Македонов верил, что книга скоро выйдет, и всячески пытался развеять сомнения вдовы. Не раз он советовал обратиться с письмом в вышестоящие инстанции с просьбой ускорить издание стихов Мандельштама. Надежда Яковлевна считала это бесполезным: кто станет слушать вдову опального поэта? Вот если бы международный скандал, как в случае с Пастернаком!

В последнем из ее опубликованных писем к Македонову речь заходит о предстоящей тридцатилетней годовщине со дня гибели Мандельштама. Македонов, очевидно, предлагал поднять вопрос о необходимости официально отметить эту трагическую дату, что, возможно, помогло бы

²² *Мандельштам Н. Я.* Письма к А. В. Македонову // *Всемирное слово* (СПб.). 1992. № 2. С. 64.

²³ Решение членов редколлегии «Библиотеки поэта» по поводу вступительной статьи А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Мандельштама [1966] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 10.

²⁴ *Фоняков И. О.* И снова пора надежд?... [Беседа с А. В. Македоновым] // Литературная газета. 1991. № 23. 12 июня. С. 9.

ускорить и издание книги. Надежда Яковлевна спешила успокоить его разгоряченную голову: «<...> вопрос бы хорошо поднять (публично), но не беспокойтесь – этого не отметят. Ваш оптимизм вас не покидает... Ну ничего... Стерпим. И не то терпели...»²⁵

* * *

Книга стихов Мандельштама была издана в серии «Библиотека поэта», как и предсказывала Надежда Яковлевна, через 10 лет – в 1973 г. Вместо Л. Я. Гинзбург, статья которой также не устроила редколлегую, автором предисловия стал А. Л. Дымшиц, постаравшийся обойти все острые углы²⁶.

Македонов много раз пытался опубликовать свое исследование о Мандельштаме. В письме к В. С. Баевскому он признавался, что имеет достаточно материалов, чтобы написать о поэте монографию²⁷. Только после отмены цензуры Македонову наконец удалось осуществить свою мечту²⁸.

Список литературы

- Баевский В. С.* Кулацкий подголосок и враг народа: Двойной портрет // Вопросы литературы. 2001. Сентябрь-октябрь.
- Котова Э. Л.* Секреты «синтетического мастерства»: Адриан Македонов о творчестве О. Мандельштама // European Social Science Journal. 2014. V. 3. № 6 (45). P. 165–172.
- Котова Э. Л.* «Я имею одно печальное преимущество...»: Перипетии судьбы А. В. Македонова (1909–1994) // Известия Смоленского гос. ун-та. 2010. № 1 (9). С. 40–58.
- Лекманов О.* Осип Мандельштам: Жизнь поэта: [Электронный ресурс] // URL: <http://e-libra.ru/read/215795-osip-mandelsham-zhizn-poyeta.html> (дата обращения: 28.10.2015).

²⁵ *Мандельштам Н. Я.* Письма к А. В. Македонову // Всемирное слово (СПб.). 1992. № 2. С. 65.

²⁶ См.: *Швейцер В. А.* Дымшиц и Мандельштам // «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский сборник. М., 1991. С. 84–96.

²⁷ *Македонов А. В.* Письмо к В. С. Баевскому от 11 октября 1990 г. // Личный архив В. С. Баевского.

²⁸ См. подробнее: *Котова Э. Л.* Секреты «синтетического мастерства»: Адриан Македонов о творчестве О. Мандельштама // European Social Science Journal. 2014. V. 3. № 6 (45). P. 165–172.

- Македонов А. В.* Автобиография // ГАСО. Ф. 2436. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1–2.
- Македонов А. В.* О письмах Надежды Мандельштам и по поводу // *Всемирное слово* (СПб.). 1992. № 2. С. 65–67.
- Македонов А. В.* О поэзии Мандельштама: [Не опубликовано] // РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 6521. 73 л.
- Македонов А. В.* Письмо к В.С. Баевскому от 11 октября 1990 г. // Личный архив В. С. Баевского.
- Мандельштам Н. Я.* Письма к А. В. Македонову // *Всемирное слово* (СПб.). 1992. № 2. С. 62–65.
- Отзыв В. М. Жирмунского [о вступительной статье А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Э. Мандельштама] // ЦГАЛИ СПб. Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 1–3.
- Решение членов редколлегии «Библиотеки поэта» по поводу вступительной статьи А. В. Македонова к сборнику стихотворений О. Мандельштама [1966] // ЦГАЛИ СП(б). Ф. 744. Оп. 1. Д. 259. Л. 4–11.
- Фоняков И. О.* И снова пора надежд?.. [Беседа с А. В. Македоновым] // Литературная газета. 1991. № 23. 12 июня. С. 9.
- Швейцер В. А.* Дымшиц и Мандельштам // «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский сборник. М., 1991. С. 84–96.

Сведения об авторе: Котова Элеонора Леонидовна, кандидат филол. наук, доцент кафедры литературы и методики ее преподавания филологического факультета Смоленского государственного университета. E-mail: elkotova@ Rambler.ru

А.В. Гоганова

**«ПОЖИЛЫЕ» ДЕТИ
В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»
(К ТИПОЛОГИИ ПЕРСОНАЖЕЙ)**

В противоположность инфантильным героям, строящим коммунизм в Чевенгуре, дети в романе Андрея Платонова, как правило, «пожилые», «постаревшие». В данной статье детские образы рассматриваются как специфический тип персонажей, а также анализируется значение категории детства в поэтике платоновского текста.

Ключевые слова: детство, типология персонажей, творчество Андрея Платонова.

In “Chevengur” by A. Platonov adults, builders of communism, are infantile. On the contrary most children behave like people in years; “aged” and “old” are their usual epithets. This feature allows us to describe them as a specific Platonov’s type of heroes. In the article the category of childhood in Platonov’s poetic is also analyzed.

Key words: childhood, typology of heroes, Platonov’s art.

Тема детства – одна из важнейших в «Чевенгуре» и в творчестве Платонова в целом. Особенно ярко сказанное подтверждается тем фактом, что несостоятельность утопий, создаваемых в основных произведениях Платонова, выявляет смерть ребенка: сына нищенки в «Чевенгуре» и Настеньки в «Котловане». Еще одним убедительным примером присутствия детской темы является инфантильность героев – один из наиболее разработанных исследователями аспектов творчества Платонова. «Детская мотивация соединяется у Платонова с реалиями мира взрослых», – пишет, например, Л. В. Карасев [Карасев, 1994: 266]. На эту черту персонажей указывает и сам автор, говоря о «тревоге неуверенности, какую имели в себе дети и члены партии» [Платонов, 2011: 254]. Чевенгурские лидеры изображаются с детскими чертами; так, Копенкин «въехал в церковь с удивлением возвращенного детства, словно он очутился на родине в бабушкином чулане» [Платонов, 2011: 208]. Революция совершается героями с детской радостью и детской же наивностью: Александр Дванов, отправляясь с Копенкиным в путь, переполнялся «силой нетерпения к своему будущему, ожидающему его за этой дорогой. В нем встала детская радость вбивать гвозди в стены, делать из стульев корабли и разби-

рать будильники, чтобы посмотреть, что там есть» [Платонов, 2011: 152]. В конце концов, многие мечты строителей города-утопии тоже «родом из детства». Х. Гюнтер даже называет чевенгурскую общину «утопической ассоциацией сынов» [Гюнтер, 2012: 74], так как коммунизм должен избавить героев прежде всего от чувства сиротства.

Взрослые в романе действительно инфантильны. И напротив, образы детей у Платонова обладают экспрессионистичной выразительностью из-за неестественной, болезненной «взрослости». Приведем в качестве иллюстрации небольшой отрывок.

«Поганкин встретил Дванова неласково – он скучал от бедности. Дети его за годы голода постарели и, как большие, думали только о добыче хлеба. Две девочки походили уже на баб: они носили длинные материнские юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали. Странно было видеть маленьких умных озабоченных женщин, действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих чувства размножения. Это упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными, стыдными существами.

Когда смерклось, двенадцатилетняя Варя умело сварила похлебку из картофельных шкурок и ложки пшена.

– Папашка, слезай ужинать! – позвала Варя. – Мамка, кликни ребят на дворе: чего они стынут там, шуты синие!

Дванов застеснялся: что из этой Вари дальше будет?

– А ты отвернись, – обратилась Варя к Дванову. – На всех вас не наготовишься: своих куча!

Варя подоткнула волосы и оправила кофту и юбку, как будто под ними было что неприличное.

Пришли два мальчика – сопливые, привыкшие к голоду и все-таки счастливые от детства. Они не знали, что происходит революция, и считали картофельные шкурки вечной едой.

– Я вам скоко раз наказывала раньше приходите! – закричала Варя на братьев. – У, идолы крошечные! Сейчас же снимайте одежду – негде ее брать!

Мальчики скинули свои ветхие овчинки, но под овчинками не было ни штанов, ни рубашек. Тогда они голые залезли на лавку у стола и сели на корточки. Наверное, к такому сбережению одежды дети были приучены сестрой. Варя собрала овчинные гуни в одно место и начала раздавать ложки.

– За папашкой следите – чаще не хватайте! – приказала Варя братьям порядок еды, а сама села в уголок и подперла щеку ладошей: ведь хозяйки едят после.

Мальчики зорко наблюдали за отцом: как он вынет ложку из чашки, так они враз совались туда и моментально глотали похлебку. Потом опять дежурили с пустыми ложками – ожидая отца.

– Я вас, я вас! – грозилась Варя, когда ее братья норовили залезть ложками в чашку одновременно с отцом.

– Варька, отец гушу одну таскает – не вели ему! – сказал один мальчик, приученный сестрой к твердой справедливости.

Сам Поганкин тоже побаивался Варю, потому что стал таскать ложки поуже» [Платонов, 2011: 89–90].

Двенадцатилетняя Варя – «большая», потому что героине не свойственны черты ребенка, она поглощена «взрослыми» заботами о пропитании. Хозяйствующая девочка воспринимается как «тягостный» [Платонов, 2011: 89] образ и Двановым, и читателями, потому что деловитая хозяйка дома на самом деле – опустошенный ребенок. При этом автор недвусмысленно указывает на причины этого: дети Поганкина – «постаревшие за годы голода».

Еще один герой с «ранним разумом» [Платонов, 2011: 48] – Прошка Дванов. Семилетний мальчик слишком хорошо знает, что такое неурожай для многодетной семьи.

«Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

– Лежень, – сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек. – Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас – корми теперь!

– Вот остаток от чертей-то! – поругался сверху Прохор Абрамович. – Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!

Прошка сидел с большой досужестью на лице, думая, как надо сделаться отцом. Он уже знал, что дети выходят из мамкиного живота – у нее весь живот в рубцах и морщинах, – но тогда откуда сироты? Прошка два раза видел по ночам, когда просыпался, что это сам отец наминает мамке живот, а потом живот пухнет и рожаются дети-нахлебники. Про это он тоже напомнил отцу:

– А ты не ложись на мать – лежи рядом и спи.

<...> Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошки.

<...> После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:

– Тогда прогони Сашку, чтобы лишнего рта не было» [Платонов, 2011: 34].

Прошка Дванов не только хорошо знаком с реалиями взрослой голодной жизни, но он еще наблюдательный, расчетливый мальчик и имеет практический ум: «Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы» [Платонов, 2011: 50].

В свои семь лет он отлично знает, как выжить в мире взрослых. Когда семья Прохора Абрамовича осталась без пропитания и встал вопрос, кого из детей посылать в город побираться, Прошка заявил:

« – Я не пойду, – отказался Прошка, – я воровать буду. Помнишь, ты говорил, кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту – украду мерина. <...> Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал – тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.

– Мои милые! – в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна. – Он как большой балакает – сам гнида, а уж отцу поперек нашел!» [Платонов, 2011: 33].

«Большой» в устах Мавры Фетисовны – это человек, думающий о выгоде и, соответственно, умеющий действовать целесообразно, расчетливо. Для обычных детей материальные ценности еще не имеют той цены, которую они приобретают в «большом» мире. Взрослых же зачастую нужда направляет в жизни – так происходит с большинством простых («безыдейных») героев «Чевенгура». «Старые» дети у Платонова не просто знают нужду, но поглощены ею, поэтому они не просто рано повзрослевшие. «Постаревший», «пожилой» или «зрелый» – постоянные эпитеты малолетних персонажей в романе:

«Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозьяственную жердь.

– Ну никак нету дождей! – пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. – Ну, никак: хоть ты тут ляжь и рашибись об землю, идол ее намочи!» [Платонов, 2011: 40–41]. О засухе, ведущей к голоду и вымиранию деревни, ребенок говорит «пожилым» голосом.

Таким образом, взрослость детей в произведении Платонова – нелепая, уродливая. Дванов, глядя на чересчур хозяйственных дочерей Поганкина, чувствовал их «тягостными, стыдными существами» [Платонов, 2011: 89]. Очевидно также, что это не подлинная взрослость. Пытаясь разгадать причины «раннего разума Прошки» [Платонов, 2011: 48], Захар Павлович думает: «Посредством своего живого рассуждающего ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум – это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства» [Платонов, 2011: 50]. Взрослость понимается не как зрелость, а, скорее, как отсутствие детства.

В романе много персонажей, лишенных детства. Это неизменные жители провинции, изображенной в «Чевенгуре», – дореволюционной, а затем и времени Гражданской войны. Они являются как показатель бедственного положения русской глубинки: «Дванов заходил в путевые дома пить воду, видел бедных детей, играющих не в игрушки, а одним воображением...» [Платонов, 2011: 70]. У губисполкома Шумилина «дети тоже проснулись, но не вставали с теплоты постели и старались опять заснуть, чтобы не хотеть есть» [Платонов, 2011: 82]. Голодающие, нищенствующие дети или сироты – привычное явление в художественном мире Платонова. Как наиболее незащитные ранимые существа, дети первыми ис-

чезают из тех мест, которым грозит вымирание. Отсутствие детей или их гибель вообще становятся показателем непригодности места для жизни. Когда во время засухи в деревне начался голод, «дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать» [Платонов, 2011: 12].

Однако чем более негативную окраску носят описания «пожилых» детей, тем очевиднее, какое огромное значение для автора имеет подлинное детство, не искаженное нищетой, голодом и другими тяготами «взрослого» мира.

«Подлинный» ребенок в романе – Саша Дванов. Хотя на его долю выпадают все названные выше испытания, они не заставляют мальчика научиться выживать. Практичность и живучесть его названного брата Прошки противопоставляются кротости и беспомощности Саши: «Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подавании, он верил, что все люди не богаче его» [Платонов, 2011: 51]. Даже сиротство для него – это прежде всего тоска по отцу, а не бедность. По этой причине Н. Г. Полтавцева называет состояние Саши «метафизическим сиротством» [Полтавцева, 2004: 276]. И если девочек Поганкина можно описать как существ, не способных откликнуться ни на что, кроме хозяйственных нужд, то Сашу, напротив, не только люди, но весь окружающий мир наполняет «тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине» [Платонов, 2011: 55]. «Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безмянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни» [Платонов, 2011: 55]. Как подлинный ребенок, Саша Дванов – наиболее искреннее и глубоко чувствующее существо. Его плач у гроба отца тронул даже зачерствевшее было сердце Захара Павловича: «Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешным; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым» [Платонов, 2011: 16–17].

Детское у Платонова соотносится с живым, наиболее человеческим в душе или просто нормальным течением человеческой жизни, например

деревенской. Вместе с тем подлинно детское в героях всегда означает и их незащищенность перед миром, ведь этот возраст «нежен и обнажен для гибели» [Платонов, 2011: 58].

Надо сказать, это справедливо не только для маленьких персонажей (напомним: сохранившие чувствительность – это «подлинные» дети; поглощенные проблемой выживания и голода составляют специфический платоновский тип персонажей – «постаревших» детей). Почти во всех положительных героях («подвижниках» своего дела) живет ребенок со своими детскими страхами или детской грустью. Например, когда умирает старший машинист-наставник, он вновь ощущает себя ребенком: «Просуньте меня поглубже в трубу, – прошептал он опухшими детскими губами, ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится» [Платонов, 2011: 57].

Мотив детства часто сопутствует теме смерти: «Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком» [Платонов, 2011: 56]. Детское в героях проявляется в снах, опять же обнажая беззащитность человека перед миром. Часто этот мотив возникает, когда автор пытается заглянуть в душу героя, говорит о «сокровенном» в человеке: «Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать – на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины» [Платонов, 2011: 46]. Сон как область подсознательного как раз является одним из таких «сокровенных» состояний и часто возвращает героев на их «детскую родину».

Надо заметить, что если инфантильность героев «Чевенгура» – это хорошо разработанная в литературоведении проблема, то детское, проявляющееся в персонажах романа в критические моменты их жизни или перед смертью, – тема намного менее исследованная, хотя именно с ней связан проходящий через весь роман красной нитью мотив сиротства (ведь сиротство – это изначально детское чувство).

Итак, детское для Платонова – очень важная категория. Это синоним живого, не закосневшего в человеке – как в детях, так и во взрослых. Там, где есть дети, продолжается жизнь, и наоборот, отсутствие детей означает гибель или тупик. Дети первыми исчезают из деревень во время голода: «Хаты стояли, полные бездетной тишины» [Платонов, 2011: 18]. И, как мы помним, несостоятельность чевенгурской утопии становится очевидной после детской смерти: «„Какой же это коммунизм? – окончательно усомнился Копенкин и вышел на двор, покрытый сырою ночью. – От

него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копенкин, отсюда – вдаль“» [Платонов, 2011: 306]. Смерть ребенка доказала провал чевенгурского строительства даже лидеру этого проекта: «Чепурный стоял не боялся, он мучился совестью, что от коммунизма умер самый маленький ребенок в Чевенгуре, и не мог себе сформулировать оправдания» [Платонов, 2011: 308].

Мотив детства появляется в ключевые моменты сюжета. Например, понимание героями революции – а для них это явление намного более широкое и значительное, чем просто политическое, – вводится не без помощи детской темы. «Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия – наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет» [Платонов, 2011: 63]. Упоминание детского здесь означает проникновение в частные сферы жизни, влияние на все человеческое бытие в его даже бытовых основах.

Интересно, что социальные понятия тоже объясняются при помощи детской темы. Например, корни такого явления, как нищета («прочие» в определении Платонова), автор связывает с детством этих людей:

«Никто из прочих не видел своего отца, а мать помнил лишь смутной тоской тела по утраченному покою – тоской, которая в зрелом возрасте обратилась в опустошающую грусть. С матери после своего рождения ребенок ничего не требует – он ее любит, и даже сироты-прочие никогда не обижались на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения. Но, подрастая, ребенок ожидает отца, он уже до конца насыщается природными силами и чувствами матери – все равно, будь он покинут сразу после выхода из ее утробы, – ребенок обращается любопытным лицом к миру, он хочет променять природу на людей, и его первым другом-товарищем, после неотвязной теплоты матери, после стеснения жизни ее ласковыми руками, – является отец.

Ни один прочий, ставши мальчиком, не нашел своего отца и помощника, и если мать его родила, то отец не встретил его на дороге, уже рожденного и живущего; поэтому отец превращался во врага и ненавистника матери – всюду отсутствующего, всегда обрекающего бессильного сына на риск жизни без помощи – и оттого без удачи.

И жизнь прочих была безотцовщиной – она продолжалась на пустой земле без того первого товарища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей смерти оставить людей детям в наследство – для заме-

ны себя. У прочих не хватало среди белого света только одного – отца...» [Платонов, 2011: 284–285]. Безотцовщина – суть трагедии «прочих», это тоже люди без детства.

И напротив, государство сравнивается автором с материнской утробой, с «охраняющими продолжающимися материнскими силами»: «Оседлые, надежно-государственные люди, проживающие в уюте классовой солидарности, телесных привычек и в накоплении спокойствия, – те создали вокруг себя подобие материнской утробы и посредством этого росли и улучшались, словно в покинутом детстве; прочие же сразу ощущали мир в холоде...» [Платонов, 2011 : 284]. Таким образом, даже социальные и политические понятия определяются через отношение к детскому – наиболее человеческому в людях.

Тема детства действительно вводится автором во многих, порой неожиданных ситуациях. Но всегда образы детства – «тягостные» [Платонов, 2011: 89]. Один из строителей утопии Пашинцев однажды подумал, вспоминая давно ушедшее: «в свое детское погубленное время...» [Платонов, 2011: 149]. «Погублено» детство почти у всех героев в романе – и у маленьких, и у взрослых, и у целого «класса» – чевенгурских «прочих». Ведь детство как наиболее уязвимое и «обнаженное для гибели» едва может существовать в голодном мире русской глубинки, изображенной в «Чевенгуре». Феномен «постаревших» детей, своеобразный платоновский тип персонажей, – тоже явление этого сурового мира и, вероятно, также укор ему.

Список литературы

- Гюнтер Х.* По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова. М., 2012.
- Карасев Л. В.* Знаки «покинутого детства» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994.
- Платонов А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 2011.
- Полтавцева Н. Г.* Мотив сиротства как проблема культуры у Платонова и Джойса (Саша Дванов и Стивен Дедалус) // Творчество Андрея Платонова. Т. 3. СПб., 2004.

Сведения об авторе: Гоганова Александра Владимировна, соискатель кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: agoganova@mail.ru

Е.Е.Свиридова

ПОСТМОДЕРНИСТКАЯ НЕОРЕЛАТИНИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА СТЕФАНО БЕННИ «СТРАНАЛАНДИЯ»

В статье рассматривается роман итальянского писателя Стефано Бенни «Страналандия» в контексте литературы постмодернизма, прослеживается положенная в основу романа литературная традиция (бестиарии и романы о путешествиях), а также выявляются особенности авторских неологизмов на базе латинской и итальянской лексики.

Ключевые слова: Стефано Бенни, бестиарии, постмодернизм, неологизм, латынь, итальянский

The article describes the Stefano Benni's novel "Stranalandia" in the context of the post-modern literature. The author analyzes the literary tradition assumed as a basis of the novel (bestiarium and medieval novel about fantastic travels) and reveals the peculiarities of the neologisms formed with the Italian and Latin morphemes.

Key words: Stefano Benni, bestiarium, post-modernism, neologism, latin, italian

Умберто Эко не раз говорил о том, что постмодернизм – это определенное духовное состояние, а не «фиксированное хронологическое явление»¹. Поэтому писатель-постмодернист непрерывно ведет сложную и тонкую работу, выстраивает диалог между текстами далеких друг от друга культур, переосмысляет и перерабатывает сюжеты в поиске неожиданных интерпретаций, создавая принципиально новое художественное пространство.

Таким образом, литературное произведение постмодернизма всегда имеет под собой основу готового материала. Роман итальянского писателя Стефано Бенни «Страналандия», вышедший в 1984 г. в издательстве «Фельтринелли», в этом смысле представляет собой прекрасный пример, поскольку является двойной пародией на жанры, которые легко прочитываются в тексте романа. Прежде всего это жанр фантастического путешествия, который берет начало в литературе Древней Греции с поэмой Гомера «Одиссея» и получает в дальнейшем широкое распространение в мировой литературе. Примерно в это же время (II–I вв. до н. э.) появля-

¹ Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 460.

ются первые утопические романы, повествующие об открытиях таинственных далеких островов, например «Острова Солнца» Ямбула. Особого внимания в контексте данного исследования заслуживает «Правдивая история» Лукиана, в которой впервые из дошедших до нас источников жанр фантастического путешествия раскрывается в пародийном ключе (рассказчик посещает Луну).

Герои романа Бенни, ученые-биологи Эдинбургского университета Кумбертус и Люпус, по сюжету попадают в страшный шторм 15 июня 1906 г. В их дневниковых записях, посвященных трагедии, комически соединяется возвышенная и сниженная лексика: небо, например, раскаляется как «печь для выпекания пиццы» («Il cielo si arrossò come l'interno di un forno da pizza»)². Остров, на который их выбрасывают волны, настолько прекрасен, что «кажется ожившим рекламным буклетом рая» («sembrava uscita dal depliant di una pubblicità di Dio»)³, и населен бесчисленными животными, ни одно из которых не было ранее известно науке. Исследователи узнают от единственного аборигена легенду о создании чудесного острова, изучают местный язык (osvaldese – от имени единственного жителя Osvaldo) и составляют перечень животных с зарисовками. Путешествие вполне в духе «Гулливера» Дж. Свифта завершается триумфальным возвращением Кумбертуса и Люпуса на родину после извержения вулкана (на летающем столе прямо в конференц-зал университета), где немедленно разворачиваются ожесточенные споры о правдивости проведенных исследований. Споры между «страналандистами» (stranalandisti), сторонниками существования острова Страналандия, и их оппонентами, как утверждает автор, не угасают до сих пор. Еще один интересный пример постмодернистской игры, в рамках которой в книге создается и описывается другая реальность: в предисловии упоминается первое издание книги «Волшебные животные Страналандии» в Лондоне в начале XX в., которое было полностью изъято из обращения и уничтожено, так как могло «подорвать преподавание науки в школах» («avrebbe potuto turbare l'insegnamento delle scienze nelle scuole»)⁴.

Вторая сторона пародии – прямая отсылка к средневековым бестиариям (от лат. *bestiarius* – звериный), традиция которых в свою очередь восходит к позднеантичному «Физиологу» (предположительно Александрия, II или III в.), написанному под влиянием в том числе и восточных преда-

² Benni S. Stranalandia. 1989. P. 5.

³ Ibid. P. 5.

⁴ Ibid. P. 7.

ний. В bestiариях каждому животному приписывалось символическое значение, а факту его существования на земле придавался определенный духовный смысл: животное могло символизировать Христа или дьявола, добродетели или пороки. Пеликан, например, будто бы кормит голодных птенцов своим же мясом, напоминая читателю о жертве Сына Божьего. Научная достоверность сведений нередко вызывает сомнение, поскольку данные копировались переписчиками, не подвергаясь какой-либо проверке (очень яркий пример – хамелеон, который якобы питается только воздухом и оттого совершенно бескровен, а огонь в его желудке способен вызвать грозу). При этом нет сведений о хотя бы двух идентичных bestiариях, с полностью совпадающим содержанием, поскольку в разных регионах добавлялись новые животные. Bestiарии могли базироваться как на научных трудах – Аристотель, Геродот, «Естественная история» Плиния, или «Фарсалии» Лукана, – так и на чистом вымысле, как, например, «Истинная история» Лукиана Самосатского, о которой мы уже упоминали ранее.

Нужно отметить, что для человека Средневековья путешествия в далекие страны были неразрывно связаны с понятием фантастического. Рассказы паломников приукрашивались и превращались в невероятные истории о краях, где живут великаны или людоеды, где все не похоже на привычный мир. Конечно же, путешественники приносили истории о неведомых животных. Так родилась, например, книга «Плавание Св. Брендана», в которой описывается, как настоятель ирландского монастыря отправился искать земной рай и отслужил мессу в море на спине огромного кита.

Эти фантастические животные, наделенные волшебными свойствами: василиски, фениксы, саламандры, единороги, – также попадают в средневековые bestiарии. Самое интересное, что описания традиционно сопровождалось иллюстрацией, хотя единорогов и василисков никто из художников, разумеется, никогда не видел. Bestиарий Бенни имеет схожую структуру, поскольку изображения, выполненные Пирро Куниберти (Pirro Cuniberti), составляют важную часть книги и служат для усиления комического эффекта.

Стефано Бенни в свойственной ему пародийной манере предлагает читателю bestiарий своего фантастического мира. В его интерпретации животным не приписывается символическое значение в привычном для нас смысле. Чаще всего писатель играет с их названиями, соединяя, например, живое и неживое: *il coniglio orologio* (кролик-часы), *il pesce pizza*

(рыба-пицца), *il pesce mobile* (рыба-автомобиль) или *la bancaruga* (*banc*+*tartaruga* – черепаха-банк). В некоторых случаях Бенни придает привычным для нас животным новое качество, играя с читательским ожиданием: *il maialino volante* (летающая свинья, которая собирает «нектар» с носков и делает мед с ароматом горгонзолы), *il formichire triste* (грустный муравьед, которому не по вкусу муравьи), *la gallina intelligente* (умная курица, автор поэм и философских трактатов).

Об особенностях авторской неологии Стефано Бенни можно рассказать многое, не случайно в Италии даже существует термин «*bennilingua*» (букв. *язык Бенни*), настолько знаменита фантазия писателя. В России он известен мало, полностью переведен на русский только один сборник рассказов «Божественная грамматика» («*La grammatica di Dio*», 2007). Одной из основных причин этого факта является как раз насыщенность языка писателя неологизмами, которые иногда перевести просто невозможно.

В рамках данной статьи мы проанализируем псевдолатинские названия, которые автор дает своим выдуманным животным, еще раз отсылая читателя к вышеназванной литературной традиции.

В названиях животных итальянское слово дублируется псевдонаучным: латинизируются слова из *italiano standard* (официального варианта итальянского языка, который используется на государственном уровне), а также слова из греческого и латинского языков, к которым прибавляется латинское окончание именительного падежа существительных (II, IV склонения) и прилагательных (II склонения) мужского рода *-us*. Примеры и возможные варианты расшифровки и перевода приведены в таблице:

Животное	Латинское название	Расшифровка
II rigario	Rigarius tuttomius	– <i>riga</i> (строчка) + <i>us</i> ; – неологизм: соединение двух слов <i>tutto+mio</i> (весь мой) + <i>us</i> .
II gattacielo (кот-небоскреб: <i>grattacielo</i> + <i>gatto</i>)	Micius panoramicus	– <i>micio</i> (котенок) + <i>us</i> ; – <i>panoramicus</i> (панорамный) – от греч. <i>πᾶν</i> – всё + <i>ὄραμα</i> – вид, зрелище) + <i>us</i> .

Животное	Латинское название	Расшифровка
Il merendolo (от merenda – полдник)	Panburrus marmellatus	– неологизм-калька от английского слова bread-and-butter (бутерброд) – pane + burro (хлеб + масло) + us; – marmellata (варенье) + us.
Il pavarotto (от фамилии певца Паваротти + rotto – сломанный)	Passerus cavaradossus	– passer – воробей на латинском + us; – латинизированное имя персонажа из оперы Джакомо Пуччини «Тоска» – Каварадосси.
L'uccello gelataio (рыба-мороженщик)	Gelatorius alatus	– gelato (мороженое) + orius (суффикс or – суффикс деятеля + окончание прилагательного мужского рода -ius); – alato (крылатый) + us.
Il rockolo (rock – рок-музыка; goscolo – птицеловная сеть)	Avis Presley	– avis – лат. птица; созвучно имени американского певца Elvis + его фамилия Пресли.
Il prontosauro (pronto – «быстрый», -sauro – часть лексемы dinosauro, динозавр)	Megasaurus interurbanus	– megasaurus – неологизм, состоящий из греческой приставки μέγα (мега) и части греческого слова – saurus (ящер) + us; – interurbanus – неологизм: латинская приставка inter + итальянское прилагательное urbano (городской) + us – междугородный.

Второй способ создания псевдолатинских названий в «Страналандии» заключается в использовании слов из различных диалектов итальянского языка, которые Стефано Бенни любит трансформировать в неологизмы в своих романах и рассказах, поскольку такие слова изначально стилистически окрашены.

Примеры неологизмов и расшифровка приведены в следующей таблице:

Il pesce pizza (рыба-пицца)	Pomarolus origanatus	– от неаполитанского варианта слова pomodoro – «pommarola» или «pummarola» (помидор); – origano (оригано) + стилизация под латинскую основу супина+ us (то есть «проориганенный»).
Il maialino volante (летающая свинка)	Porcellinus pedalinus	– porcello (поросенок на ит.) + us; – pedalinus – «pedalino», мужской носок, а также педаль акселератора в автомобиле в римском диалекте + us.
L'elefante in brodo (слон в бульоне)	Pachiderma passatellus	– pachiderma (толстяк, толстокожее животное); – passatellus – «passatelli» (блюдо из пасты в бульоне, распространенное в Умбрии) + us.
lo Sbronzolo (от sbronzo – разг. поддатый, навеселе)	Vespillionio briacus	– vespillone – могильщик; – briaco – тосканский вариант «ubriaco» (пьяный).
il bombero (bomba + albero)	Фрукт, который падает с «Дерева в облаках»	– bombo – melone (дыня) в римском диалекте.

Для итальянского читателя расшифровка приведенных примеров языковой игры намного проще, поскольку в среднем каждый третий итальянец учился в классическом лицее и изучал латынь. Русскому читателю, владеющему итальянским языком, требуется гораздо больше времени и помощь латинских словарей и словарей диалектов, а также носителей языка. Это, безусловно, затрудняет возможный перевод романа.

Итак, пародийность Бенни имеет двойственный характер: с одной стороны, она исторична, поскольку роман претендует на некоторую историческую достоверность (точные даты путешествий, упоминание научных конференций, изданий книг и т.д.). С другой стороны, мы можем достаточно точно проследить источники пародии литературной: это в первую очередь александрийский «Физиолог», фантастические звери Льюиса Кэрролла, сходство с которыми просто невозможно не заметить (например, знаменитая «bread-and-butter fly»), «Книга вымышленных существ» Х.Л. Борхеса, которая, по сути, является переосмыслением средневековых бестиариев, что еще раз, с лингвистической стороны, подтверждает постмодернистский характер творчества Стефано Бенни.

Список литературы

- Дворецкий И.Х.* Латинско-русский словарь. М., 1986.
Муратова К.М. Средневековый бестиарий. М., 1984.
Пастуро М. Символическая история европейского средневековья / Пер. с фр. Е. Решетниковой. СПб., 2012.
Эко У. Имя розы / Пер. с ит. Е. Костюкович. М., 1989.
Benni S. Stranalandia. Milano, 1984.
Dialecti d'Italia. Dizionario dei dialetti: [Электронный ресурс] // URL: <http://www.dialettando.com> (дата обращения: 01.11.2015).

Сведения об авторе: Свиридова Екатерина Евгеньевна, аспирантка кафедры романского языкознания филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: di_elefanti@mail.ru.

Д. В. Шулятьева

«АГАТА, ИЛИ БЕСКОНЕЧНОЕ ЧТЕНИЕ» МАРГЕРИТ ДЮРАС: К ПРОБЛЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОСТИ В КИНО

Статья рассматривает феномен литературности в кинематографе на материале кинотекста Маргерит Дюрас. Кроме традиционных форм литературности в кино (цитат, аллюзий), в фильме реализуется модель «литературного чтения», учитывающая законы внутреннего устройства литературного произведения и особенности его восприятия. Расщепление авторской инстанции, деперсонализация персонажей, исключение их из визуального ряда и использование ненарративных элементов в фильме – техники, создающие эффект литературности в кино Дюрас и тем самым пространство литературы в фильме.

Ключевые слова: литературность, литературное чтение, М. Дюрас.

The article focuses on the notion of literariness in an intermedial context and examines it in the cinematic oeuvres by Marguerite Duras. The literariness in the film is represented not only in traditional forms (citations, allusions, other forms of intertext), but also in literary reading mode, which is exhibited in following the rules of the organization of the literary text, and in the specificity of its reception. The literary reading is built upon multiplication of the authorial function, insertion of non-narrative elements into the text, depersonalization of characters and their expulsion from the screen. All these techniques construct the literariness of Duras's cinema and create a literary space in her films.

Key-words: literariness, literary reading, M. Duras

Маргерит Дюрас – французская писательница, драматург, сценарист и режиссер второй половины XX в. – внесла заметный вклад в развитие сразу нескольких авангардистских практик своего времени. Ее ранняя (начала 1950-х гг.) проза близка «новому роману»; театральные постановки середины 1950-х близки «театру абсурда», который также называют и «новым театром»; сценарий для фильма Алена Рене «Хиросима, любовь моя», над которым Дюрас работает в 1958 г., обнаруживает явную родственность кино «новой волны». Художественный эксперимент, теоретическая рефлексия и политический активизм Дюрас тесно взаимосвязаны. Одновременно с Р. Бартом и М. Фуко она проблематизирует категории авторства и рассказа, настаивая на творческой природе читательского / зрительского восприятия и подвергая глубокому вопрошанию статус

субъекта в целом – как в художественном, так и в социально-политическом пространстве.

В творчестве Маргерит Дюрас наблюдается процесс нарастающей «гибридизации» экспрессивных средств – он связан с адаптацией литературных текстов к театральным постановкам и с ее собственным переходом от романного творчества к кинотворчеству, а также в немалой степени с исследованием принципа «литературности» в кино, как в традиционных, легко опознаваемых ее («литературности») формах, так и в версии экспериментальной, остро нетрадиционной.

Понятие литературного кино не обладает терминологической четкостью, но используется довольно широко, нередко – как синоним так называемого авторского кино (иначе оно описывается как «другое», «экспериментальное», «независимое», «арт»-кино и т. д.). Понятие это культивируется начиная с 1950-х гг., когда оно было впервые использовано в кинокритическом журнале *Cahiers du cinéma*, в рамках оппозиции кино массовому, голливудскому, где фигура автора была «забыта». Фигура автора, акцентированная, выносимая в заглавие киноманифеста и киноконцепции, возникает, несомненно, под влиянием литературной традиции. Впрочем, автороцентристская посылка как одна из опор этой традиции активно проблематизируется и писателями, и литературоведами в 1960–1970-е гг. В кино того же времени проблематизация авторства принимает даже более радикальные формы (в силу специфики медиума), чем в литературе. Парадоксальным образом авторское кино оказывается полигоном для поисков альтернатив автороцентричной модели творчества.

Категория автора традиционно понимается как одна из граней литературности¹. Литературность как понятие было введено в оборот в 1920-е гг. Романом Якобсоном и определялось как «то, что делает данное произведение литературным произведением»², нередко оно ассоциировалось (в формалистической трактовке) с понятием «остранения». Позже Якобсон использовал в тех же контекстах понятие «поэтической функции», одной из шести, присутствующих в акте коммуникации: хотя в литературном тексте сохраняются все шесть функций, поэтическая преобладает, что и делает его отличным от нелитературных. Чисто формальное

¹ См., например: «Literature in our conventional sense has also depended on a new sense of the author and of authorship» – «Литература в общепринятом смысле находится в зависимости от автора и авторства» (*Miller J. H. On Literature. London; New York, 2002. P. 7*).

² Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия // Якобсон Р. О. Работы по поэтике: Переводы. М., 1987. С. 275.

определение «литературности» обусловило проблемы в использовании этой категории: очевидно, что «некоторые литературные тексты не отклоняются от обыденного языка»³, с другой стороны, «черты „литературности“ обнаруживаются также и за пределами литературы (начиная от каламбуров и детских считалок и кончая философскими медитациями, не говоря уже о журналистских репортажах или описаниях путешествий)»⁴. С поворотом в сторону читателя в литературной теории исследователи все активнее задаются «не только вопросом о том, что слова делают с людьми, но и о том, что люди делают со словами»⁵. В новых представлениях о литературности важна не только специфика формы литературного произведения, но и читательские ожидания, принятые представления о том, что является литературой⁶. В целом вопрос о литературности ставится в зависимость от определения самой сущности и природы литературы и потому остается открытым и даже проблематизируется с большей остротой, чем прежде. В современном контексте все актуальнее оказывается «прагматическое» определение литературы как специфического использования слов, обнаруживающих свою действенность через посредство читательского восприятия («a use of words that makes things happen by way of its readers»⁷). Литературность, иначе говоря, – характеристика не столько внутренней структуры литературного произведения, сколько отношений между авторской и читательской инстанциями: «Качество „литературности“ реализуется исключительно в человеческом сознании, истинный локус „литературности“ – не произведение, но его автор и его читатель»⁸.

В настоящей работе нас интересует литературность с точки зрения ее воплощения в кинематографе – инаковом по отношению к литературе медийном пространстве. В самом общем смысле литература ассоциируется с использованием письменно-печатного слова, а кинематограф – с использованием визуальной образности. Литературность кино может предполагать преобладание или даже доминирование словесного в кинотексте или же «читаемость» последнего – его соответствие законам внутреннего построения литературного текста и практикам его восприятия.

В экспериментальном, относительно позднем фильме М. Дюрас «Ага-

³ *Компаньон А.* Демон теории: Литература и здравый смысл. М., 2001. С. 50.

⁴ Тодоров Цв. Понятие литературы // Семиотика. М., 1983. С. 367–368.

⁵ *Иелтон Т.* Теория литературы: Введение. М., 2010. С. 26.

⁶ *Culler J. D.* Literary Theory. New York, 2009. P. 45.

⁷ *Miller J. H.* On Literature. London; New York, 2002. P. 20.

⁸ *Tung C. H. A.* Literary Theory: Some Traces in the Wake. Taipei, 2007. P. 80.

та, или Бесконечное чтение» (1981) литературность реализуется через создание модели литературного чтения в пространстве фильма. Зритель при этом становится слушателем и читателем одновременно, о происходящих событиях он узнает со слуха, со слов, произносимых «от автора», одновременно наблюдая на экране статичные пейзажи, интерьеры, городские ландшафты, лишенные присутствия каких-либо персонажей. Нас интересуют техники, участвующие в моделировании «литературного чтения» в фильме, а также особый характер поведения зрителя, который, взаимодействуя с кино Дюрас, не расстается с условностями литературного чтения, а как бы заново их понимает-осваивает.

Автор киноповествования, как уже сказано, отказывается от визуального представления действий или диалогов персонажей, развертывания повествовательных событий на экране. Событийность, сюжетность представлены исключительно на уровне слова, звучащего и зримого, – при этом сюжет фильма можно уложить в одно предложение: в детстве героев, брата и сестры, происходит их встреча на летней вилле, вспышка любовного влечения, инцест и вынужденное расставание, однако спустя время герои мысленно возвращаются к этим событиям, переживают их в воображении вновь. Этот сюжет не столько просматривается зрителем, сколько прослушивается – постепенно, так как представлен исключительно на звуковом, словесном уровне. Визуальный ряд состоит из длинных кадров, рисующих пейзажи, пустынные интерьеры, обезлюдевшие переулки и следы на песке, тяготея, таким образом, скорее к лирическим, чем к эпическим жанрам, создавая образ-переживание, некое соответствие ландшафту воображения героев.

Чтение, заданное как категория в названии фильма, ассоциируется с авторским действием (автор – агент звучащей с экрана речи). Зритель слушает произносимый текст, одновременно воспринимает визуальный ряд, событийно не связанный с сюжетностью устного повествования, а временами еще читает текст пьесы (в двух эпизодах фильма на экране появляется текст). Фильм, таким образом, воспроизводит процесс чтения как двусторонний: зритель выступает в качестве читателя, а автор – в качестве чтеца. Основные сюжетные темы – инцеста, запретной любви, отъезда, невозможности возвращения и постоянного воображаемого возвращения на виллу «Агата» – присутствуют в этих актах двойного чтения, но не представлены визуально.

Зрителю предъявляются статичные, фотографические кадры – абстрактные события движения и изображения, развертывания картинки

во времени. Подобные элементы кинотекста не раз привлекали к себе внимание исследователей и определялись по-разному – как «кино-аттракцион» (Т. Ганнинг), «la monstration» (А. Годро), «ненарративное кино» (Ж. Омон) или «параметрический нарратив» (Д. Бордуэлл). Как отмечает П. Ферштраден, «изначально кино было простым потоком фотографических кадров. Как волны моря, эта первоначальная стадия развития кинематографа была независима от начала и конца [повествования]»⁹. Согласно Шону Кабиту (Sean Cubitt), кино приобрело нарративность только с момента изобретения монтажа¹⁰ – до этого оно воспринималось во вневременной плоскости, как акт изображения, аттракцион. Главным, захватывающим событием для зрителя являлся сам факт движения картинки на экране, – временное развитие того или иного сюжета не имело значения. «Аттракционность» кинематографа была утрачена с момента изобретения монтажа, и в этом смысле особенностью кино «новой волны» (в частности, кино Дюрас) стало парадоксальное возвращение к состоянию, которое кинематограф как будто давно «перерос».

Возможно, впрочем, что в этом случае следует говорить не об отказе от нарративности, а об особом ее типе¹¹, ориентированном прежде всего на активность реципиента. Новый способ функционирования нарратива выдвигает категорию зрителя-читателя на первый план, делает именно эту инстанцию ведущей в коммуникации. В отличие от зрителей раннего кино, зрителя 1960–1970-х гг. не мог поражать и удивлять сам факт движения картинки на экране, – аттракцион или *monstration* ассоциируются теперь скорее с эффектом нарративного ожидания. Зритель, уже давно привыкший видеть на экране визуальные воплощения героев, участвующих в событиях, ожидает «истории» и в ее отсутствие начинает переживать все более выраженное напряжение, дискомфорт.

Встроенные в визуальное повествование элементы *monstration* могут производить эффект замедления или остановки, паузы между действия-

⁹ Verstraten P. Between Attraction and Story: Rethinking Narrativity in Cinema // Heinen S., Sommer R. (ed.). *Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research*. Berlin; New York, 2009. P. 157.

¹⁰ Heinen S., Sommer R. (ed.). *Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research*. Berlin; New York, 2009. P. 157.

¹¹ Нарративность как свойство, благодаря которому происходит конструирование, воссоздание истории в воображении зрителя, присутствует, как отмечают современные исследователи, и в живописи, и в скульптуре. См. об этом: Heinen S., Sommer R. (ed.). *Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research*. Berlin; New York, 2009. P. 157.

ми, ухода от повествования в сторону переживания или размышления; они могут служить и для поворота действия, переключения внимания зрителя от одной повествовательной линии к другой. Радикализм эксперимента Дюрас в киноленте «Агата, или Бесконечное чтение» связан с тем, что применительно к ней нельзя говорить ни об одном из вышеперечисленных эффектов, – визуальное пространство становится «непрерывающейся» паузой¹² и в этом качестве вступает в конфликт со звуковым планом текста, носителем событийности, сюжетности.

Феномен *monstration* в кинематографе по своей структуре, вероятно, ближе всего к описанию как речевой форме в литературном тексте. Но если в литературном тексте чередование нарративных и описательных планов предполагает определенную их последовательность, то в фильме Дюрас эти планы воспринимаются одновременно, создавая в сознании адресата эффект острого, но по-своему продуктивного диссонанса.

Стоит отметить, что **ожидание** – одна из важнейших категорий в творчестве Дюрас, как романном, так и кинематографическом. Именно ожидание, напряженное, затянутое, почти мучительное, характеризует кризисность и безвыходность положения многих ее персонажей (например, в романах «Летний вечер, половина одиннадцатого», «Сквер» и в сценарии к фильму «Хиросима, любовь моя»). Ожидание может становиться средством нагнетания напряжения, подготовки читателя к ключевому, кульминационному событию, но может и само превращаться в ключевое событие, поглощающее и подчиняющее себе все повествование. Если в романах Дюрас основным субъектом действия, или наблюдения, или ожидания, выступает персонаж (как правило, героиня, которой читатель

¹² Функции «остановки», «паузы», характерные для визуального нарратива, в анарративном тексте выполняют теперь не «описания», а «черные кадры» – кадры-вспышки, в которых на 1–2 секунды перед зрителем появляется черный экран, а также фотографические кадры – пейзажи, обрамленные кадровой рамкой, почти материальные объекты, вписанные в образ-движение и разрушающие его динамику. Такая техника, конечно, служит замедлению скорости движения в кадре, способствует созданию эффекта «тягучего» времени, эффекта длинного кадра, или *temps morts* (характерного для Антониони). Но техника остановки – еще и своеобразная «купюра», отмечающая – весьма резко – обрывочность и фрагментарность воспоминания, несвязность, разрозненность кадров. Невозможность связать отдельные кадры-вспышки в цельное, континуальное, немозаичное пространство производит эффект разрушения структуры фильма, которую мог бы выстроить в своем воображении зритель; кадры-купюры призваны, как кажется, нарушить эффект монтажной склейки, принудительного воссоздания причинно-следственных связей, логического соединения кадров между собой.

сопереживает), то в кино в пространство ожидания помещен зритель. Как уже говорилось, визуальный план фильма представляет собой исключительно описательные кадры – пейзажи, интерьеры, городские виды. Сюжет разворачивается на звуковом уровне, и именно этой нестыковкой зримого и слышимого провоцируется нарративное ожидание. Зритель узнает о появлении персонажей (пусть анонимных), слышит их голоса и вследствие этого ожидает увидеть их на экране, чего не происходит. Эффект «ожидания Годо» сохраняется даже в случаях, когда персонажи все-таки появляются, хотя и «призрачным» образом, в некоторых эпизодах во второй половине фильма. В основном же на экране, по формуле Беккета, «ничего не происходит», голоса персонажей так и не выходят из закадрового пространства, не материализуются в виде образа, зримого в кадре, – зрительское ожидание остается «обманутым».

Это исключение персонажей из визуального ряда – одна из важных, как кажется, техник литературизации фильма, смещающая сюжетный акцент с изображения на звучащие голоса автора-повествователя и героев. Весь фильм, в полном соответствии с названием, – это чтение, медленное чтение несвязных фрагментов, отдельных строк кинематографической поэмы. Кино «голоса» – по сути реализация метафоры чтения вслух, при этом воображение зрителя ангажируется так же, как при чтении книги. Отказ от визуального воплощения героев – своеобразный протест против сверхдетализации (внешности, обстоятельств действия и т. д.), присущей кинематографу как медиуму.

То, что зритель видит на экране, – пейзажи, неподвижный город, пустые улицы и интерьеры, – фиксирует пространство «здесь и сейчас», в котором зритель находится и которое воспринимает как пространство «реального». Соответственно, звуковой план текста, рассказываемая история, вступая в смысловой конфликт с видимым, приобретает модальность «ирреального» – заведомо воображаемого, вымышленного, придуманного. Разделение пространства на «реальное» и «ирреальное» позволяет автору в фильме моделировать процесс литературного чтения: читатель, берущий в руки книгу, находится в конкретных пространственных координатах и одновременно с этим погружается в заведомо вымышленное, воображаемое для него пространство. Именно такой или похожий процесс мы переживаем при просмотре «Агаты»: авторский голос, читающий текст, минимально, насколько это возможно в кинематографе, индивидуализирует его – зритель не видит конкретного визуального воплощения персонажей и не слышит их «собственных» голосов.

В это время перед ним на экране возникает пространство, резко диссонирующее с опытом, воспринимаемым на слух, но субъективно более «реальное».

М. Б. Ямпольский отмечает, что «двойная экспозиция» изображения и звука в кино производит эффект галлюцинации, т. е. ирреальности и раздвоенности. Несовпадение визуальной субъектности с субъектностью звуковой создает впечатление «химерической телесности»¹³. В фильме «Агата» такое несовпадение становится вопиющим, зритель пребывает в непрестанном «ожидании» появления персонажей, их визуализации, отчего эффект «ирреального» только усиливается¹⁴.

Таким образом, перед зрителем представлена модель конфликта визуального и словесного, кинематографа (как искусства преимущественно визуального) и литературы (как искусства преимущественно словесного). При этом ситуация конфликта осложняется неизбежным переходом от слова печатного к слову звучащему, его преобразованием в «голос». Голос освобожден от «привязки» к тому или иному персонажу, он становится маркером авторского присутствия. Главным субъектом звукового нарратива является автор-создатель, автор-нарратор, автор-чтец, перенимающий даже и функции персонажей (участие в диалоге, воспроизводство прямой речи). Присутствие авторского голоса на звуковом уровне – отличительная особенность всего кинематографа Дюрас; авторская печать, поставленная на уровне «голоса», присутствует в любом ее фильме. Важно, что звуковой нарратив у Дюрас не только сигнализирует об авторском присутствии. Расщепление авторской инстанции дает возможность автору выйти из закадрового пространства – в пространство кадра (за счет реализации функции персонажей) и даже в пространство зрительного зала.

Создание «литературного пространства» в фильме Дюрас становится частью полимедийного или гибридного эксперимента, в процессе которого литература как будто вторгается в кинематографическое пространство, осваивая и подчиняя его, но и встречая сопротивление. Литература представлена использованием соответствующих аллюзий (Платон, Му-

¹³ Ямпольский М. Б. Демон и Лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 199, 171.

¹⁴ Мишель Шيون, исследовавший природу голоса в кино и особенно в тех образцах французского кино, для которых характерна десинхронизация визуального и звукового, определяет кино Дюрас как кино «голоса», противопоставляя его «литературному» и, конечно, классическому кино. См.: Chion M. The Voice in Cinema. New York, 1999. P. 130.

зиль) и изображенными на экране страницами текста, книги, но это лишь самое очевидное и не самое интересное проявление литературности анализируемого нами кинотекста.

Исходно будучи сценарием, литературным текстом, «Агата» в качестве кинофильма получила новое название – «Агата, или Бесконечное чтение». Акцентированный в киноверсии парадокс «чтения» погружает зрителя в процесс дрейфа между читательской и зрительской инстанцией, заставляет не только смотреть, но и наблюдать за процессом чтения на экране, участвовать в нем. Дюрас исследует способность кино воспроизвести сам процесс чтения как коммуникацию между текстом и читателем. Подобный эксперимент включает в себя исследование границ литературности и кинематографического медиума, балансирующего между изображением, звуком и словом.

Список литературы

- Иглтон Т.* Теория литературы: Введение. М., 2010.
- Компаньон А.* Демон теории: Литература и здравый смысл. М., 2001.
- Тодоров Цв.* Понятие литературы // Семиотика. М., 1983.
- Якобсон Р. О.* Новейшая русская поэзия // Якобсон Р. О. Работы по поэтике: Переводы. М., 1987.
- Ямпольский М. Б.* Демон и Лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996.
- Chion M.* The Voice in Cinema. New York, 1999.
- Culler J. D.* Literary Theory. New York, 2009.
- Heinen S., Sommer R.* (ed.). Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research. Berlin; New York, 2009.
- Miller J. H.* On Literature. London; New York, 2002.
- Tung C. H. A.* Literary Theory: Some Traces in the Wake. Taipei, 2007.
- Verstraten P.* Between Attraction and Story: Rethinking Narrativity in Cinema // Heinen S., Sommer R. (ed.). Narratology in the age of cross-disciplinary narrative research. Berlin; New York, 2009.

Сведения об авторе: Шулятьева Дина Владимировна, аспирант кафедры общей теории словесности филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: dsh64@yandex.ru

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Кормилов С.И., Аманова Г.А. Стих русских переводов из корейской поэзии (1950–1980-е годы). М.: Новое время, 2014. 208 с.

Настоящее исследование – синтез двух филологических дисциплин: русского стиховедения и востоковедения. В нем затронуты также аспекты поэтики, стилистики, переводоведения, что придает работе практическую ценность. Ее научно-культурная цель – преодолеть европоцентризм в отечественном стиховедении и литературоведении в целом, которое мало интересовалось Востоком. Отсюда одна из ключевых задач, решаемая в *первой главе*, – представить теоретические основы китайского и корейского стиха (многие корейские поэты писали по-китайски) и возникающие в связи с этим проблемы передачи ритма в поэтических переводах с восточных языков на русский. Очевидно, например, что разница в просодии китайского и русского языков делает невозможной передачу музыкальных тонов средствами силлабо-тоники. Нельзя воспроизвести регулярный стих *ши* с паузой-цезурой, пятисловной (1–2-й и 3–5-й иероглифы) или семисловной (1–4-й и 5–7-й иероглифы) строкой, особой китайской рифмой, возникшей не из реального произношения, а из искусственной классификации иероглифов, с разнообразием повторов, среди которых выделяются тавтофоны – повторы-удвоения одного иероглифа. Все это не транслируется на других языках, как не передается западной культуре установка на составление стихотворного текста путем заполнения словесным материалом версификационных схем. Если в Европе «версификаторство никогда не рассматривалось как полноценное художественное творчество, то в Китае оно полностью отвечало культурным императивам, в первую очередь конфуцианским поэтологическим установкам»¹.

Так же непереходимы по-русски и ритм корейской поэзии, который одни считают силлабическим, другие – силлабо-тоническим, третьи – силлабо-квантитативным, а четвертые настаивают на том, «что ритм корейского стиха образуется длительностью определенного количества слогов (2–7), объединенных ритмом фонационных групп, и называют корейскую метрическую систему „квантитативной по числу слогов“»². Формирующим началом ритмико-мелодической организации корейского стиха был закон распределения слов (или слогов), выделенных фразовым ударением. Этого нет в русском стихе, где основополагающую роль играет строка, фактически отождествляемая со стихом. В корейской поэзии в качестве основной метрической единицы выступают и стихотворная строка, и метрический член (*ку*), в большинстве случаев равный полустихию. Отличным от русского является корейское ударение, зависимое и от длительности произнесения слога, и от высоты тона.

Между тем эти препятствия никогда не останавливали переводчиков, к «цеху» которых принадлежала А. А. Ахматова. Авторы книги считают необходимым указать на неточности комментаторов Ахматовой при публикации ее переводов в Собрании сочинений, ошибки при перепечатке некоторых из них, притязания на авторство переводов из китайской и корейской поэзии Л. Н. Гумилева и Н. И. Харджиева.

Гораздо больше не повезло переводам А. Л. Жовтиса в антологии корейской поэзии «Осенние клены» (СПб., 2012). Помимо ошибки в стихотворном размере (в заметке «От

¹ *Кравцова М.* Предисловие // Хрестоматия по литературе Китая. СПб., 2004. С. 28.

² *Концевич Л. П.* Корейская поэтика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Стлб. 398.

составителя» говорится о 4-стопном ямбе как размере, передающем специфику корейских *сиджо*, в то время как в самой книге нет переводов, сделанных 4-стопным ямбом, а подавляющее большинство выполнено 5-стопным ямбом) у сборника имеются более серьезные недостатки, заставляющие подозревать его составителя Л. Р. Концевича в научной недобросовестности и юридической нечистоплотности (с. 35). Эта часть исследования стилистически напоминает рецензию, в которой академический тон сменяется отповедью.

Вторая глава посвящена переводам Ахматовой и других переводчиков из китайской поэзии. Перечень произведений, содержащий основные стиховые параметры (размер, каталектика, рифма, строфика), свидетельствует прежде всего о том, что роль метрической доминанты в переводах Ахматовой играл 5-стопный ямб. Он лидировал в русской поэзии XX в. и в ее оригинальном творчестве. При этом стих корейских поэтов у Ахматовой не похож на ее собственный, а стих китайских поэтов – на стих корейских. 5-стопным безрифменным ямбом она перевела также классическую поэму Цюй Юаня «Лисао» в форме 92 катренов с перекрестным чередованием женских и мужских окончаний и пятистрочным эпилогом. Отказ от рифмы стал знаком архаичности текста, подобно тому, как отсутствие конечных созвучий в античных стихах теперь – показатель их древности. Эта культурная коннотация актуальна прежде всего для русского и западноевропейского читателя, но не для китайца, хорошо знакомого с рифмой по древнекитайской поэзии. Белым стихом Ахматова перевела также шесть стихотворений Ли Бо, но среди ее «китайских» стихов есть и рифмованные.

Другой переводчик, А. И. Гитович, имитировал краткость строк и отрывистость речи, либо используя короткий стих, либо разбивая на подстроичья длинный, но не прибегая к белому стиху. Вот как необычно выглядит и звучит у Гитовича классический трехсложник – 4-стопный анапест с перекрестной рифмой (Ду Фу «Заходящее солнце»):

Занавеску мою
 Озаряет закат,

 Ветерок под ручьем –
 Одинокий и кроткий,

 Он приносит из сада
 Цветов аромат

 И струится
 К стоящей у берега лодке.
 (С. 60)

Опираясь поэт мог на опыт А. А. Фета, который в 1856 г. написал стилизацию «Тень», поместив ее под рубрикой «С китайского». На короткие двустушии Гитович разбивает катрены 5-стопного ямба *АбАб*, перевода «Лисао» Цюй Юаня:

Потомок
 Императора Чжуаня

 И сын Бо-юна –
 Мудрого отца,

 Я в День седьмой родился –
 Я заране

 Своих родителей
 Пленил сердца.
 (С. 61)

Экзотичность звучания отчасти достигается также использованием приблизительной рифмы *Чжуаня – заране*.

Разумеется, невозможно передать по-русски всю сложность рифмовки китайских стихов, например, династии Тан (VII–X вв.). Согласно китайской поэтике, «рифмы должны быть из группы ровных тонов, по четыре разновидности в группах пяти- и семисловных стихов, со своими правилами рифмовки в каждой разновидности, способствующими созданию благозвучного сочетания высоких и низких тонов при декламации»³. Ахматовские переводы, сохраняющие классическую манеру (в них крайне мало дольника и неточных рифм), «только „намекают“ на специфику непередаваемого по-русски китайского стиха» (с. 69). Однако этого достаточно, чтобы у читателя возникло некоторое представление о своеобразии китайской версификации.

В *третьей главе* авторы обращаются к стиху переводов Ахматовой и Жовтиса из корейской классической поэзии. Известно, что Ахматова с увлечением работала над переводами с корейского, а когда вышла книга «Корейская классическая поэзия / Перевод Анны Ахматовой; Общ. ред., предисл. и примеч. А. А. Холодовича» (М., 1956), охотно дарила ее друзьям и знакомым. Здесь стих Ахматовой в соответствии с оригиналами – всегда безрифменный. Эта фонетическая «потеря» иногда компенсируется позиционно не закрепленными звуковыми повторами – ассонансом и аллитерацией.

В отношении размеров ситуация сложнее. Задачу перевода затрудняет не только растянутость русских слов по сравнению с корейскими, но и невозможность передать по-русски долготу и высоту тона. Что касается стопности, то в теории корейского стиха понятие «стопа» существует, но обозначает необязательно равное число слогов. Вместе с тем вряд ли имеются «стопы» длиннее трех слогов. В этом случае дольник с его дву- и трехсложной «стопностью» может выступать отдаленным аналогом метра корейских *сиджо* – изначально песенных трехстиший с цезурой, обычно длиной в 43–45 слогов, по-русски передаваемых шестистишиями (Юн Сон До «Новые песни гор»):

В лунную ночь одиноко
Любуюсь дальней горой.

Гора совершенной милой,
С которой я разлучен:

Гора бессловесна, но с нею
Никто не рассорит меня.

(С. 81)

Отдаленным аналогом – потому что объединенная иктом группа слогов в дольнике (как и стопа в силлаботонике) не является смысловой единицей. В отличие от русской стопы корейская стопа представляет собой смысловую единицу с определенной интонацией и определенным положением ударения.

Но больше всего Ахматова и особенно Жовтис используют при переводах *сиджо* 5-стопный ямб. Они прибегают к нему, в частности, «при передаче стихотворений и циклов лирико-философского плана („Девять излучин Косана“ Ли И). Как известно, это традиция русской классической поэзии»⁴. Думается, основная причина обращения Ахмато-

³ Лян Сэнь. Рассуждения о поэтическом цикле Ли Бо «Дух старины» // Ли Бо. Дух старины: Поэтический цикл: Перевод и исследования / Сост., пер. с кит., коммент., примеч. С. А. Торопцева. М., 2004. С. 173.

⁴ Хван Юнчюн В. Два сборника корейской поэзии // Советский Казахстан (Алма-Ата). 1957. № 9. С. 126.

вой и Жовтиса к этому размеру – именно влияние русской традиции. Попытка объяснить 5-стопный ямб в переводах его стиховыми особенностями (в XX в. будто бы упрощение строфики и частота неточных рифм потребовали для компенсации «удлинить метр» и «5-стопный ямб, как и 4-стопный, стал размером поэтически нормальной величины», с. 87) представляется умозрительной и спорной. Столь же недоказуема взаимосвязь между «стопами» корейского стиха и переводческим мышлением Ахматовой: «Вероятно, имея представление о том, что в корейском стихе „стопы“ бывают неодинаковыми, она именно строфическую устойчивость сиджо компенсировала разнообразием размеров, то есть „раскидала“ неодинаковые стопы по разным стихотворениям, каждое из которых выдержано в одном классическом размере» (с. 87). Это предположение могла бы подтвердить или опровергнуть только сама Ахматова.

Стих переводов 1970-х гг. из корейской поэзии – предмет рассмотрения в *четвертой главе*. Новое поколение переводчиков стремится разнообразить стих, привлекая модернистские формы, ощущаемые как инокультурные и экзотические. Е. В. Витковский, например, экспериментировал с дольниками (расшатывал их), длинными размерами (6-стопный хорей и 7-иктный дольник), стихотворной графикой, схемами рифмовки (Ли Губо «Приближается новый урожай»):

Зернышко риса, зернышко риса – скуден иль тучен год?
Умер ли кто, родился ли кто – бедность бери в расчет.
Как Будду положено почитать, я почитаю крестьян.
Будде – и то неприятно весьма, когда на земле недород.

(С. 117)

Если рифмовка *ааба* типична для строфы *чюэчзюэ*, то схема *вгде*, которой соответствует вторая часть стихотворения, – результат свободы переводчика в строгих рамках чужой культуры. Другая особенность клаузульных решений Витковского – исключительность мужских окончаний и преобладание парной рифмовки.

Более разнообразны в ритмическом отношении переводы японистки В. Н. Марковой, которая предпочитает силлабо-тоническим размерам дольник (часто неравноударный) и тактовик с неупорядоченными чередованиями мужских и женских окончаний без рифмы (японский стих, как и национальный корейский, преимущественно безрифменный). При такой ритмической пестроте показателем классической корейской формы *сиджо* становится строфа – в переводах Марковой это шестистишие с удлиненной пятой строкой.

Шире других в корейской подборке из тома «Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии» (М., 1977), изданного в серии «Библиотека всемирной литературы», представлены переводы В. Г. Тихомирова. Большинство из них зарифмовано по основной схеме *чюэчзюэ* – *ааба*, хотя встречаются и другие варианты (*абаа*, *абаб*, *аабб*). Излюбленные размеры переводчика – многоударные дольник и тактовик. Так, семиударный (четырёх- и трехударный) и пятиударный дольник изоморфны классическим китайским стихам – семисловнику и пятисловнику. Полустишия у Тихомирова, как в примере из Витковского («Зернышко риса...»), нередко разделены горизонтальными пробелами.

Обобщая характеристику переводов, составивших корейский раздел в книге «Классическая поэзия...», С. И. Кормилов и Г. А. Аманова возлагают вину за их разностильность на составителя (Л. Р. Концевич), который не учел «ни талант и опыт, ни специализацию и уровень квалификации переводчиков» (с. 139). Упрек не вполне обоснованный: когда в работе принимают участие 15 переводчиков, добиться единого стиля невозможно. Да и стоит ли?

Полемической направленностью отличается пятая глава, рассматривающая стих переводов Г. Б. Ярославцева из корейской поэзии. Предмет полемики явлен уже в названии раз-

дела – «Корейский стих в переложениях китаиста (Г.Б. Ярославцев)». Авторы исследования, таким образом, считают стихотворные опыты Ярославцева не переводами, а переложениями. Между тем сопоставление в работе оригинальных текстов, подстрочников Л.В. Галкиной и переводов Г.Б. Ярославцева позволяет заключить, что последние – все же переводы, а не обезличенные или, наоборот, чересчур отмеченные индивидуальностью автора переложения. Ничего подобного в переводах Ярославцева нет, поэтому замечание о том, что переводчика заботит разнообразие, а «логика для него необязательна» (с. 165), субъективно и не вполне справедливо.

Не очень понятен смысл «инвентаризации» используемых размеров, сопровождаемый следующими комментариями: «До таких конфигураций никакие корейцы не додумывались. Это чистая эквилибристика в версификации» (с. 166); «...эта неуклюжая конструкция непохожа на оригинал...» (с. 169); «Аллитерации для корейского стиха характерны, но у Ярославцева они слишком нарочитые» (с. 170); «...в принципе это произвол переводчика, которому вздумалось...обособить в отдельную строчку...» (с. 171); «В результате самоценных экспериментов он как переводчик... разбил себе лоб от чрезмерного усердия» (с. 175). Подобные высказывания нарушают цельность научного дискурса: они носят вкусовой характер и сделаны с менторских позиций. Суждение о том, что переводчик не только не нашел «адекватных аналогов оригиналам», но и «не старался искать» (с. 155), излишне эмоционально и категорично.

Впрочем, эти дискурсивные моменты могут быть откорректированы при переиздании книги, тираж которой – 150 экземпляров. Коллективная монография адресована не только стиховедам и востоковедам. Она будет полезна переводчикам. Авторы позаботились о разных группах читателей, опубликовав в приложении китайские и корейские стихи в оригинальной иероглифической графике (при этом китайские тексты сопровождаются романизированной записью – пиньинь). Остается надеяться, что изучение переводов восточной поэзии продолжится, а контакты между стиховедами и переводчиками станут прочнее.

А.Г. Степанов

Сведения об авторе: Степанов Александр Геннадьевич, кандидат филол. наук, доцент кафедры теории литературы филологического факультета Тверского государственного университета (ТвГУ), преподаватель русского языка и литературы Института иностранных языков и литератур Ланьчжоуского университета (Китай). E-mail: poetics@yandex.ru

Новгородский Державинский сборник (К 200-летию со дня смерти поэта). Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 278 с.

«Лучше о Державине, вероятно, никто не напишет»¹ – так М. А. Алданов характеризовал книгу В. Ф. Ходасевича, вышедшую в 1931 г. в Париже. Было с чем сравнивать: и Ходасевич, и Алданов прекрасно знали о книге Я. К. Грота², но уже не смогли бы познакомиться с трудами советских авторов³. При том, что Г. Р. Державину «повезло» с монографиями, научными сборниками, романизированными биографиями и многочисленными конференциями, его наследие словно обречено на длительное и обстоятельное изучение. И кто знает, может быть, в XXI в. появится книга, которая затмит все написанное о Державине в веке минувшем.

Сборник, изданный в Новгородском государственном университете, посвящен явлению Г. Р. Державина как поэта и государственного деятеля – явлению, ко всему прочему ставшему источником творчества не только для писателей, но и для музыкантов, скульпторов, художников. Изданию этого сборника предшествовала международная научная конференция «Новгородика», раз в два года проводимая в Великом Новгороде. Идея такой конференции – в объединении усилий отечественных и зарубежных ученых в комплексном изучении Новгорода как историко-культурного феномена отечественной и мировой истории. Современное восприятие Державина – прекрасный способ взаимодействия историков литературы, текстологов, стиховедов, переводчиков, вспоминающих о 200-летию со дня смерти поэта своими научными трудами.

Год 2015-й оказался особенным: он проходил под знаком Года литературы, но главное – в это время праздновался 1000-летний юбилей «Русской Правды» – памятника законодательства мирового значения. Потому оказалось совершенно естественным, что в Пятой международной научной конференции «Новгородика-2015: От „Правды Русской“ к российскому конституционализму», проходившей 24–25 сентября 2015 г., была определена секция «Г. Р. Державин в жизни и творчестве». Державин – уникальная личность, объединившая в своем гении литературный талант и выдающиеся способности государственного деятеля, это первый российский министр юстиции и большой поэт, велением свыше нашедший упокоение на Новгородской земле в 1816 г. Кажется, лучших доводов для проведения юбилейного научного мероприятия в Великом Новгороде можно было и не искать. Именно такой, многоаспектный, характер приобрела секция, организованная под руководством профессора Новгородского государственного университета, доктора филологических наук В. А. Кошелева, таким же разнообразным выглядит и сборник, подготовленный по итогам конференции.

В аннотации книги отмечено, что в ее статьях «освещаются данные биографии Г. Р. Державина, связанные с новгородским именем Званка, механизмы поэтизации образа Зван-

¹ Алданов М. А. [Рец. на кн.: Ходасевич В. Ф. Державин. Париж: Современные записки, 1931] // Современные записки. 1931. Кн. 46. С. 496.

² Грот Я. К. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам. Т. 1. М.; СПб., 1880.

³ Западов А. В. Державин. (Серия «Жизнь замечательных людей».) М., 1958; Михайлов О. Н. Державин. (Романизованная биография. Серия «Жизнь замечательных людей».) М., 1977.

ки и трансформации его в топос, общие и частные вопросы творчества поэта, его связей с современниками, мифологемы «передачи лирь» последующим поэтам, державинской традиции в поэзии XIX–XX вв.» (с. 2). Все это действительно соответствует содержанию сборника, спорным является разве что привлечение «державинской традиции», которая в статьях участников этого научного издания недостаточно четко определена, но, впрочем, вспомнивая слова уже процитированного Алданова: «Теоретически не трудно представить себе творчество без всякой традиции. На практике же всякое творчество можно связать с какой-либо традицией, ибо в искусстве в каждый данный момент существует множество самых разнообразных течений, от бурных потоков до едва журчащих ручейков, и каждое из них может стать впоследствии, и в большинстве случаев становится, „традицией“»⁴, – хочется верить редакторам книги.

Это издание своим разноаспектным характером дополняет и существующие беллетризованные жизнеописания Державина, и научные штудии, поэтому даже такие оценки восприятия державинского наследия, которые были сделаны В. Ф. Ходасевичем, «давшим превосходный образец трудного искусства биографии»⁵, продолжают уточняться, углубляться, приводят к новым знаниям – после внимательного прочтения всех статей сборника хочется взяться за то, чтобы дописать державинскую биографию.

Сборник открывается вступительной статьей «От редакции», формулирующей идею и композицию книги и определяющей несомненно «новгородскую» специфику издания: «Последние двадцать лет своей жизни Державин подолгу жил на Новгородской земле, посвятил ей целый ряд интереснейших литературных произведений <...>. Он и умер здесь: в любимой усадьбе. Наконец, в соответствии с завещанием, похоронен под Новгородом, в монастыре Варлаама Хутынского <...>» (с. 5).

Основную часть сборника составляют статьи и материалы докладов 23 исследователей из России и США. Все статьи завершаются аннотациями на русском и английском языках.

Первая статья организатора державинской секции *В. А. Кошелева* (Великий Новгород) «„Мурза-пиит“ российской словесности» с текстологической точностью объясняет не только происхождение, но и литературное бытование маски, игры Державина в образованного и ученого татарина. Автор подробно излагает все нюансы мифологизации фигуры Мурзы: от истоков исторической «игры» в оде «К Фелице» до «игрового» продолжения в стихах О. П. Козодавлева. По словам В. А. Кошелева, «замечательной находкой автора „Фелицы“ стало то, что «отрицательный» образ Мурзы, собирательный образ, включающий в себя порочные черты екатерининских вельмож, обозначен первым лицом повествователя – „я“. <...> Державин, вообще склонный к автоиронии, вводит в этот осмеиваемый круг и самого себя <...>»; Державин «соединяет образ „Мурзы“ с образом „пиита“ – и представляет его находящимся в „разврате“ <...>, но уже принявшим позу покаяния»; а еще в этом произведении «появляется живая личность человека» («со сложным и неоднозначным отношением к действительности») (с. 9). Державинский Мурза – радетель московской «вольности», это «намеренная „татарщина“ старого московского бытия, которая противопоставляется „богоподобной царевне“» (с. 10). В. А. Кошелев отмечает и усилия, которые предпринимал Державин, чтобы развить свой миф в стихотворении «Видение Мурзы»; под маской неуклюжего татарина было легче отказываться «от иерархической системы классических „штилей“» (с. 12), разрушать представление об оде как главном лирическом жанре. В теоре-

⁴ Алданов М. А. [Рец. на кн.: Горнфельд А. Г. Пути творчества. Статьи о художественном слове. Петербург, издательство «Колос», 1922] // Современные записки. 1923. Кн. 14. С. 428–429.

⁵ Алданов М. А. [Рец. на кн.: Ходасевич В. Ф. Державин. Париж: Современные записки, 1931]. С. 497.

тическом труде «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде» Державин продолжил утверждение раскованной стихии таланта и «дикой» силы пламенного воображения», полагая, что для подлинного поэта нет «ни законов творчества, ни поэтической „граммоты“» (с. 13). Даже Пушкин подобную языковую вольность мог обрести благодаря «татарским» выражениям Державина, который «в обличи Мурзы конструировал собственный поэтический мир» (с. 14).

Самой объемной в сборнике является вторая публикация, подготовленная *С. И. Кормиловым* (Москва). В статье «Образ жизни русского дворянина XVIII – начала XIX столетия в стихах и прозе Державина», кажется, написано о том многом, что годами составляло предмет научной полемики; автором цитируется множество работ от Г.А. Гуковского до Д.П. Святополк-Мирского, от Г.П. Макогоненко до В.Ф.Ходасевича, рассуждавших о «поэтическом методе», «бытописательстве», идеале и биографии поэта. С.И.Кормилов в присущей ему манере среди массива, казалось бы, уже «классических» публикаций обнаруживает те фрагменты, которые позволяют ему сказать новое слово в науке. Так, он объясняет «эстетическую» искренность (с. 19) в поэзии Державина и, продолжая линию Святополк-Мирского насчет гениальности «варварского» классицизма создателя «Жизни Званской», объясняет причины появления подлинных реалий в державинских стихах – исторической, национальной, инациональной специфики. Образ жизни русского дворянина представлен С.И.Кормиловым обстоятельно – в виде исторических комментариев к произведениям Державина, источники – труды от Н.И. Костомарова до Ричарда Пайпса. В своих же комментариях к стихам, в которых главным становится образ наиболее известного дворянина – образ самого автора, Кормилов постоянно ориентируется на фразы Гуковского и двух вышеупомянутых эмигрантов. «Самокритика» Державина в отношении своих увлечений – картами, «Наядами», наслаждение – музицированием, садоводством, «любованием безыскусными картинами сельской природы» (с.35) и другими невинными развлечениями – все это подробно изложено в статье профессора МГУ. Кормилов с легкостью и аргументированно пишет о ценности «сельских утех» для Державина, о преодолении «веры в нелепые чудеса», о важности сохранения дворянского ритуала пальбы из пушек (с. 37). Гениальный поэт мог изобразить обед как праздничное событие, и мог, в совершенстве владея «культом общения за столом» (с.39), примирить главных литературных соперников – А.С. Шишкова и Н.М. Карамзина. Державин, не являясь реалистом, «дает в стихах и прозе чрезвычайно разнообразное» (с. 39) представление о жизни своего сословия – русского дворянства.

В статье «„Богов певец Не будет никогда подлец“: О законе Божьем и человеческом в поэзии Г.Р.Державина» *Д.Б.Терешкина* (Великий Новгород) дает ответ на вопрос, каким образом в Державине совмещался государственный деятель и поэт, а также обосновывает державинское употребление слова «закон» «в христианском смысле» (с.43) – на примере различных духовных од. По мнению автора, даже в стихотворении «Храповицкому» имеющая место литературная игра «отражает мысль о невозможности нравственного нарушения прежде всего из эстетических соображений» (с. 46). А пафос всей духовной и гражданской лирики Державина пронизан «желанием человека быть причастным» красоте Божьего мира и «не нарушать Божественной гармонии подлостью – хотя бы тогда, когда человек в творчестве Творцу сопричастен» (с.46).

Д.В.Ларкович (Сургут) пишет о Званке как топосе в творчестве Державина. Образ Званки в поздней лирике поэта – это символ избранного места, где «рождается искусство» (с. 49), в нем проявляются черты идиллического хронотопа, но канон классического жанра преодолевается благодаря внутреннему развитию образа. Автор отмечает, что «художественное пространство Званки обладает масштабной и многомерной структурой», что «мно-

гообразны и формы субъектного восприятия окружающего пространства» (с. 50) и что «особым способом ощущения благодати земного бытия является метафизический контакт лирического субъекта с Творцом» (с. 51). Интересны наблюдения не только над художественным пространством и субъектно-объектными отношениями в державинских стихах, но и над временем: «<...> характерной для элегии идеализации прошлого не происходит, ибо и оно не лишено противоречий, обусловленных эгоистическими страстями человечества и выражающихся в бесперывных военных столкновениях» (с. 53). Званка становится не просто изображаемым объектом, а символом свободы творческого самовыражения, символом творчества вообще.

В статье *М. Е. Перзеке* (Псков) «„Званская идиллия“ Г. Р. Державина в контексте мифопоэтической семантики» продолжено исследование хронотопа стихотворения «Евгению. Жизнь Званская», определяются не только его идиллическая разновидность, но и волшебнo-сказочные черты. Автор подробно указывает приметы топоса «иногo царства», которое «сообразно мифопоэтической традиции» является в стихотворении «царством всеобщего благоденствия и изобилия» (с. 60).

В. С. Фомичева (Санкт-Петербург) в своей работе дала характеристику державинским строкам, которые оказались не опубликованы, но сохранились в РГАЛИ, – «одному из ранних опытов» (с. 66), получившему воплощение в стихотворении «Кружка».

Статья *А. Б. Перзеке* (Псков) посвящена изучению традиций Державина в пушкинской поэзии; в частности, обращается внимание на вступление к поэме «Медный всадник», в котором Пушкин «вслед за своим поэтическим предшественником смело шел на нарушение жанрового канона оды» (с. 74), отмечается, что «Пушкин в своем творении о топте в полной мере реализовал идею свободы, независимости от власти, значительности и духовной высоты Поэта, его особого права говорить правду, приверженцем которой в отведенных ему пределах был Державин» (с. 75).

А. О. Шелемова (Москва) в работе «Ода Державина „На взятие Измаила“: На пересечении традиций художественной баталистики» сопоставляет художественные средства державинского стихотворения с эпитетами, метафорами, сравнениями «Слова о полку Игореве», обнаруживая, что «тропы-колоративы в державинской оде идентичны широко распространенным в древнерусских текстах иносказательным описаниям картин кровавой сечи» (с. 78). Исследователь отмечает, что в пушкинских стихах краски для батальных сцен, для передачи грозовой стихии сражения взяты из знаменитого «Слова»: «Древнерусскую традицию использования образов метеорологического комплекса в качестве художественной атрибуции кровавой битвы воплотил в своей знаменитой поэме „Полтава“ А. С. Пушкин» (с. 79). Шелемова приходит к выводу, что и Державин использовал древнерусскую поэтику художественной баталистики, правда, вступая в полемику с «бардом древним» – автором «Слова о полку Игореве».

Статья *В. Л. Коровина* (Москва) посвящена образу «младых певцов», которым Державин «передает лиру» («вверяю ветхи струны») в стихотворении «Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества». Речь идет о В. А. Жуковском, авторе «Певца во стане русских воинов», которому Державин по сути ответил своим «Гимном», о молодых сторонниках «нового слога», которых создатель «Фелицы» величественно поучал: «Передавая лиру, старик Державин не только заявлял о своей благожелательности к „младым певцам“, но и о своем превосходстве, побуждал их к совершенствованию, ставя в пример самого себя» (с. 88), – и, конечно, о главном герое стихотворения, «юном» Императоре Александре I, совершающем Заграничный поход русской армии против не свергнутого пока Наполеона.

Петербургский исследователь *А. А. Асоян* в статье «Последнее стихотворение Державина в контексте интеллектуальной истории и исторической культуры „эпохи катастроф“»

предлагает рассматривать державинский текст в соотношении с более широким историческим диапазоном, в частности со временем, описанным французской историографией: XVI–XVIII столетиями, с работами историка Ж. Бодена, Ж.-Ж. Руссо, Ц. Дюмарсе, Ж. Бюффона. Автор полагает, что как выражение «река времен» было сформулировано интеллектуалами Европы, так и палеонтология философии, заключенная в языке, словно предвосхитила «рождение последнего стихотворения Державина» (с. 101), поскольку «порой одно слово или выражение концентрирует в себе итоги мысленной работы, равноценные целому столетию» (с. 99).

Уникальна в составе сборника стиховедческая работа *О. И. Федотова* (Москва), который дает подробную характеристику «аномальному гекзаметру на амфибрахической основе в стихотворении А. Дельвига „На смерть Державина“» – тексте, синтезировавшем в себе «плач по почившему поэту, величавую – в античном духе – оду, пропетую ему, описание апофеоза Державина на Парнасе и, что особенно показательно, дружеское послание-панегирик, обращенный к его прямому преемнику – Пушкину» (с. 104). Федотов указывает на продуктивность пути Дельвига, ведь «неправильными» «гекзаметрами Жуковский откликнулся на гибель Пушкина, а Набоков – на гибель Гумилева» (с. 114).

С. А. Фомичев (Санкт-Петербург) уделяет внимание теме творческих связей Державина и Крылова, полагая, что специфику взаимоотношений двух поэтов определяло их соперничество: «Среди державинских басен имеется „Ягненок и Волк“ – на эзоповский сюжет, повторенный Крыловым. Стихотворение Державина „Колесница“ прямо откликнулось в басне Крылова „Конь и всадник“». Но среди крыловских апологов следует особо выделить стихотворение „Водопад и Ручей“» (с. 117). Обращение к «самым малым творениям природы» (соловьи, пчелки, кузнечики, бабочки) – тоже признак развития творческой мысли поэтов в одном направлении; автором «проанализировано державинское начало (нередко полемически преобразованное) в баснях Крылова „Водопад и Ручей“, „Осел и Соловей“, „Стрекоза и Муравей“, „Кошка и Соловей“, „Чиж и Еж“, „Ворона и Лисица“» (с. 123).

В статье *А. А. Охременко* (Симферополь) предмет изучения – близкие творческие интересы, дружеские взаимоотношения И. М. Муравьева-Апостола и Г. Р. Державина, определение их «одинаковых литературных ориентиров» и «служения отечеству посредством литературного творчества» (с. 128).

Л. А. Орехова (Симферополь) исследует архивные материалы РНБ, издания XVIII в., воссоздавая факты биографии М. Д. Княжевича, соседа Державина по имению в Казанской губернии, комментирует письма начала 1790-х гг., отправленные Княжевичем Державину.

Работа *С. В. Денисенко* (Санкт-Петербург) «Тексты Державина в опере П. И. Чайковского „Пиковая дама“» представляет собой исследование того, как и почему державинские стихотворения стали цитатами в опере, действие которой отнесено в «эпоху Екатерины». Исследователь дает характеристику стихотворениям, создающим колорит XVIII в. в опере Чайковского: «предполагаемому державинскому тексту» (с. 143), «первому державинскому тексту» (из «Любителю художеств»), «второму державинскому тексту» (из «Гром победы, раздавайся!»), «третьему державинскому тексту» («Шуточное желание»). Анализируя и другие тексты, отображенные в опере и популярные в XVIII в., Денисенко приходит к выводу о том, что «в культурном сознании слушателя оперы, начиная с 1890 года и по наши дни, фиксируется только одно имя, соотносящееся с XVIII веком – имя Державина», а Чайковский «репрезентирует статус Державина, как самого яркого и востребованного поэта XVIII века» (с. 146).

Тверской ученый *А. Ю. Сорочан* посвятил статью произведениям Д. Л. Мордовцева, который в своих текстах обращался к биографии Державина, его творчеству и рассматривал державинские сочинения как способ осмысления XVIII столетия. Сорочан приходит к за-

ключению о том, что «все три группы „державинских“ текстов <...> подтверждают вывод об использовании классических произведений для создания беллетристических жанровых формул; биография писателя реконструируется на основании им написанного и превращается в условную „историческую быль“» (с. 150).

Жизнь державинских метафор «металла звон», «река времен» в литературе XIX и XX вв. рассмотрена в статье *И. В. Мотеюнайте* (Псков). Ею обращено внимание на использование образности и мотивов оды «На смерть князя Мещерского» в стихах Е. П. Ростопчиной, И. С. Аксакова, Я. П. Полонского, В. Я. Брюсова, романе С. Н. Дурылина «Колокола», определена степень продуктивности державинской образности: «<...> поэты часто слышат в звоне колоколов напоминание о бренности человеческого бытия и выражают сопутствующему этому тоску и скорбь» (с. 157).

С. Н. Пяткин (Арзамас) анализирует литературно-критический очерк «Державин», опубликованный в книге Б. А. Садовского «Русская Камена». Исследователь отмечает, что высказывания Садовского в отношении Державина «идут в повествовании, перемежаясь с цитируемыми автором пушкинскими суждениями о „певце Фелицы“, по большей части резкими и уничижительными» (с. 167). Среди причин «нелюбви» Пушкина к «певцу Фелицы» Пяткин называет принадлежность поэтов к оппозиционным друг другу литературным обществам – «Беседе» и «Арзамасу», отсутствие сведений о подлинной личности Державина; вместе с тем в очерке самого Садовского открывается новая, совершенно «не исследованная сторона» «державинского кумира» – его юмор; актуализируется и по-новому осмысливается одна из черт его поэтики – «державинский ямб, в звуках которого одинаково предчувствуется и полдень Пушкина, и брюсовский закат» (с. 167). Автор пишет: «Садовской <...> дает в очерке характеристику Державину сначала как человеку, а затем как поэту, почти торжественно заявляя о „бытовой цельности“» (с. 168).

В работе *Анжелы Бринтлингер* (США, Коламбус) ведется речь об успешной литературной мистификации В. Ф. Ходасевича, придумавшего личность и творчество Василия Травникова. Вслед за биографией Державина, приобретшей известность в эмиграции начала 1930-х гг., поэт и критик сочинил вымышленное жизнеописание с целью сделать Травникова «мостом, соединяющим Державина и Пушкина, „недостающим звеном“, которое объяснило бы скачок от тяжелой поэзии Державина к лапидарной, лаконичной поэзии и прозе его потомка» (с. 171). Однако биографию Пушкина Ходасевичу было не суждено написать, и потому мистификация осталась единственным «убедительным» доказательством того, как стихи последователя Державина и предтечи Пушкина «органично» «принадлежат традициям начала XIX века» (с. 175). Бринтлингер показывает и другую мотивацию создания вымышленного жизнеописания – идею благодарного воспоминания Ходасевича о своем друге С. Киссине (Муни).

Е. П. Беренштейн (Тверь) обнаруживает различные приметы державинского «слова» в творчестве О. Э. Мандельштама. Автор статьи характеризует «косвенные» связи Мандельштама с поэзией Державина (с. 182), одическое начало в диалоге Мандельштама и Державина, державинское присутствие в статьях Мандельштама 1920-х гг., подробно разбирает державинские «силовые линии» в «Грифельной оде» Мандельштама, прослеживает типологическую взаимосвязь в сталинской «Оде» 1937 г. с одической поэзией Державина.

Статья *А. Н. Романовой* (Кострома) «Державин как „хрестоматийный“ автор» посвящена истории изучения Державина в школе. Исследователь показывает, как в хрестоматиях XIX в. менялось представление творчества поэта, как литературная критика воздействовала на подходы к изучению творчества Державина в гимназиях и училищах Российской Империи. Автор статьи подходит обстоятельно ко всем способам школьного постижения Державина; так обнаружена «узость того понимания художественности, которое пропаган-

дирует «реальная» критика», и вместе с тем то, что «косная школьная реальность, обладающая здоровой устойчивостью, помогает сохраниться национальному литературному канону под натиском инновационных литературоведческих и педагогических идей» (с. 202). Дана подробная характеристика «открытий» Державина, сделанных в Серебряном веке, которые стали применять в школьной методике начала XX столетия; обоснована преемственность советской школы по отношению к традициям дореволюционного образования. И самое главное: А.Н. Романова обеспокоена современным состоянием школьной программы, где не находится достойного места Державину, встревожена судьбой традиции изучения русской классической литературы.

Финальная часть статей завершается двумя краеведческими работами. Во-первых, это статья *А. В. Кошелева* «Державин на памятнике „Тысячелетие России“», начало которой – обстоятельный очерк об истории памятника. Самое ценное в работе – характеристика книг об этом монументе, интерпретировавших наследие Державина. Так, «Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике тысячелетия России, воздвигнутом в г. Новгороде в 1862 г.», составленные учителями Новгородской гимназии Н. Отто и И. Куприяновым, – это своеобразный справочник, в котором материалы о Державине и Николае I оказались представлены только в «Прибавлении» (с. 213) к основной части книги, а статья о поэте оказалась едва ли не самым жестким выступлением о личности и творчестве Державина. Другое издание, «Путеводитель по Новгороду и окрестностям» (1862) И.К. Куприянова, – туристический справочник, в котором автор весьма иронично уделяет внимание заброшенной барке, в 1785 г. перевозившей Екатерину II по Мсте и Волхову. Куприянов обращается к стихотворению Державина «Шествие по Волхову российской Амфитриты» и намеренно путает факты, хронологию, «демонстрируя откровенное пренебрежение к творчеству Державина» (с. 220).

Завершает блок статей сборника работа Н. И. Ермаковой (г. Чудово), посвященная истории усадьбы Званка, двадцатилетней истории Державинских чтений, проводящихся в г. Чудово Новгородской области. Рассказано, в частности, о том, какие мероприятия проведены по благоустройству Званского холма, какие традиции сформировались для проведения конференции.

Заключительная часть содержит два приложения, первое из которых – это публикация 23 поэтических произведений Г. Р. Державина, написанных в Званке, на берегу Волхова.

Стихотворения представлены по хронологии с 1798 по 1813 г. Составитель В. А. Кошелев так пояснил причины публикации текстов: «<...> представлены лишь те из „званских“ стихотворений Державина, которые по разным причинам не вошли в изданные однотомники избранных стихотворений поэта и последний раз были напечатаны полтора столетия назад – в известном академическом собрании сочинений Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота в девяти томах (СПб., 1864–1883)» (с. 227). Часть стихотворений сопровождается комплексными комментариями составителя, развернутые текстологические и реальные комментарии посвящены стихотворениям «Волхов Кубре», «Маневры», «Шествие по Волхову Российской Амфитриты», «Званское эхо. К Евгению», «Новгородский волхв Злогор».

Второе приложение – это комментированная публикация очерка педагога, критика и историка русской литературы *Владимира Яковлевича Стоюнина*. Очерк «Званка (Из путевых впечатлений)» напечатан им в 1850 г. в «Библиотеке для чтения». По мнению составителя, это уникальное произведение, ведь очерк «едва ли не впервые в русской культуре отразил желание потомка, увлеченного творчеством поэта, „отправиться в его страну“. Стоюнин попал в разрушающуюся усадьбу Державина через 34 года после смерти хозяина <...>. Он сопоставил ее с теми блистательными картинами „жизни Званской“, которые раз-

вернул Державин в знаменитом послании архиепископу новгородскому Евгению (Евфимию Алексеичу Болховитинову). Это сопоставление наводило на мысль о бренности человеческого бытия – и о правоте поэта, сетовавшего на то, что „река времен“ уносит не только „дела людей“, но и память о них. Этот очерк замечателен еще и в краеведческом отношении: во время посещения Званки Стоюниным еще не разрушились усадебные строения, еще сохранялся и дом, где жил поэт» (с. 277–278).

В целом можно сказать, что сборник не только показывает современное внимательное отношение к наследию Державина, но и становится по-настоящему новым словом в изучении поэта в XXI в.

В. В. Шадурский

Сведения об авторе: Шадурский Владимир Вячеславович, кандидат филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. E-mail: shadvlad@mail.ru

Савельева Мария. Федор Сологуб. М.: Молодая гвардия, 2014. 246 [10] с.; ил. («Жизнь замечательных людей»)

Биографии писателей из «молодогвардейской» серии «ЖЗЛ» давно стали качественным подспорьем для интересующихся русской литературой. Они расширяют кругозор читателя, позволяя ему соотнести художественный текст и обстоятельства личной жизни автора, окружающей его культурной и социальной среды. Однако в последние полтора-два десятилетия наметилась любопытная тенденция. Биографы сосредоточиваются главным образом на частностях жизни своих героев: любовных интригах, дружеских связях, анекдотических происшествиях, совершенных ошибках и нелепостях, всевозможных слухах, обстановке жилищ, манере одеваться, пищевых привычках – словом, на всевозможных бытовых и личных подробностях в очевидный ущерб собственно творческой составляющей биографии. Знакомясь с книгами О. Лекманова о Мандельштаме, Д. Быкова о Пастернаке, В. Демина об Андрее Белом и некоторыми другими, читатель-непрофессионал (серия все же научно-популярная, к широкому кругу обращенная!) может задаться вопросом: а что такого сделали эти люди, почему-то названные писателями, чтобы удостоиться столь подробного проникновения в свой быт и интимную жизнь? Творческая эволюция, история создания произведений, а подчас и связанное представление о вкладе героев «биографических романов» в культуру своего времени (кстати, и о самом времени не мешало бы), к сожалению, остается «за кадром». Имя писателя имеет тенденцию к превращению в «бренд», как это уже случилось с Пушкиным, Блоком и Ахматовой, и вместо «введения в тему» вниманию непрофессионального (еще раз подчеркнем это) читателя предлагаются скрупулезные описания, из которых нетрудно сделать вывод о скверном характере героя книги.

«Камнем преткновения» для создания объективной картины может стать и слишком личный взгляд, сугубая приверженность к определенной концепции. Классическим примером таких очевидно тенденциозных «портретов» могут послужить имевшие в 1970-е гг. шумный успех интерпретации творческого пути Гоголя И. Золотусским, Достоевского – Ю. Селезневым, Гончарова – Ю. Ложицем, Островского и Аксакова – М. Лобановым. Писатели становятся своего рода литературными персонажами, подчиненными воле автора, создающего документальный по природе текст по законам художественного произведения. Читатель может столкнуться и с несоответствием своего впечатления от произведений, «пробуждающих чувства добрые», и нарисованного как неприглядный морального облика их творца. Заботливо донесенные до сведения публики бытовые привычки, проступки, огрехи, неидеальный характер и (упаси Боже!) «непоэтическое поведение» автора могут навсегда отратить иную впечатлительную натуру от чтения благородных, прекрасных книг. Такому риску может подвергнуть читателя биография Булгакова, принадлежащая перу одного из лучших современных прозаиков и литературоведа А. Н. Варламова.

Книга М. С. Савельевой «Федор Сологуб», не претендуя на монументальность «Большой серии», следует иной традиции: соблюдения классического равновесия между жизненной (бытовой) и творческой сторонами биографии художника. К этой традиции можно отнести книги А. Николокина о Розанове, П. Басинского о Горьком, С. Пинаева о Волошине, А. Кобринского о Хармсе, того же А. Варламова об А. Н. Толстом, Пришвине, Платонове, Грине и др.

Казалось бы, Ф. Сологуб – фигура необыкновенно заманчивая в плане поиска темных сторон, компрометирующих его весьма сложную репутацию. Садомазохистский комплекс,

невероятная обидчивость и закрытость, даже грубость, очевидный интерес к нечистой силе при равнодушии к Церкви, поэтизация смерти и самоубийства, эротические, в том числе гомоэротические, мотивы, волнующие описания преждевременно пробуждающейся чувственности – эти и многие другие не менее соблазнительные черты, присущие его творчеству, казалось бы, так легко и удобно перенести в сферу личной жизни одного из крупнейших русских символистов.

«Неоценимым» подспорьем на этом пути могли бы стать и воспоминания современников о невыносимом, язвительном, извращенном «кирпиче в сюртуке», и эпатажные его заявления (чего стоит одна статья «О телесных наказаниях» – саркастическая поэма о розге, написанная в лучших традициях Салтыкова-Щедрина с такой убийственной серьезностью, что ее легко принять за истинное выражение взглядов автора).

В своей биографии Сологуба М.С.Савельева удачно избегает подобных соблазнов и крайностей. Ее книга действительно может послужить для читателя, заинтересовавшегося личностью и творчеством Сологуба, достойным введением в сложную, интереснейшую тему. С самого начала становится ясно, почему образ Федора Кузьмича Тетерникова (Сологуба) привлекает Савельеву. Это уникальный писатель, создатель неповторимого художественного мира, автор талантливых стихотворений, драм, рассказов и повестей, но главным образом – великого символистского романа «Мелкий бес».

В книге последовательно проведен принцип разделения биографической личности художника и образа лирического героя, автора драматических и прозаических произведений. Тяжелые, мучительные подробности несчастливого детства и трудной юности приводятся ровно в таком освещении и объеме, чтобы на их фоне читатель увидел личные качества Ф.Сологуба – душевную глубину, впечатлительность, внимание к мельчайшим оттенкам бытия, связь с землей и природой, доброту, терпение, умение любить, трогательную заботу о близких. Именно доброта и ранимость, по мнению М.С.Савельевой, – душевная основа признанного мифотворца и «поэта зла». «Соблазнительные» мотивы истязаний редуцированы в данной книге до упоминания основных фактов, зато читатель может узнать много нового и интересного о годах учения будущего преподавателя с 25-летним стажем, сделавшего педагогов и учеников героями большого количества своих произведений. Гнетущая атмосфера народных училищ противопоставлена «педагогическому раю» Санкт-Петербургского учительского института, образам его директора, преподавателей, картинам учебного процесса. Биографические сведения, в том числе из времен детства и провинциального учительства, а также петербургского периода, не подаются как собрание пикантных фактов (об изобилии подобных «острых» ситуаций в жизни Сологуба можно судить, например, по монографии М.М.Павловой «Писатель-инспектор. Федор Сологуб и Ф.К.Тетерников», 2007). Жизненные впечатления интересны Савельевой постольку, поскольку могут приоткрыть двери творческой лаборатории Сологуба, свидетельствовать о таинственном процессе переплавки жизненного сора в художественные образы.

В книге прослежены творческие связи писателя, поставлен вопрос о взаимовлиянии представителей зарождающегося нового направления, освещены дискуссии, мнения критики, литературный процесс. «В лицах» передана история взаимодействия и разногласий «декадентов» и символистов. Особое внимание уделено творческой истории основных произведений Сологуба; при этом автор равномерно распределяет свой интерес между поэзией, малой прозой, драматургией и основными крупными эпическими произведениями.

Писатель-мифотворец, оказавшись в Петербурге, постепенно завоевывает имя в литературном мире, оставаясь загадкой, сознательно выстраивая образ тайновидца и злого колдуна. Ежедневно фиксируя события жизни – встречи, беседы, дела, имена посетителей, он боится вести интимный дневник из опасения чьего-либо нескромного вторжения в свой

внутренний мир. Самыми важными для него остаются семейные дела и связи: не раскрываясь перед посторонними, он годами терпит тяжелый характер матери, трогательно заботится о сестре, бесконечно дорожит любимой женщиной – как и он, не самой красивой, не самой удачливой, мало для кого привлекательной Анастасией Чеботаревской.

Страницы, посвященные Чеботаревской, относятся к одним из самых удачных в книге М. С. Савельевой. В нашем представлении образ этой женщины связан прежде всего с нелепо раззолоченной бархатно-хрустальной обстановкой квартиры прославившегося Сологуба на Разъезжей, претензиями на особую роль в жизни и творчестве писателя, суетливой деятельностью по возвеличиванию его имени. Нервная, подчас нелепая, скандальная, некрасивая особа, претендующая на звание музы и Прекрасной Дамы... Чинные и холодные «воскресенья», маскарады, скандал с третейским судом по поводу испорченной А. Н. Толстым и А. М. Ремизовым обезьяньей шкуры...

Не пытаясь ретушировать эти стороны личности А. Н. Чеботаревской, М. С. Савельева все же рассказывает о другом. О главном. О чуде взаимной любви, о полной душевной близости, доверии и поддержке. О заботливом женском внимании, которого так не хватало фатально одинокому Сологубу. Не Недотыкомка, а Анастасия Николаевна – в книге воссоздан образ этой образованной, одаренной, бесконечно преданной мужу женщины, окруженной и при жизни, и после смерти сплетнями, насмешками и неприязнью. Рассказывая о послереволюционных мытарствах четы Сологубов, автор биографии подводит нас к закономерному трагическому финалу: не выдержав напряжения, связанного с неудачными попытками отъезда за границу, Чеботаревская кончает жизнь самоубийством.

Освещение этого эпизода – еще одно свидетельство такта автора биографии: используя огромное количество фактического материала – дневников, писем, мемуаров современников, архивных находок, критических отзывов, М. С. Савельева не концентрирует внимание на распространенной пикантной сплетне о любовных неурядицах «на стороне», толкнувших Чеботаревскую в холодную воду малого русла Невы.

За емким, сдержанным повествованием очевидно ощущается фундаментальный научный труд, однако автору удается избежать излишней подробности изложения. Правда, в рассказе о последних годах земной жизни Сологуба подробностей все же не хватает, особенно в отношении причин изменения его творческой манеры и мировоззрения.

Творчество Федора Сологуба, его таинственный внутренний мир, его место в литературном процессе Серебряного века до сих пор остается неисчерпаемой темой для научных исследований и читательской рефлексии. Гармония между научностью и популярностью изложения в книге-биографии Сологуба М. С. Савельевой должна послужить формированию современного объективного взгляда на создателя великого символистского романа-мифа.

М. С. Руденко

Сведения об авторе: Руденко Мария Сергеевна, кандидат филол. наук, старший преподаватель кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: Liza_rudenko_1996@mail.ru

МАРИЯ ВИКТОРОВНА МИХАЙЛОВА

Одна из многочисленных статей профессора кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса М. В. Михайловой о Георгии Чулкове начинается так: «На обложке одной из записных книжек рукой Чулкова выведено *Habent sua fata libelli*, что означает: “Книги имеют свою судьбу”». Судьбы многих книг сложились именно так, потому что состоялись по ее инициативе. Архивные разыскания – одна из любимых сфер профессиональной деятельности Марии Викторовны, публикация забытых произведений, эпистолярного наследия писателей Серебряного века – ее страсть. И в результате открыты тексты и имена, выстроены контексты, составлены тома, написаны статьи, книги о тех, чьи имена и творчество на протяжении десятилетий были на периферии филологической науки и вне читательских интересов. Сведения накапливаются М. В. Михайловой по крупицам, и каждая крупница оказывается недостающим фрагментом пазла, над которым бьемся. Например, так произошло с опубликованными ею в «Кафедральных записках» (2002) письмах А. М. Ремизова к Чулкову: была восстановлена нарушенная при хранении хронология писем, прослежена история публикации того или иного произведения, материал показан в контексте полемики о стиле Ремизова, идет речь о расстановке сил в журналах и проч. Еще одно открытие Михайловой – неизвестные письма Бунина и Куприна, обнаруженные ею в Пражском архиве.

Отметим замечательную исследовательскую особенность профессора М. В. Михайловой: педантичность атрибуции сочетается у нее с чувством той грани, за которой утверждение может быть лишь предположением. Но в этом мы чувствуем живую мысль ученого и как приглашение к диалогу воспринимаем такие фразы из статей и комментариев: знакомство «могло состояться» благодаря тому-то и тому-то; «А. М. – возможно, Моисеева Александра Михайловна»; «видимо, речь идет о книге» такой-то; «вероятнее всего, Журавская Зинаида Николаевна» и т. п. Многие в науке сделано Марией Викторовной впервые, в том числе в описании истории создания того или иного произведения, обнаружении претекстов. Так, «Отчий дом» (1929–1931) Е. Чирикова показан М. В. Михайловой и ее ученицей и сподвижницей по чириковедению А. В. Назаровой как пример межтекстового взаимодействия, установки на контрапункт: очевиден стал диалог романа и чириковских же очерков, мемуаров, публицистических статей, пьес и проч. Или «Святая кровь» (1901) З. Гиппиус, соотнесенная с «Русалочкой» Андерсена и «Ундиной» де ла Мотт Фуке.

Даже когда писатель уже выведен из забвения, М. В. Михайлова знакомит коллег и широкого читателя с неизвестными направлениями его творчества. Напри-

мер, в периодике были напечатаны материалы биографического характера, кое-что из рассказов, кое-что из критического наследия Нины Петровской, но полная картина ее литературной биографии представлена в уникальной книге «Разбитое зеркало» (2014), с научной тщательностью и увлеченностью подготовленной М. В. Михайловой и ее ученицей Ольгой Велавичюте. В почти тысячестраничном томе собраны художественная проза, мемуары и критика писательницы. Ранее мы не имели представления обо всех творческих ипостасях Петровской. Кроме того, предложена нетрадиционная композиция книги (объединенные по жанровой принадлежности тексты группируются по месту издания), что явно усиливает степень информативности издания.

В советское время все знали писателя И. А. Новикова почти исключительно как автора дилогии об А. С. Пушкине, но монография Марии Викторовны «И. А. Новиков: грани творчества» (2007) открыла творческий дар Новикова-символиста, последователя философии Владимира Соловьева, прозаика, драматурга, публициста XX в., художественно выразившего неохристианскую мысль. А затем при ее участии в Мценске выходят тома произведений Новикова, не издававшихся почти 100 лет. Это и книга его стихотворений (2006), и роман «Золотые кресты» (2004), и «Яблочный барин и другие рассказы» (2012).

А в томе «Женская драматургия Серебряного века» (2009) впервые были возвращены читателю забытые пьесы 1900–1910-х гг., причем не только известных писательниц – З. Гиппиус, Тэффи, Т. Щепкиной-Куперник, Л. Зиновьевой-Аннибал (кстати, тоже два десятилетия тому назад открытой М. В. Михайловой), Е. Васильевой, но и А. Мирэ, Анны Мар, Н. Лухмановой.

Заполняя лакуны истории литературы фактами и материалами, этот публикатор и ученый расширяет наши представления о мировоззренческом и стилевом содержании Серебряного века. Ее прочтение произведения во многом акцентировано на типологии художественного сознания того времени, общей восприимчивости к идеям и учениям, возникшим на переломе столетий. Выявляемый ею библейский смысл изучаемых текстов в целом характеризует взгляды писателей Серебряного века на современность (будь то А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, Д. Мережковский, С. Есенин и др., вплоть до авангардистов). Отношение Чирикова к толстовскому непротивлению – история, без которой уже неполной видится рецепция идей Л. Толстого В. Розановым, И. Ильиным, Н. Бердяевым, З. Гиппиус. Мысли Чирикова о податливости народа идеологическим оболещением интеллигенции, партий, с одной стороны, и о неразвитости, дикости народа – с другой, а также полемика Чулкова с Блоком по поводу «народа и интеллигенции», несомненно, расширяют наше понимание одной из самых острых проблем 1900–1920-х гг., отразившейся в статьях и художественных произведениях Л. Андреева, И. Бунина, М. Горького, И. Шмелева и многих других. Расшифрованный исследовательницей «мистический национализм» Чулкова коррелирует с общими философскими размышлениями интеллигенции в метрополии и русском зарубежье о мессианском назначении России. Метафизические искания Аделаиды Герцык – еще один штрих в эволюции умствующей поэзии, отступившей перед поэзией умной и непосредственной, которая полноценно заявила

о себе, по точному замечанию Вл. Ходасевича, в позднем творчестве Вяч. Иванова.

Литературное феминистское сознание, «эротическая доминанта в русской литературе Серебряного века» (так названа одна из статей Марии Викторовны) – направление, разрабатываемое Михайловой на протяжении нескольких десятков лет. Она – автор российских («Гендерные исследования») и зарубежных гендерных изданий («Dictionary of Russian Women Writers». London, 1994) и журналов («Преображение»). Глубоко изученная ею гендерная культура, выразившаяся в произведениях целого ряда писательниц, по-новому осветила русскую прозу и драматургию, в подавляющем большинстве мужскую. В работах М.В. Михайловой встречается понятие «женская культура Серебряного века», в связи с чем особо привлекательным представляется подробно описанный в ее работах литературный феномен «сестринства» (например, Марина и Анастасия Цветаевы, Анастасия и Александра Чеботаревские, Эльза Триоле и Лиля Брик, Аделаида и Евгения Герцык), обогативший понимание культуры начала XX в. Отметим только, что это явление порождает, как пишет М.В. Михайлова, новозаветные аналогии (Марфа и Мария), отсылает нас к учению Франциска Ассизского о «мировом братстве» живой материи.

Отдельная тема статей ученого – жанровая парадигма. Например, скрупулезно рассмотрена модернизация классической семейной хроники С. Аксакова, Н. Лескова, Н. Гарина-Михайловского и др. в «Отчем доме» Чирикова. Речь идет о сращении элементов лирической прозы и публицистичности, осмыслении «идеологических» романов Тургенева и традиций исторических романов Мережковского и Брюсова. Изменение жанровых приоритетов того или иного писателя, в целом его литературного статуса получает психологическое и интеллектуальное обоснование, как мы это видим на примере превращения Чулкова-писателя в Чулкова-литературоведа.

В научных работах М. В. Михайловой «гермена словес», по дефиниции А. Белого («Жезл Аарона», 1917), показана как живая жизнь: текст мотивируется личной и интеллектуальной биографией либо противопоставляется ей. Так, судьбы Петровской и ведьмы Ренаты из «Огненного ангела» сплетены в единый сюжет; в творчестве Аделаиды Герцык не могли не сказаться ее отношения с Д. Е. Жуковским; смерть сына во многом изменила воззрения Чулкова, а его роман с Л. Д. Блок воспроизведен в повести «Слепые» (1911); сюжет «Тридцати трех уродов» (1906) Зиновьевой-Аннибал – рефлексия на отношения этой писательницы, ее мужа Вяч. Иванова и М. Сабашниковой; ее же «Певучий осел» (1906) интерпретируется Михайловой как внутренний разрыв с ивановскими идеями, как «киздевка над ивановской концепцией любви».

Круг интересов Марии Викторовны впечатляет. Герои ее научных работ – А. Амфитеатров, Л. Андреев, К. Бальмонт, А. Блок, В. Брюсов, И. Бунин, М. Волошин, Б. Зайцев, А. Калмыкова, А. Кондратьев, А. Куприн, Е. Нагродская, С. Найденов, Н. Никандров, А. Потресов, В. Ропшин, А. Серафимович, С. Сергеев-Ценский, С. Скиталец, К. Тренев, М. Цветаева, В. Шишков, И. Шмелев. И это неполный перечень. Ее профессионально привлекает театр, она свободно ориентируется в

современной драматургии, ряд ее статей посвящен русским писателям второй половины века, европейскому модерну. Особо отметим роль Марии Викторовны в изучении русской литературной критики, в том числе таких мало привлекающих сегодня внимание направлений, как народническая, социал-демократическая, марксистская. Ее докторская диссертация «Русская литературная критика марксистской ориентации (1890-е – 1910-е годы)» (1996) – яркий новаторский научный труд. Она ученый академического плана, имя которого авторитетно в научном мире. Но и просветитель, одаривающий своими знаниями и любовью к русской культуре, к книге всех вокруг. Уникальная библиотека, которую Мария Викторовна собирает всю жизнь, всегда открыта для коллег и учеников.

Мария Викторовна представляет университетскую науку на всероссийских и международных конференциях. В 2010 г. она стала дипломантом Международного конкурса филологических, культурологических и киноведческих работ «К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова» и получила премию имени Владимира Лакшина. С 2015 г. Михайлова заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова. Она член редколлегий ряда научных изданий, редактор сборников, постоянный эксперт работ, предлагаемых на университетскую студенческую и аспирантскую конференцию «Ломоносов», на которой регулярно выступают и ее ученики. О преподавательском даре ученого нужно сказать особо, так как она умеет заражать свою исследовательской страстью молодых ученых. А для этого не устает готовиться к лекциям и семинарам, каждый раз желая раскрыть студентам и аспирантам что-то новое и неизвестное. Можно уже сказать, что у нее появились последователи, так же дотошно рыскающие по архивам, восстанавливающие забытые имена. И мы знаем, как она гордится свершениями своих учеников. Мы поздравляем Марию Викторовну с юбилеем, желаем ей сил, здоровья и дальнейших научных открытий!

Н. М. Солнцева, И. К. Сушилина